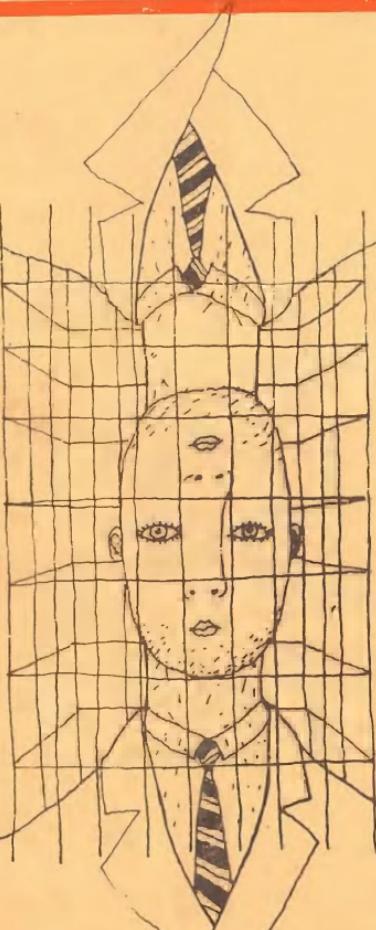


М У 3 Е Н

САТИРИЧЕСКАЯ

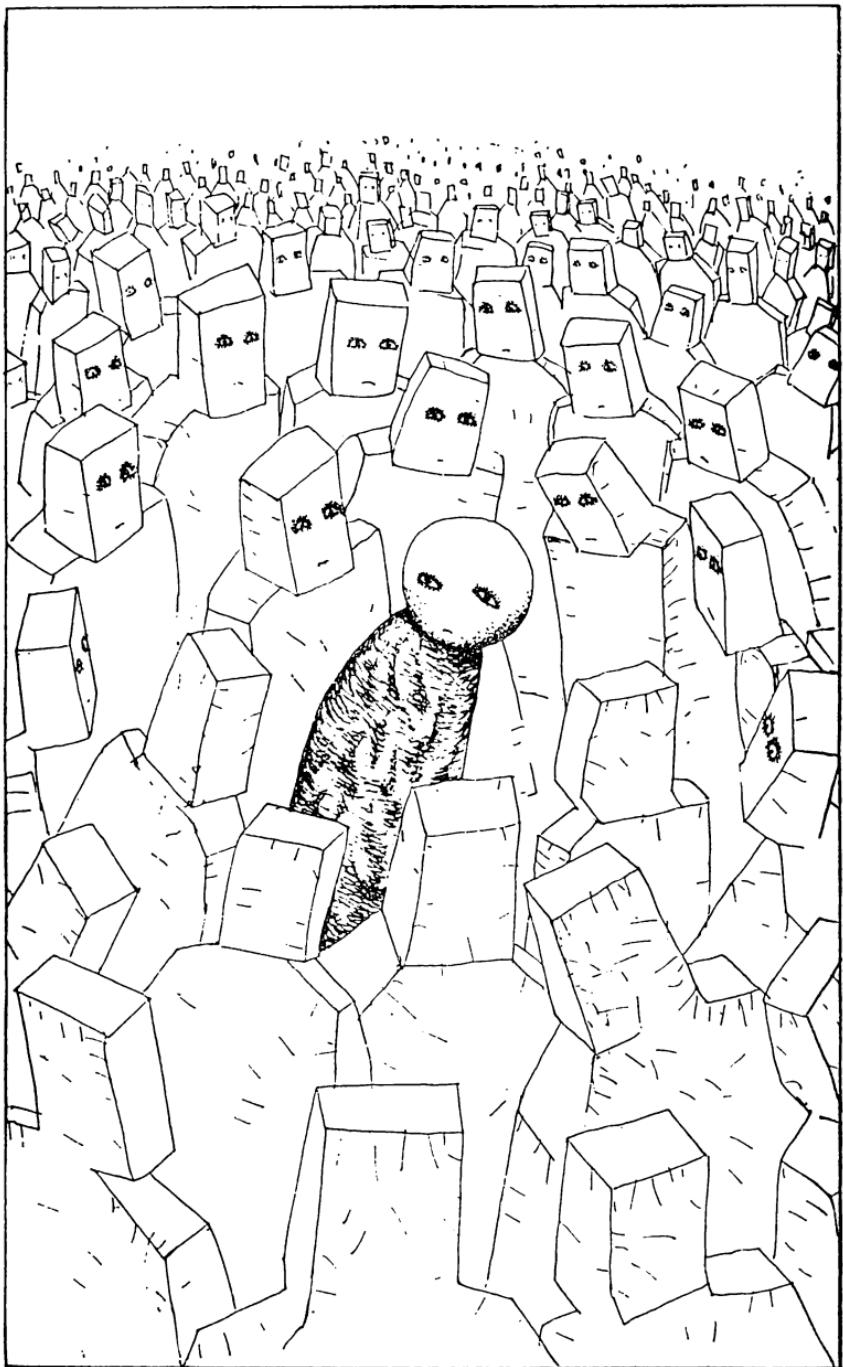
ФАНТАСТИКА

Ч Е Л О В Е К А





МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА



М

У

З

Е

И

**Фантастические
повести и рассказы**

МОСКВА

Всесоюзный центр кино и телевидения
для детей и юношества
1990

Ч

Е

Л

О

В

Е

И

А

**Издание
подготовлено кооперативом «Текст»**

**Художник
ВЛАДИМИР БУРКИН**

**Составители
В. Т. БАБЕНКО, В. Л. ГОПМАН**

«...УЖЕ РАЗДАЛСЯ СМЕХ»

Тринадцать произведений. Десять авторов. В каждом произведении — наболевшее. Каждый автор мучается болью.

Наше общество больно уже много десятков лет. Административная Система, обесценивание жизни человеческой, ложь, несвобода, бездуховность — картина социальных недугов, увы, обширна и страшна, а список осложнений этих заболеваний — от ГУЛАГа до Бакинских событий, от спецраспределителей до пустых прилавков — удлиняет сама жизнь.

Боль авторов сборника острая и четко выраженная: они против любых форм социального зла, рабства и несправедливости — и за то, чтобы в нашей жизни человеческое, пользуясь словами Салтыкова-Щедрина, восторжествовало над «гиенским».

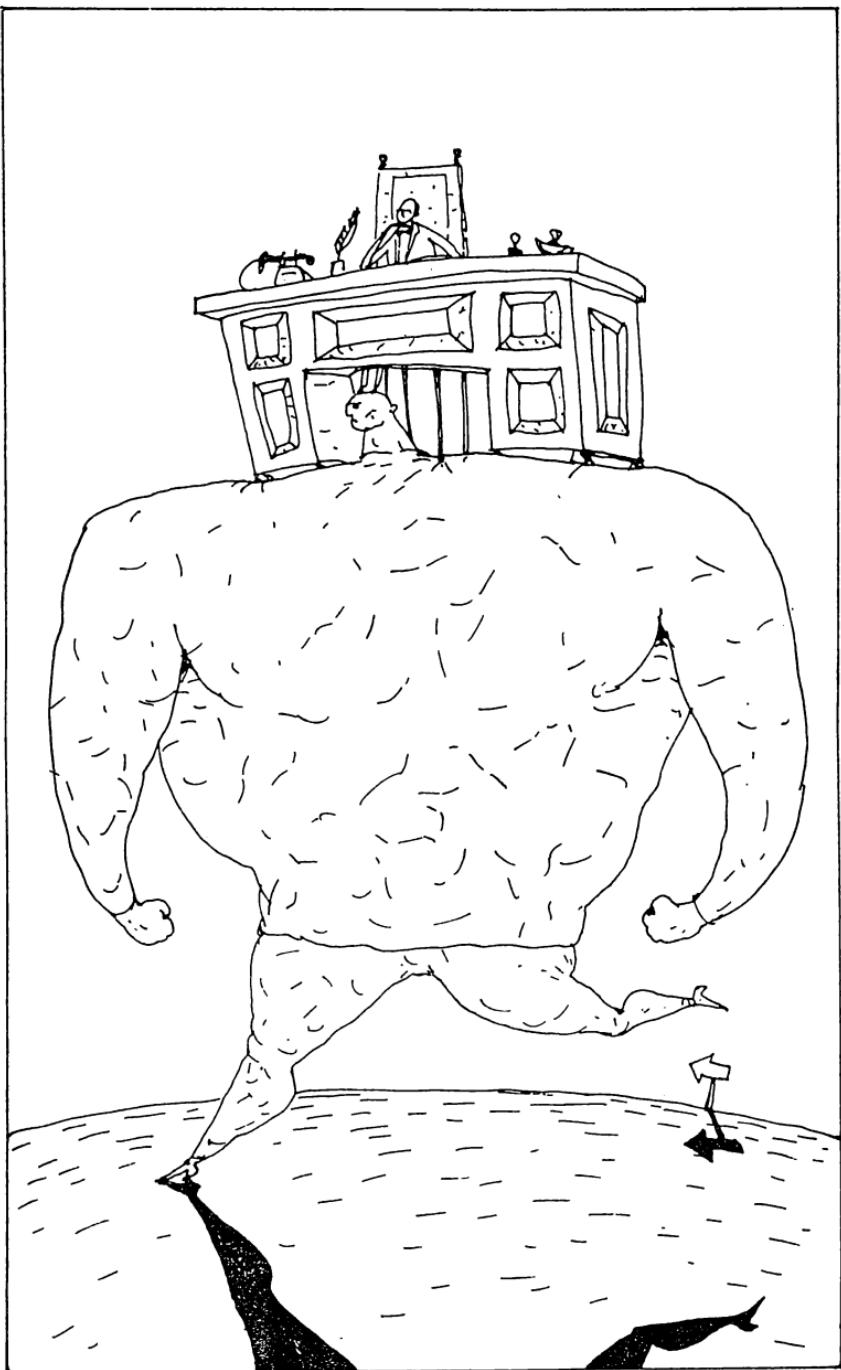
Зачем же тогда фантастика, если злоказненна реальность? Но ведь прежде чем хирург начнет операцию, должен же кто-то обнажить и подготовить операционное поле. Фантастика в этом смысле — медсестра, санитарка.

Гротеск и гипербола, сарказм и ирония — вот инструменты фантастов-сатириков. Фантастика каждого произведения опирается на факты реальной, до слез знакомой действительности. Но сатира — не только протест, а еще и духовное освобождение. Двенадцать авторов этого сборника призывают нас освободиться от холуйской покорности, от рабской психологии, убеждают: гражданское самосознание — вот главное в обществе. То главное, что может личность дать обществу, и то главное, что общество должно защищать, выдвигая как высшую ценность жизнь человеческую.

Да, картины, рисуемые авторами, нерадостны (санитары не садовники, для них привычнее гной, чем розы), — уж таково свойство сатиры, которая всегда идет к идеалу через негатив, через — по Гоголю — «антиидеал».

И все же в сборнике звучит надежда — надежда на то, что мы, как герой рассказа Вячеслава Пьецуха, обретем свой Новый Завод, где «происходит обыкновенная светлая жизнь, основанная на уважении к личности человека».

Надежда эта не беспочвенна. Вспомним еще раз Салтыкова-Щедрина: «Ничто так не обескураживает порок, как сознание, что он угадан и что по его поводу уже раздался смех».



Ч Е Л О В Е К

Часть
первая

С ПЛАЖА

Начальник Н-ского горпищеторга не ударил в грязь лицом и выложил на стол, как принято нынче говорить, целый пакет предложений. Некоторые из них мы просто обязаны предать гласности: первое — собрать силами пионеров и комсомольцев побольше макулатуры и поменять ее в Аргентине на мясо и в Уругвае на бананы; второе — побрататься с несколькими городами, каждый из которых славен и богат каким-то пищевым продуктом (он называл для примера Рокфор, Коньяк, Изюм, Кальмар и финский населенный пункт Салями — не уверены, что такой есть, но начальнику пищеторга виднее), и пусть делятся по-братьски; третье — понастроить в области кроличьи и заячий фермы с тем, чтобы благодаря плодовитости этих малых животных на прилавках не переводились крольчатина и зайчатина; четвертое — временно поднять розничные цены на все продукты, а то переедает народ, и нездорово это, и прилавки пустые...

М. Кривич, О Ольгин. Сладкие песни сирен

Виктор Шендерович

ЧЕЛОВЕК С ПЛАКАТА

Под утро пошел дождь. Он пошел с серых, забросанных рваными облаками небес, ветер подхватывал его и швырял на кубики многоэтажек, на пустой киоск «Союзпечати», на огромное полотнище плаката, возвышавшегося над проспектом. На плакате этом было написано что-то метровыми буквами, и стоял над буквами человек, уверенным взглядом смотревший вдаль — туда, откуда по серой полосе проспекта, редкие в этот час, скатывались в просыпающийся город грузовики.

Дождь хлестал плакатного человека по лицу, порывы ветра пронизывали насквозь его неподвижную фигуру, и, промокнув до нитки, он понял, что больше так не выдержит ни минуты.

Внимательно поглядев по сторонам — проспект был сер и пуст, — человек присел на корточки и осторожно спрыгнул с плаката. Внизу он поежился, поднял воротник немодного синего пиджака и, наворачивая на ботинки пластины грязи, побежал к ближайшему подъезду.

В подъезде напротив курил в обнимку с метлой дворник Кузькин. Увидев бегущего, он открыл не полностью укомплектованный зубами рот, отчего папироска его, повисев на оттопыренной губе, кувырнулась вниз. Кузькин охнул, прижал к стеклу небритую и опухшую после вчерашнего физиономию, скосил глаза и попытался навести их на резкость. Навел, но человек не уменьшился.

...Человек с плаката вбежал в подъезд и огляделся. Было темно. Он потянул носом — несло скверным запахом. Сурово нахмурив брови, человек пошел на запах, но остановился. В неясном, слабо сочившемся сверху свете, на исцарапанной стене четко виднелось слово. Человек прочел его, шевеля губами. Слово было незнакомое, не с плаката. Человек поднялся до площадки, пристально поглядел на раскрошенный патрон, на помойное ведро, вокруг которого жутковатым натюрмортом лежали объедки, и произнес:

— Грязь и антисанитария...

Голос у человека был необычайно сильным.

— ...источники эпидемии!

Сказав это, он решительно отправился вниз.

...Человек с плаката шагал по кварталу. Дождь лупил по его прямой фигуре, тек по лицу, лился за шиворот, но воспитание не позволяло ему отсиживаться в тепле, мириясь с отдельными, еще встречающимися у нас кое-где недостатками.

— Образовому городу — образцовые улицы и дома! — сквозь зубы повторял он, и крупные, с кулак, желваки двигались на его правильном лице. Человек шел, оскальзываясь на рытвинах и перешагивая кипящие лужи, и в праведной ярости он уже не замечал разверзшихся над ним хлябей небесных.

Тщетно пытаясь сообразить, который час, Павел Игнатьевич Бушуйский протяжно зевнул, щелкнул выключателем и, почесывая грудь под байковой пижамой, открыл дверь. В полутьме лестничной клетки взору его предстали ботинки примерно пятьдесят второго размера, заляпанные грязью брюки и уходящий куда-то вверх пиджак невероятной величины.

— Здравствуйте! — раздался сильный голос из-за верхнего косяка.

— З-з... здрась... — выдавил Бушуйский, прирастая вместе со шлепанцами к половику.

— Вы начальник ДЭЗ-13?

От этого простого вопроса во рту у человека в пижаме сразу стало кисло.

— Ну я,— сказал он.

Мокрый, грязный, невозможного роста и совершенно незнакомый ему гражданин нагнулся и вошел в квартиру.

— В чем дело, товарищ? — теряя при отступлении шлепанцы, но не достоинство, осведомился начальник ДЭЗ-13.

— Нуждам населения — внимание и заботу! — надвигаясь на микрорайонного владыку, объявил вошедший.

Услышав такое с утра пораньше, владыка больно ушипнул себя за костлявую ляжку, но проснуться второй раз не получилось.

— Что вам надо? — спросил он, стараясь опомниться.

— Товарищ Бушуйский! — Голосом мокрого гражда-

нина можно было забивать сваи.— Работать надо лучше!

От подобного хамства Павел Игнатьевич пришел на конец в себя и уже открыл было рот, чтобы посулить вошедшему пятнадцать суток, но поглядел ему в глаза — и раздумал. Что-то в выражении этих глаз остановило его.

— Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня! — пояснил свою мысль гражданин и, положив пудовые руки на плечи Бушуйскому, крикнул ему в ухо, как глухому: — Превратим наш район в образцовый!

Про начальника ДЭЗ-13 надо сказать, что его отличала сообразительность. Не подвела она и на этот раз. «Вот так влип,— подумал он.— Типичный сумасшедший. Мамочки родные!»

— Превратим, превратим...— мягко, чтобы не раздражать гражданина-горемыку, согласился Бушуйский, мечтая, однако, не о превращении района в образцовый, а совсем напротив — о валидоле или, в крайнем случае, рюмке коньячку.

Совершенно удовлетворенный ответом, гражданин-горемыка широко улыбнулся: губы его растянулись, как эспандер, и встали на свои места. Он крепко пожал Павлу Игнатьевичу руку, после чего она сразу отнялась, шагнул к двери, но вдруг, к ужасу хозяина квартиры, обернулся:

— Дали слово — выполним?

— Выполним, выполним,— немедленно заверил Бушуйский, осторожно заглядывая в лучезарные глаза сумасшедшего.

— Экономьте электроэнергию,— напомнил на прощанье гражданин, погасил свет в прихожей и ушел.

Заперев дверь, Бушуйский бросился к телефону. «Предупредить милицию,— думал он, пытаясь попасть пальцем в отверстие диска,— а то этот может дел натворить...»

Но и тут сообразительность не оставила его.

«Стоп-стоп... А что я скажу?» И от мысли, что хотел нажаловаться на человека, посоветовавшего работать лучше, чем вчера, Бушуйский даже поежился. Торопливо нажав на рычаг, мудрый начальник ДЭЗ-13 потрусили к постели.

«Надо же,— угревшись под одеялом, философски вздохнул он минуту спустя,— вот так жил человек, жил,— и вдруг тронулся... Эх, жисть-жестянка!» И, исполненный сладкого чувства собственной полноценности, владыка погрузился в теплую тину дремы.

Город просыпался.

Дома, как огромные корабли, вились в серый день. Уже выходили из подъездов люди, отрывали зонты, поднимали воротники плащей и, выдохнув, ныряли в сырую непогоду. Десятками забивались они на островок суши под козырьком остановки и там тянули шеи, с надеждой вглядываясь в даль...

Один из стоявших на остановке сильно выделялся среди прочих граждан. Во-первых, ростом. Там, где у граждан были шляпы, у этого была грудь. Чудовищных размеров детина сутулился и пригибал голову, чтобы уместиться под козырьком. Ни плаща, ни зонта у детины не имелось, а выглядел он так, словно только что оделся в секции уцененных товаров.

Вел он себя тоже странно, а именно: всем, радостно улыбаясь, говорил «доброе утро, товарищи», за что и получил от товарищей несколько неприязненных взглядов в упор. Товарищи имели об этом утре отдельное мнение.

Автобус не шел. Во время, свободное от разглядывания пустого горизонта, люди начали коситься на соседей, оценивая их конкурентоспособность. На высоченного гражданина смотрели с персональной ненавистью, и на лице у него медленно проступало недоумение, говорившее о том, что гражданин впервые попал утром на остановку.

Из-за поворота выполз автобус, грязный, как Земля за пять дней до первого выходного. Когда служивый люд заметался по лужам, гражданин еще раз всех удивил, предложив пропустить вперед женщин, но уж не тут-то было! Демонстрируя силу масс, его молча пихнули в спину, стиснули с боков, оттерли в сторону, повозили лицом по стеклу и с криком «э-эх!» внесли в автобусное чрево; и двери со скрежетом закрылись у него за спиной.

Человек с плаката, согнувшись в три погибели, трясясь в полутемном автобусе.

Он ехал просто так, куда-нибудь, ехал, искренне сокрушаясь, что не может своевременно и правильно оплатить свой проезд. Ему было стыдно, но это чувство уже заглушалось другим. Жизнь влекла его; с волнением заглядывал он в людские лица, с волнением всматривался в пейзаж, бегущий за окном.

Мир, в который он попал, был огромен и удивителен.

Вот, например, сидит симпатичный молодой человек с усиками — почему он сидит? Ведь написано же: «Места для пассажиров с детьми и инвалидов». Неужели инвалид? Странно... Вот косо льется с рамы на сиденье вода — кто так сделал эту раму? Человек морщил крупный лоб. И почему так шатается автобус, и такая грязь везде, и люди перебираются через нее по бетонным плитам. Почему бы не отремонтировать, водостока не сделать? Ведь все во имя человека, все для блага человека! А плиты в грязи? Ведь экономика какой должна быть? Неужели кто-то не знает? В чем же дело? Напрягаясь в поисках ответов, человек сводил густые брови к переносице. И почему так посмотрел мужчина в брезентовом берете? Откуда эта ненависть? Нет, это совершенно непонятно...

На конечной двери раскрылись, и автобус начал выдавливать из себя пассажиров. Последним был выдавлен высокий человек в синем костюме. Человек постоял минуту, поднял воротник и побрел за всеми, а на месте, где он стоял, начала расплываться по асфальту синяя лужица, словно пролили немного краски.

К полудню дождь перестал падать на землю. Солнце засверкало над крышами, над опорами электропередачи, над очередью за апельсинами у метро. Когда же последние капли разбились об асфальт, из вестибюля, пошатываясь, вышел человек.

Те, кто видели его несколько часов назад, могли бы подтвердить: человек стал бледнее, румянец будто осипался с его щек, и как ни огромен был он сейчас, а раньше все-таки был выше. Пиджак на гражданине уже не казался новеньkim: одна пуговица болталаась на ниточке, другой вообще не было, да и брюки успели потерять товарный вид.

Перемены, словом, были разительные. Но лишь тот, кто удосужился бы повнимательнее посмотреть человеку в глаза, смог бы заметить главное: у человека стал неспособный взгляд, в нем появилась неуверенность, вертикальная складка прорубилась между бровей, а уголки рта опустились вниз.

Виной этому, надо признать, были жители города. Они очень встревожили человека. С ними, решил он, что-то случилось. Они не смотрели вдаль уверенными взглядаами — они вообще не смотрели вдаль: совершенно разные, непохожие, одетые черт те во что, они не были взаимно

вежливы и не уступали мест престарелым. Они тесно стояли на длинных ползущих лестницах, хмуро глядя в пространство; из черной дыры с ревом налетали поезда и, набив утробу людьми, с воем уносились прочь. Людская река швыряла человека, как щепку, людские лица мелькали вокруг — и от всего этого слабость потекла по его суставам, и, вырвавшись наконец наверх, из водоворота, в который попал он, занесенный этой рекой, человек судорожно вдохнул теплеющий воздух и опустился на мокрую скамейку у ободранного газетного стендса, с ужасом понимая, что все вокруг совсем не так, как должно быть.

Синяя струйка у его ног светлела, расплываясь в дождевой воде.

— Сердце, что ли, прихватило?

У скамейки стояла женщина.

— Чего молчишь-то?

Женщина открыла сумку, вынула металлическую трубоочку и вытряхнула из нее две белые таблетки.

— Такой молодой, а уже сердце... — Она укоризненно покачала головой. — Вот, возьми.

Человек недоуменно смотрел на нее. Потом подобие улыбки тронуло широкие полосы его губ.

— Чего смотришь-то? — Женщина смутилась. — Да возьми ты их, вот бедолага, ей-богу...

— Бога нет, — произнес человек на скамейке, крепкими зубами разжевал таблетки, потом вспомнил что-то и сообщил: — Религия — опиум народа!

Женщина ойкнула, посмотрела на человека большими глазами и вдруг рассмеялась. И он, сам не зная почему, с облегчением засмеялся в ответ.

Раньше человек знал одну женщину. Громадная, почти с него ростом, она стояла на той стороне проспекта со спнопом пшеницы. Рядом, подпирая ее плечами, высился мужчина-близнец: один в каске — строитель, а другой без каски, но в очках — значит, интеллигент. Женщина не вызывала у человека никаких посторонних чувств, кроме уважения.

А от этой, маленькой, с ямочкой на щеке и таким детским, симпатичным смехом, у него потеплело внутри и вдруг захотелось странного: прикоснуться к ней, погладить по голове, приласкать. Он испугался, встал, чтобы уйти, но земля поплыла под ногами.

Женщина перестала смеяться.

— Погоди-ка, — сказала она, — ты что — голодный?

Мужчина молчал.

— Ты сегодня ел?

Мужчина отрицательно покачал головой.

— Господи, бывают же стервы! — с чувством произнесла женщина и, подумав не больше секунды, прибавила: — Идем, покормлю тебя! Ой, да не бойся ты... Я тут близко.

Человек с удивлением обнаружил, что ослушаться ее не может.

Жила женщина действительно недалеко.

— Входи, входи.

Через минуту он сидел на низеньком табурете и опасливо косился на узкоглазую, почти совсем раздетую девушку у синего моря, сиявшую на календаре. Потом перевел удивленный взгляд на облупленный подоконник, на баночку с луковицей, на стены в потеках, на связку газет в углу и — с замиранием сердца — на маленькую женщину, возвившуюся у плиты.

— Чего молчишь? — на секунду обернувшись, спросила она.

— Думаю, — честно ответил он.

— Ну-ну, — улыбнулась женщина, и симпатичная ямочка снова прыгнула на ее щеку. — Сейчас будет готово.

Ему очень понравилась эта улыбка, и вообще уходить из кухоньки почему-то никуда не хотелось, хотя роста благосостояния народа здесь не наблюдалось. Женщина осторожно поставила на стол тарелку и села напротив.

— Ешь.

У нее был добрый голос и глаза добрые — и, поглядев в них сейчас, человек вдруг понял, что с этой женщиной он хочет пойти в районный отдел загса и там связать себя узами брака. А поняв это, ужасно заволновался.

— Ты что?

— Нет, ничего, — сказал он и покраснел, потому что ложь унижает человека.

— Ты ешь, ешь...

Он послушно взял ложку.

— Дай-ка пиджак! — Женщина ловко вдела нитку в игольное ушко. — Как тебя звать-то? — участливо спросила она через минуту.

Человек медленно опустил ложку в щи и задумался.

— Слава... — проговорил он наконец.

— Слава, — повторила женщина, примеряя к нему это имя. — А меня Таня.

Она тремя взмахами пришила пуговицу и, нагнувшись, откусила нитку. Человек украдкой смотрел на нее, и ему было хорошо.

— Ты не переживай особо,— вдруг сказала женщина.— Сама же потом пожалеет, что прогнала, вот увидишь. Перемелется — мука будет...

— Да,— ничего не поняв, согласился мужчина и на всякий случай добавил: — Хлеб — наше богатство.

— А? — Таня поглядела на него долгим, тревожным и удивленным взглядом, и от этого взгляда у человека перехватило дыхание.— Ты чего?

— Я? — переспросил он. В груди его остро заныло какое-то новое чувство.— Я...— Он отложил ложку. Он решился.— Таня.— Голос человека зазвучал ровно и торжественно.— Я хотел предложить вам...— Он слготнул.— Давайте с вами создадим семью — ячейку общества.

— Ты... Ты что? Ты с ума сошел? — Слезы вдруг побежали из ее глаз.— Ты что, издеваешься, да? За что?

Она резко встала и отошла к окну. Человек растерялся.

— Я не сошел с ума,— проговорил он наконец.— Я не издеваюсь. Я серьезно.

Женщина вздрогнула, как от удара, взяла с подоконника сигареты и зажиркала спичкой. Человек насторожился. Ему стало ясно, что он сделал что-то не так. В повисшей тишине потикивали ходики.

— Странный ты какой-то,— наконец затянувшись, не громко сказала она в стекло и тревожно оглянулась на него.— Слушай, чего это ты все время?

— Чего я все время? — Человек изо всех сил пытался понять, в чем дело.

— Ну говоришь чего-то. Слова разные...

— Слова?

— Ну да.— Таня невесело усмехнулась.— Не обижайся, только... будто ненастоящий ты какой-то, правда...

— Почему... ненастоящий? — раздельно, не сводя с женщины пристальных глаз, спросил человек.

Она не ответила — и тогда жернова воспоминаний зavorочались в его лобастой голове.

— Простите, Таня,— медленно сказал он, вставая.— Простите, я, наверное, пойду.

— Подожди! — Ее глаза заглядывали снизу, искали ответа.— Ты обиделся — обиделся, да? Но я не хотела,

честное слово... Господи, вечно я ляпну чего-нибудь! — Она жалобно развела руками.— Не уходи, Слава, сейчас картошка будет. Ты же голодный...

Последние слова она сказала уже шепотом.

— Нет,— ответил человек, чувствуя, как снова начинает плыть земля под ногами. Он тонул в светло-зеленых глазах женщины. Ему хотелось сказать ей на прощание, что Минздрав СССР предупреждает... но почему-то промолчал, а потом, уже на пороге, сказал совсем другое:

— Таня, не сердитесь. Вы мне очень нравитесь. Это правда. Но я должен идти. Мне надо.

Говорить было трудно. Приходилось самому подбирать слова, и человек очень устал. Он хотел наконец во всем разобраться.

— Заходи, Слава,— тихо ответила женщина.— Я тебя накормлю.— И протянула пиджак.

Что-то встало у человека в горле, мешая говорить. Он, как маленькую, погладил ее по голове огромной ладонью.

— Спасибо.

Синяя струйка потянулась за ним к лифту.

Человек шел через город.

Он не знал адреса, он никогда не был там, куда шел, но что-то властно вело его, какое-то странное чувство толкало в переулки, заставляло переходить кишащие машинами улицы и снова идти, идти... Его пошатывало, синяя струйка стекала по грязным ботинкам, окрашивая лужи на тротуарах, но человек не замечал этого. Он шел и чем чаще заглядывал в лица прохожих, тем больше чернел лицом сам.

Он был чужим в этом городе, чужим — со своим пиджаком, со своим ростом, со своими хорошими мыслями, заколоченными восклицательными знаками.

У перехода человек остановился, пропуская машину, и она окатила его водой из лужи. Быстро обернувшись, он увидел за рулем холеную женщину в алом, сверкающем в вечернем свете плаще, со странной тоской вспомнил Таню, ее кухоньку, луковицу в баночке на облупленном подоконнике — и наступил брови, уязвленный сравнением, и снова, как тогда, на скамейке, услышал свое сердце.

— От каждого по способностям — каждому по тру-

ду! — глухо, словно про себя, произнес человек, провожая стремительный «мерседес», и помрачнел, размыщля о таинственных способностях женщины за рулем.

Две проходившие мимо представительницы советской молодежи переглянулись и прыснули. «Псих!» — громко сказала одна представительница, а другая, пообразованнее, сказала: «Крэзи!»

Человек шел через город, и, как почва в землетрясение, трещинами расходились извилины за высоким куполом его лба. Он впитывал в себя этот мир, он начинал понимать его, но что-то нехорошее уже происходило в нем. Возле какой-то площади с огромным каменным гражданином человек перешел улицу в неподложенном месте и зашагал дальше под милицейскую трель. «Красный свет зажегся — стой!» — ожесточенно прошептал человек, и кривая усмешка обезобразила его лицо.

Смеркалось, когда, повернув в затерянный между шумными магистралями переулок, человек остановился у подъезда старого, с облупленной лепниной на стенах дома: здесь!

Кукин, чертыхаясь, начал пробираться через полутемный, заваленный листами картона коридор. В дверь снова трижды позвонили — громко и требовательно.

— Кто? — крикнул он, вытирая руки тряпкой, смоченной в растворителе.

— Слава,— ответили из-за двери.

«Баулкин приперся»,— недовольно подумал Кукин, открывая.

Но это был не Баулкин.

— А-а! А-а-а-а!!! — завопил Кукин, попятился, обрушил с табурета коробку с красками и упал на свое новое полотно «Пользуйтесь услугами сберегательных касс!».

Вошедший закрыл дверь и повернулся. Кукин сидел на полу и слабо махал рукой, отгоняя привидение.

— А-а,— простонал он, поняв наконец, что привидение никуда не уйдет.— Ты как...— Слова зайцами прыгали у него на губах.— Ты откуда?

— От верблюда,— ответил гость.

Гость был грязен, волосы его свалялись и торчали в разные стороны, глаза горели нечеловеческим огнем, но — отдадим должное Кукину — он-то узнал вошедшего сразу.

Из лежавшей на боку банки тихонько выползла синяя масляная змейка. Гость осторожно присел на корточки, поднял банку, вдохнул родной запах.

— Ну, здравствуй,— сказал он художнику.

Художник сидел, выставив вперед острый локоть и отчетливо представляя руки вошедшего на своей шее. Был художник невзрачен, с узким иконным лицом, в старом порванном свитерке, но умирать ему еще не хотелось.

— Ты меня не узнаешь? — кротко спросил человек.

Нервный смешок заклокотал в худой кукинской груди. Он мелко закивал и, стараясь не делать резких движений, начал подниматься по стеночке. Поднимаясь, Кукин круглыми, как пятаки, глазами глядел на детище своей фантазии.

Гость ждал, сдвинув брови. Совсем не таким представлял он себе Создателя, и досада, смешанная с брезгливостью, закопошилась в его груди.

— Поговорить надо.

— П-пожалуйста.— Хозяин деревянным жестом указал вглубь квартиры.— Заходи...те.

Темнело. Дом напротив квадратиками окон выкладывал свою вечернюю мозаику; антёны на крыше сначала еще виднелись немнога, а потом совсем растаяли в черном небе. Стало накрапывать.

Потом окна гасли, квадратики съедала тьма, и только несколько упрямо светились в ночи. Где-то долго звали какого-то Петю; проехала машина. Дождь все сильнее барабанил по карнизу, и струи змейками стекали по стеклу...

Художник и его гость сидели на кухне.

Между ними стояли стаканы, в блюдечке плавали останки четвертованного огурца, колбасные шкурки валялись на обрывках «Советского спорта», и раскореженная банка скумбрии венчала натюрморт.

Художник жаловался человеку на жизнь. Он тряс начинаяющей седеть головой, махал в воздухе ладонью, обнимал человека за плечи и снизу заглядывал в глаза. Человек сидел не совсем вертикально, с мрачным лицом, подперев щеку, отчего один глаз у него закрылся, другой же был уставлен в стол, где двоился и медленно плавал туда-сюда последний обломок хлеба.

Человеку было плохо. Сквозь душные волны тумана в сознание его врывались то жалобы художника на жизнь, то проглянувшее солнце и маленькая женщина у скамейки, то загаженный темный подъезд, то вдруг большие полыхающие буквы складывались в слова «Пьянству — бой!». Он не понимал, как произошло, что он сидит за грязным столом с патлатым человечком в свитере, и человечек дружески обнимает его за плечи.

Внутри что-то медленно горело, краска лилась на лихолеум, человек упрямо пытался вспомнить, зачем он здесь, но не мог.

Он посмотрел на художника, вытряхивавшего из горышка последние капли, — и горькая обида опять заклокотала в нем.

— Ты зачем меня нарисовал?

Человечек протестующе замотал руками и сунул человеку стакан.

— Нет, ты ответь! — выкрикнул тот.

Человечек усмехнулся.

— Вот пристал, — обратился он к холодильнику «Саратов», призывая того в свидетели. — Сказали — и нарисовал. Кушать мне надо, понял? Жратеньки! И вообще... отвали от меня. Чудило полотняное... На вот лучше.

Человек упрямо уставился в стол.

— Нет. Не буду с тобой пить. Не хочу.

Замолчали. Бескрайнее и холодное, как ночь за окном, одиночество охватило человека.

— Зачем ты меня такого большого нарисовал? — снова горько спросил он, подняв голову. — Зачем? — И неожиданно пожаловался: — Надо мной смеются. Я всем только мешаю. Автобусы какие-то маленькие...

Художник притянул его к себе, обслюнил щеку и зашептал в самое ухо:

— Извини, друг, ну чес-слово, так получилось... Понимаешь, мне ж платят-то с метра...

Философски разведя руками, человечек зажевал лучком, а до человека начал медленно доходить высокий смысл сказанного.

— Сколько ты за меня получил? — спросил он наконец.

Рыцарь плаката жевать перестал и насторожился.

— А что? — Потом усмешечка заиграла у него на губах. — Ла-адно, все мои. Аккордная работа. Двое суток тебя шаршил.

Ночь, беспространная ночь шумела за окном.

— Я пойду,— сказал человек, выпрямился, схватился за косяк и обнаружил, что человечек в свитере стал с него ростом.

Помедлив, он судорожно потер лоб, соображая, что случилось. «Ишь ты,— тускло подумалось сквозь туман,— гляди, как вырос...»

Вместе с патлатым человечком выросла дверь, выросла плита, стол и холодильник «Саратов», узор линолеума плыл перед самыми глазами.

— Ну, куда ты пойдешь, дурачок? Давай у меня оставайся. Раскладушку дам. Жена все равно ушла...

— Нет.— Он отцепил от себя навсегда пропахшие краской пальцы. — Я туда....— Он махнул рукой, и лицо его вдруг осветилось нежностью. — Там мой плакатик.

— Да кто его читает ночью, твой плакатик? — Человечек даже заквотил от смеха.

— Все равно,— уже у дверей попробовал было объяснить человек, но только безнадежно мотнул головой.— А-а, ты не понимаешь...

«Он не понимает,— думал человек, качаясь под тяжелым, сдирающим с него хмель дождем.— Он сам ненастоящий. Они сами... Но все равно. Просто надо людям напоминать. Они хорошие, только все позабыли...»

Человека осенило.

— Эй! — сказал он, проверяя голос.— Эге-гей!

В ночном переулке, вплетаясь в шум воды, отозвалось эхо.

— Ну-ка,— прошептал человек и, облизнув губы, крикнул в черные окна: — Больше хороших товаров!

Никто не подхватил призыва. Переулок спал, человек был одинок, и сердце его билось одиноко, ровно и сильно. Человек хотел сказать что-то главное, самое-самое главное, но оно ускользнуло, спряталось в черной ночи, и от этого обида сдавила ему горло.

— Ускорим перевозку грузов! — неуверенно крикнул он.

— Прекратите сейчас же безобразие! — завизжали сверху и гневно стукнули форточкой.

Но человек безобразия не прекратил. Он предложил форточке летать самолетами «Аэрофлота», осекся, жалобно прошептал: «Нет, не то!..» — и, пошатываясь, пошел дальше. Он шел по черным улицам, сквозь черные буль-

вары, он пересекал пустынные площади, качался у бессмысленно мигающих светофоров — и кричал, кричал все, что выдиралось из вязкой тьмы сознания. Он очень хотел привести жизнь в порядок.

— Заказам села — зеленую улицу! — кричал он, и слезы катились по его лицу и таяли в дождевых струях.— Пионер — всем ребятам пример!

Слова теснились в его горемычной голове, налезали друг на друга, как льдины в ледоход. У змеящихся по мосту трамвайных путей человек вспомнил наконец-то самое-самое главное и остановился.

— Человек человеку — брат! — срывая горло, крикнул он слепым домам, взлетевшим над набережной. И еще раз в черное небо, сложив ладони рупором: — Человек человеку — брат!

Он возвращался на свой пост, покинутый жизнь назад, серым утром этого дня. Огромные деревья шумели над ним, со стен огромных домов подозрительно смотрели вслед огромные правильнолицые близнецы.

Под утро дождь прекратился.

Солнце осветило сырую землю, разбросанные кубики многоэтажек, пустой киоск «Союзпечати», огромное полотнище плаката, стоявшее у проспекта. Сверху по полотнищу было написано что-то метровыми буквами, а в нижнем углу, привалившись к боковине и обняв ее, присоединился маленький белобрысый человек — в грязном помятом костюме, небритый, с мешками под прикрытыми глазами. Человек блаженно улыбался во сне. Ему снилось что-то хорошее.

Суточное отсутствие человека никем, по странному стечению обстоятельств, замечено не было, но его возвращение на плакат в таком виде повлекло меры естественные и быстрые. В милиции, а потом в райсовете затрещали телефоны, и начались поиски виновных. Милиция проявила завидную оперативность, и поиски эти вскоре привели в квартиру художника Ю.А. Кукина, обнаруженного там в скрюченном виде среди пыльных холстов, на которых намалевано было одно и то же бодрое лицо с глазами, устремленными вдаль. Сам же Ю.А. Кукин находился в состоянии, всякие объяснения исключающем. Получить их все-таки пытались, но услышали только меланхолическую сентенцию насчет оплаты с метра, после чего рыцаря плаката стоянило.

А к маленькому человеку, спящему над проспектом, подъехал грузовик; двое хмурых мужиков, торопясь, отвязали хлопающее на ветру полотнище и повезли его на городскую свалку.

В огромной металлической раме у проспекта теперь выселились дома, чернел лес, по холодному небу плыли облака и пролетали птицы. Скрипя и набирая мощь, раскручивался над городом огромный маховик дня.

Машину подбрасывало на плохой дороге, и человек морщился во сне.

Виктор Шендерович

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ЩЕЛИ

Подлинные мемуары Фомы Обойного

I

В тяжелые времена начинаю я, старый Фома Обойный, эти записи. Кто знает, что готовит нам слепая судьба за поворотом вентиляционной трубы? Никто не знает, даже я.

Жизнь тараканья до нелепости коротка. Это, можно сказать, жестокая насмешка природы: люди и те живут дольше — люди, которые не способны ни на что, кроме телевизора и своих садистских развлечений. А таракан, венец сущего... горько даже писать об этом.

В минуты отчаянья я часто вспоминаю строки великого Хитина Плинтусного:

Так и живем, подбирая случайные крошки,
Вечные данники чых-то коварных сандалий...

Кстати, о крошках. Чудовище, враг рода тараканьего, узурпатор Семенов сегодня опять ничего не оставил на столе. Все вытер, подмел пол и тут же вынес ведро. Негодяй хочет нашей погибели, в этом нет сомнения. Жизнь его не имеет другого смысла; даже если вы увидите его сидящим с газетой или уставившимся в телевизор, знайте: он ищет рекламу какой-нибудь очередной дряни, чтобы ускорить наш конец. Ужас, ужас!..

Но надо собраться с мыслями; не должно мне, приступая к трагической истории нашей, перебегать, подобно безусому юнцу, от крошки к крошке. Может статься, некий любознательный потомок, шаря по щелям, наткнется на мой манускрипт — пусть же узнает обо всем! Итак, узурпатор Семенов появился на свет наутро после того, как Еремей совершил Большой Переход...

Нет, придется-таки с самого начала отвлечься, дабы вспомнить Еремея и его Большой Переход — такие страницы истории не должны кануть в канализацию. Нынешняя молодежь — я не хочу сказать про нее ничего дурного,

но придется — какая-то она очумелая. Их ничего не интересует — только бы подергаться подвой трубы да побалдеть у газовой конфорки. И потом — эта привычка спариваться у всех на глазах... Нет уж, извините. А спроси у любого, кто такой Еремей, дернет усиком и похиляет дальше. Стыд! Ведь имя это гремело по щелям, одна так и называлась — щель Любознательного Еремея, но ее переименовали во Вторую Бачковую...

А случилось тогда так: Еремей пропал безо всякого следа, и мы уже думали, что его смыло — в те времена мы и гибли-то только от стихийных бедствий, — когда он объявился вечерком, веселый, но какой-то дерганый. Ночью мы сбежались по этому поводу на дружескую вечеринку. На столе было несчетно еды — в то благословенное время вообще не было перебоев с продуктами, их оставляли на блюдцах и ставили в шкафы, не имея этой дурной привычки все совать в полиэтиленовые пакеты; в мире царила любовь; права личности еще не были пустым звуком... Да что говорить!

Так вот, в тот последний вечер, когда Иосиф с Тимошой раздавили на двоих каплю отменного ликера и пошли под плинтус колбасить с девками, а Степан Игнатьич, попив из раковины, в ней уснул, мы, интеллигентные тараканы, заморив за негромкой беседой червячка, собирались на столе слушать Еремея.

То, что мы услышали, было поразительно.

Еремей говорил, что там, где кончается мир — у щитка за унитазом, — мир не кончается.

Он говорил, что если обогнуть трубу и взять левее, то можно сквозь щель выйти из нашего измерения и войти в другое, но там тоже унитаз.

Еремей говорил, что там, где он был, тоже живут тараканы — и как еще живут! Он божился, что тамошние совсем не похожи на нас, что они другого цвета и гораздо лучше питаются.

Это последнее, про питание, никому не понравилось, и вообще Еремею не поверили: уж больно хорошо все знали, что мир кончается у щитка за унитазом, но Еремей стоял на своем и брался доказать.

— А чего тебя вообще понесло туда, в щель эту? — в упор спросил тогда у Еремея нервный Альберт (он жил в одной щели с тещей). Тут Еремей, покраснев, признался, что искал проход на кухню, но заблудился.

И тогда мы поняли, что Еремей не врет. Немедленно всей компанией побежав за унитазный бачок, мы сразу

нашли указанную щель и остановились возле нее, озадаченные.

— Хорошая щелочка,— несмело напомнил о себе первооткрыватель, намекая на своевременность восторгов. И мы уже пооткрывали рты, чтобы начать восторгаться, когда вдруг раздался голос Кузьмы Востроногого, немолодого уже таракана, кроме востроности отличавшегося большой выдержанностью.

— Не знаю, не знаю...— протянул он скрипуче.— Может, и хорошая. Только не надо бы нам туда...

— Почему? — удивился я.

— Почему? — удивились все.

— Потому что,— лаконично разъяснил Кузьма и, так как не всем этого хватило, строго напомнил: — Наша кухня лучше всех.

С младых усов слышу я эту фразу. И мама мне ее говорила, и в школе, и сам сколько раз, и все это тем более удивительно, что никаких других кухонь до Еремея никто не видел.

— Наша кухня лучше всех,— немедленно согласились с Кузьмой тараканы, с Кузьмой вообще затруднительно было не соглашаться.

— Но почему нам нельзя посмотреть, что за щитком? — крикнул настырный Альберт. Жизнь в одной щели с тещей испортила его характер.

Кузьма внимательно посмотрел на говорившего.

— Нас могут неправильно понять,— терпеливо разъяснил он.

— Кто? — опять не понял Альберт.

— Откуда мне знать,— многозначительно ответил Кузьма, продолжая внимательно смотреть. Тут, непонятно отчего, я почувствовал вдруг тоскливое нытье в животе — и, видимо, не один, потому что все, включая Альберта, немедленно снялись и поползли обратно на кухню.

Сейчас, вспоминая тот вечер, я вынужден в интересах истины скрепя сердце удостоверить, что и сам сначала отдал дань скептицизму, сомневаясь в том, что сегодня известно любому недомерку двух дней от роду: мир не кончается у щитка за унитазом — он кончается аж метров на пять дальше, у ржавого вентиля.

Вернувшись, мы дожевали крошки и, разбудив в раковине Степана Игнатьича, которого опять чуть не смыло, разошлись по щелям, размышляя о преимуществах нашей кухни. А наутро и началось несчастье, которому до сих пор

не видно конца. Ход вещей, нормы цивилизованной жизни — все пошло прахом. Огромный, столь уютно устроенный мир, мир теплых местечек и хлебных крошек, мир, просторно раскинувшийся от антресолей аж до ржавого вентиля, был за один день узурпирован тупым существом, горой мяса, снабженной длинными ручищами и глубоким убеждением, что все, до чего эти ручищи дотягиваются, принадлежит исключительно ему!

Первыми врага рода тараканьего увидели Иосиф и Тимоша. Поколбасив под плинтусом, они выползли под утро подкрепиться чем Бог послал, но Бог послал Семенова, и стало уже не до еды. Причем если Иосиф, отсидевшись за ножкой стола, смог позавтракать позднее, то Тимоше не пришлось больше никогда отведать пищи.

Семенов раздавил его.

Дрожащей лапкой пишу об этом, но, увы, тараканья история вообще кишит жестокостями. Сколько живем, столько и терпим мы от людей. Нехитрое это дело — убить таракана, недостатка в желающих не было никогда. Гляньте в летописи: они переполнены свидетельствами о смытых, раздавленных и затоптанных собратьях наших. Человек — что с него взять... Человек примитивен. И не его это вина, а наша беда. Бессмысленное существо, которому хочется как-то заполнить время, когда оно не ест, не спит, не смотрит телевизор,— а разума, чтобы плодотворно пошебуршиться, нет!

История старая: сначала, как известно, Бог создал кухню, ванную и туалет, потом провел свет и пустил воду; затем, когда мир был совсем готов к употреблению, создал, по подобию своему, таракана — и здесь совершил свою единственную, но страшную ошибку. Завершив кропотливый труд свой, он уже перед тем, как пойти спать, наскоро слепил из отходов человека — чтобы не пропадал материал.

Ах, лучше бы он выбросил этот комок глины или налепил из него штук пятнадцать мусорных ведер на голодное время. Но, видно, Бог сильно утомился, творя таракана, и на него нашло затмение.

Это господнее недоразумение, человек, сразу начал плодиться и размножаться, но так как весь разум, повторяю, ушел на нас, то нет ничего удивительного в том, что дело кончилось телевизором и этим вот тупым чудовищем, Семеновым.

...Иосиф, сидя за ножкой, видел, как узурпатор взял

Тимошу за ус и унес в туалет, вслед за чем раздался звук спускаемой воды. Враг рода тараканьего даже не оставил тело родным и близким покойного.

Когда шаги узурпатора стихли, Иосиф быстренько поел (это у него нервное) и побежал по щелям рассказывать о Семенове.

Рассказ произвел сильное впечатление, хотя Иосиф каждый раз торопился в следующую щель. Особенно удались ему последние секунды покойника Тимоши. Трудно забыть, как Иосиф смахивал скучую мужскую слезу и нервно бегал вдоль плинтуса, отмеряя размер подошвы.

Размер, надо сказать, сразу никому из присутствующих не понравился. Мне, например, он не понравился настолько, что я даже попросил Иосифа пройтись еще разок: в душе моей тлела надежда, что давешний ликер не кончил еще своего действия и рассказчик, отмеряя семеновскую подошву, сделал десяток-другой лишних шагов.

Иосиф обиделся и побледнел. Иосиф сказал, что, если кто-то ему не верит, этот кто-то может выползти на середину стола и убедиться, что делал это зря. Иосиф сказал, что берется в этом случае залечь у вентиляционной решетки с группой компетентных тараканов, а по окончании эксперимента возьмет на себя транспортировку скептика обратно в щель — если, конечно, Семенов предварительно не спустит того в унитаз, как покойника Тимошу.

Иосифу принесли воды, и он успокоился.

Так началась наша жизнь при Семенове, если вообще можно назвать жизнью то, что при нем началось.

II

Первым делом узурпатор заклеил все вентиляционные решетки. Он затянул их марлей, и с тех пор из ванной на кухню пришлось ходить в обход, через двери, с риском для жизни, потому что в коридоре постоянно патрулировал этот изувер.

Впрочем, спустя совсем немного времени риск этот стал совершенно бессмысленным: кухня потеряла всю свою былую привлекательность. Не удовлетворившись заклейкой, Семенов начал убирать со стола объедки и выносить ведра, причем с расчетливым садизмом особенно тщатель-

но делал это поздно вечером, когда у всякого уважающего себя таракана только-только разгуливается аппетит и начинается настоящая жизнь.

Конечно, у видавших виды экземпляров вроде меня имелось несколько загашничков, до которых не дотягивались его воняющие мылом конечности, но уже через пару недель призрак дистрофии отчетливо навис над нашим непрятязательным сообществом. Иногда я засыпал в буквальном смысле слова без крошки хлеба, перебиваясь капелькой воды из подтекающего крана (чего, слава богу, изувер не замечал); иногда, не в силах сомкнуть глаз, выходил ночью из щели и в тоске глядел на уныло бродивших по пустынной клеенке сородичей. Случались обмороки, Степан Игнатьич дважды срывался с карниза, а Альберт начал галлюцинировать, причем, что самое неприятное, о содержании галлюцинаций сообщал вслух, чем регулярно создавал давку под раковиной: чудилось Альберту бесследное исчезновение тещи, возвращение Шаркуна и набитое доверху мусорное ведро...

Ах, Шаркун, Шаркун! Вспоминая о нем, я всегда переживаю странное чувство приязни к человеку, вполне, впрочем, простительное моему сентиментальному возрасту.

Конечно, ничто человеческое не было ему чуждо — увы, он тоже не любил нас: жаловался своей прыщавой дочке, что мы его замучили, и все время пытался кого-нибудь прихлопнуть. Но дочка, хоть каждый раз и обещала куда-то нас повывести, обещания своего не выполнила — так и живем, где жили, без новых впечатлений,— а погибнуть от руки Шаркуна мог только закоренелый самоубийца. К тому же он носил на носу стекляшки, без которых не видел дальше носа,— и когда терял их, мы могли вообще столковаться с ним из одной тарелки. Милое было времечко, чего скрывать...

Но я опять отвлекся.

Вскоре после начала семеновского террора случилось вот что. Братья Геннадий и Никодим, чуть не погибнув во время утренней пробежки, успели забежать под плинтус и там с перепугу сочинили исторический документ, известный как «Воззвание из-под плинтуса». Текст его был съеден вскоре самими братьями, но содержание успело запастись в наши сердца. Братья гневно обличали Семенова и призывали тараканов к единству.

Тут, как это ни горько, необходимо снова остановить плавный ход нашего повествования, чтобы провести скром-

ный историко-философский экскурс. Дело в том, что тараканы очень разобщены — отчасти из-за того, что венцом творения считают не таракана вообще (как идею в развитии), а каждый сам себя, отчасти же по неуравновешенности натуры и привычке питаться каждый своей, отдельно взятой крошкой. Как бы то ни было, впрочем, но до Никодима и Геннадия уже была известна одна попытка привития тараканам коллективистского духа. И рассказать о ней необходимо.

Было это задолго до Семенова, в эпоху Большой Тетки. Эпоха была смутная, а Тетка — коварная: специально оставляла она на kleenке лужу портвейна и закуску, а сама уходила со своим мужиком за стенку, из-за которой потом полночи доносились смех, песни и другие звуки. Песни ее были отвратительны, тараканов подташнивало, но отвратительней всего был смех.

Тайный смысл его дошел до кухни не сразу. Но когда от рези в животе начали оклевывать тараканы самого цветущего здоровья; когда жившие в ванной стали, поужинав, терять координацию, срываться со стен и тонуть в корытах с мыльной водой; когда, наконец, начали рождаться таракашки с нечетным количеством лапок, — тогда только замысел Большой Тетки открылся во всей черноте: Тетка, в тайном заговоре со своим мужиком, хотела споить наш целомудренный, наивный доверчивый народ.

Едва слух о заговоре пронесся по щелям, как один простой таракан по имени Григорий Зашкафный ушел от жены, пошел в народ, там развел жуткую агитацию и — не прошло двух ночей — добился созыва Первого Всетараканьего съезда. Повестка ночи была самолично разнесена им по щелям и звучала так:

«...п.7. Наблюдение за столом в дообеденное время.
...п.12. Меры безопасности в обеденное время.
...п.34. Оказание помощи в послеобеденное время.
...п.101. Всякое разное».

Впоследствии под личной редакцией бывшего Величайшего Таракана, Друга Всех Таракашек и Основателя Мусоропровода Памфила Щелястого историки неоднократно описывали Первый Всетараканий съезд, и каждый раз выходило что-то новенькое, поэтому, чтобы никого не обидеть, буду полагаться на рассказы собственного прадедушки. А помнилось прадедушке вот что.

Утверждение повестки ночи стало первой и последней победой Григория. Тараканы согласились на съезд, но

чтобы был буфет, причем подраковинные заявили, что если придет хоть один плинтусный, то ноги их не будет на столе, а антресольные сразу создали фракцию и потребовали автономии...

Подробности прадедушка не помнил, но, в общем, кончилось дело большой обжираловкой с лужами теткиного портвейна и мордобоем, то есть, минуя пп. 7, 12 и 34, сразу перешли к п.101, а Григорий, не вынеся стыда, наутро сжег себя на конфорке.

Остальных участников съезда спасло как отсутствие этого самого стыда, так и то счастливое обстоятельство, что эпоха Большой Тетки скоро кончилась: однажды ночью она спела дуэтом со своим мужиком такую отвратительную песню, что под утро пришли люди в сапогах и обоих увели, причем Тетка продолжала петь.

Напоследок мерзкая дрянь оставила в углу четыре пустых бутылки, в которых тут же сгинуло полтора десятка так и не организовавших наблюдения тараканов.

Все это вошло в историю — «Новейшая история тараканов», т.2, стр.408: «Под ударами Величайшего Таракана (далее следует перечисление его титулов на пять странниц.— Ф.О.) Большая Тетка, бросая при отступлении шкафы и серванты, позорно бежала с оккупированной жилплощади».

...Никодим и Геннадий, забежавшие под плинтус в полуимetre от semenovского тапка, пребывали в стрессовом состоянии и оттого, видимо, не воздали должного своему героическому предшественнику, но дух его, витавший над конфоркой, все же осенил их: сочиняя «Воззвание из-под плинтуса», братья не забыли потребовать немедленного созыва Второго Всетараканьего съезда.

Возможно ли забыть то, что произошло дальше? Нет, невозможно! Я, например, помню все так, словно оно произошло вчера, и пусть ноги мои уже дают сбои, а усы обвисают, память о той ночи по-юношески свежа, по крайней мере та ее часть, которую не отшибло. Но об этом чуть ниже.

В полночь «Воззвание из-под плинтуса» было прочитано по всем щелям с таким выражением, что тараканы немедленно поползли на стол, уже не требуя буфета. Факт, нуждающийся в объяснении. Тараканы, хотя и не могут совсем без еды, существа чрезвычайно тонкие и очень чувствительные к интонации, причем наиболее чувствительны к ней те, которые не умеют читать-писать, а из этих последних — косноязычные.

Выползши на стол, антресольные по привычке организовали фракцию и потребовали автономии, но им пооткусывали задние ноги, и они сняли вопрос.

Слово для открытия взял Никодим. Забравшись на солонку и вкратце обрисовав положение, сложившееся с приходом Семенова, а также размеры его тапка, он передал слово Геннадию для внесения предложений по ходу работы съезда. Взял слово и тоже вскарабкавшись на солонку, Геннадий предложил для работы съезда непременно избрать президиум и вернул слово Никодиму. Тот достал откуда-то и зачитал список, в котором никого, кроме него и его брата Геннадия, не было.

В процессе голосования выяснилось, что большинство — за, меньшинство — не против, а двое умерли за время работы съезда.

Перебравшись вслед за братом с солонки на крышку хлебницы, избранный в президиум Геннадий дал Никодиму слово по повестке ночи. Никодим взял слово и, свесившись с крышки, предложил повестку (цитирую по специальному выпуску «Кухонной правды»):

«...п.9а. Хочется ли нам поесть? (оживленное шебуршание на столе).

...п.17. Как бы нам поесть? (очень оживленное шебуршание, частичный обморок).

...п.75. Буфет — в случае принятия решений по пп. 9а и 17 (бурные продолжительные аплодисменты, скандирование»).

В процессе скандирования умерло еще четверо: скандирующая группа была набрана из совсем молодых тараканчиков; предварительно их, конечно, подкормили, но, как выяснилось, мало.

При голосовании повестки подраковинные попытались протащить п.90 — объявление всетараканьего бойкота плинтусным, но с крышкой хлебницы им указали на несвоевременность и самих подраковинных осудили за подрыв единства. После перерыва, связанного с поеданием усопших и необходимостью чуток пошебуршиться, съезд продолжил свою работу.

По п.9а прямо с крышки хлебницы выступил Никодим. Теперь, когда столько воды утекло из нашего крана и жизнь моя подползает к концу, могу смело сказать: речь эта была едва ли не лучшим из всего, звучавшего на нашей кухне. Докладчик вложил в нее все, что имел. Не зная устали, бегал он по крышке, разводил усами и в исступлении тряс лапками, отчего однажды даже свалился на

стол, где, полежав немного, и продолжил выступление — прямо в гуще народа. Главная мысль выступления, его пафос — все было чрезвычайно свежо. Никодим говорил о том, что больше так жить нельзя, потому что он очень хочет есть. Далее оратор подробно остановился на отдельных продуктах, которые он хотел бы поесть. Это место вызвало большой энтузиазм на столе — председательствующий Геннадий, свесившись с солонки и стуча по ней усами, вынужден был даже призвать к порядку и напомнить, что за стенкой спит Семенов, будить которого не входит в сценарий работы съезда.

Единогласно проголосовав за то, что больше так жить нельзя и хочется поесть, развязались с п.9а и тут же переползли к следующему; изможденный выступлением Никодим начал карабкаться обратно на хлебницу, а председательствующий Геннадий предоставил слово себе.

Его речь, ясная и прямая, как плинтус, и события, развернувшиеся следом, стали кульминацией съезда. Геннадий начал с того, что раз больше так жить нельзя, то надо жить по-другому. Искусный оратор, он сделал паузу, давая несокрушимой логике сказанного дойти до каждого.

В паузе, иллюстрируя печальную альтернативу, умер один подраковинный.

— Но что мы можем? — спросил далее Геннадий.

Тут мнения разделились, народ зашебуршился, но вскоре сошелся на том, что если приспичит, то мы можем все.

— Да, — перекрывая последние голоса, согласился Геннадий, — мы можем все. Но! — Тут он поднял усы, прося тишины, а когда она настала, усы опустил и начал ползать по солонке, формулируя мысль, зарождавшуюся в его голове. И все поняли, что присутствуют при историческом моменте, о котором уцелевшие будут рассказывать внукам. Мысль Геннадия отлилась в безукоризненную форму.

— Но мы не можем спустить Семенова в унитаз, — сказал он.

Образ Семенова, спускаемого в унитаз, поразил съезд. В столбняке, стукнувшем собрание, стало слышно, как сопит за стенкою узурпатор, и ни с чем не сравнимая тишина повисла над столом. Одна и та же светлая мысль поразила всех.

— Не влезет... — горестно прошептал наконец Альберт,

ставший пессимистом после года совместного проживания с тещей в одной щели. Луч надежды погас, едва осветив мрак нашего положения.

— Я продолжаю... — с достоинством произнес Геннадий. — Поскольку мы не можем спустить Семенова в унитаз, — повторил он, — а есть подозрение, что сам он в обозримом будущем этого не сделает, то придется, сограждане, с Семеновым жить. Но как?

В ответ ему завыли женщины. Дав им отвыться, Геннадий поднял лапку. Вид у него был торжественнейший. Геннадий дождался полной тишины.

— Надо заключить с ним договор, — сказал он.

Тишина разбавилась стуком нескольких упавших в обморок тел, а затем в ней раздался голос Иосифа.

— С кем — договор? — тихо спросил он.

— С Семеновым договор, — просто, с необычайным достоинством ответил Геннадий.

В ответ на это опять завыли женщины, и тут загомонило, зашлось собрание.

— С Семеновым? — перекрывая вой, простонал Иосиф. — С Семеновым! — истерически выкрикнул он и вдруг прямо по спинам делегатов, пошатываясь и подпрыгивая, побежал к солонке. Продолжая выкрикивать на разные лады проклятое слово, Иосиф начал карабкаться на солонку, но Геннадий его спихнул — и вот дальше я ничего не помню, потому что упал Иосиф на меня. Вытащенный из сей же момент возникшей давки верной по другой моей жизни Нюорой Батарейной, я был наутро, сразу по возвращении сознания, подробнейше посвящен ею в происшедшее, а Нюре я верю как самому себе, хоть она иногда и здорова соврать.

Слушайте, чего было дальше.

Упав на меня, Иосиф страшно закричал — чем, как я подозреваю, меня, собственно, и контузил. Все в панике забегали, а родственники Иосифа сразу бросились к солонке, чтобы поотрывать Геннадию усы. Трех из них Геннадий спихнул, но четвертый, никому решительно не известный, по имени, как выяснилось впоследствии, Клементий Подтумбовый, спихнул-таки его сзади на трех своих родственников, и пока спихнутые внизу выясняли, где чьи усы, Клементий под шумок быстренько предоставил слово сам себе.

Прочие же делегаты тем временем носились друг по другу по клеенке, плинтусные искали подраковинных, Кузьма Востроногий кричал, что наша кухня

лучше всех, а Никодим с хлебницы без перерыва отрекался от Геннадия и обещал принести справку, что он круглый сирота.

Пока присутствующие бегали друг по другу, выдирали усы и вообще тратили время, никому не известный Клементий успел протащить штук тридцать собственных резолюций, сам ставя их на голосование и голосуя под протокол.

Нельзя не признать, что в процессе этого увлекательного занятия Клементий незаметно для себя вошел в раж. Так, под № 19, например, шло решение резко улучшить ему, Клементию, жилищные условия под его тумбой, № 24 он со всей семьей зачислялся на общественное довольствие с обслугой, после чего — видимо, в целях экономии времени — ставить номера на резолюциях Клементий перестал, а стал несколько терять меру от длительного пребывания на солонке.

Последним принятым им документом была резолюция, обязывавшая Семенова стоять возле тумбы, под которой живет Клементий, и отпугивать от нее тараканов. Проголосовав за это, Клементий сам удивился настолько, что слез с солонки и пошел спать, не дожидаясь закрытия съезда.

Действие же на столе тем временем продолжало разворачиваться довольно далеко от сценария. Разобравшись с Геннадием, родственники Иосифа пошли на поиски Никодима, в то время как сам Иосиф бегал по спинам делегатов, собирая свидетелей своего падения, но в этом не преуспел. Свидетели разбегались от него как угорелые, топча Кузьму, продолжавшего при этом кричать что-то хорошее про нашу кухню. Не преуспели, впрочем, и родственники — ни на хлебнице, ни вокруг нее Никодима не было. Нюра говорит: он ушел за справкой, что сирота. Если это так, то надо отметить, что лежала справка очень далеко — Никодима никто не видел еще неделю, да и потом не особенно.

Отдельно следует остановиться на судьбе Геннадия. Несколько поврежденный родственниками Иосифа, он не стал настаивать на своих формулировках, нервно дернулся уцелевшим усом, сказал «Живите вы как хотите» — и, повесив голову, удалился в добровольное изгнание под ванну. Последняя фраза его несколько озадачила оставшихся, потому что все они уже давно жили как хотели.

По дороге в ванную Геннадий задел ногой Степана

Игнатьича, и тот, проснувшись, спросил, скоро ли буфет. Больше ничего интересного не произошло, кроме разве того, что плинтусные с подраковинными нашли-таки друг друга и, найдя, поотрывали что смогли.

На этом, по наблюдениям подруги моей жизни Нюры Батарейной, съезд закончил свою работу.

III

О, тяжкая ноша летописца! Право же, шебуршить прошлое — все равно что ползать в нем заново... Несколько дней не имел я мужества продолжать свой манускрипт, но, кажется, надо спешить. Пора возвратиться к тому, на чем остановили мы бег своей правдивейшей повести.

Богатая событиями ночь съезда обессилила нас. Целый день на кухне и в окрестностях не было ни души; Семенов, понятное дело, не в счет — этот как раз целый день шатался по территории по случаю воскресенья и изводил продукты.

Куда ему столько? Отнюдь не праздный вопрос этот давно тяготил меня, и в последнее время, имея вместо полноценного питания много досуга, я, кажется, подошел к ответу на него. Разумеется, ест Семенов не потому, что голоден, — это, лежащее на поверхности, объяснение давно отмечено мною. Существо, утром пропадающее куда-то, а по возвращении смотрящее телевизор, лежащее на диване и хранившее, по моему мнению, вообще не нуждается в питании. Однако Семенов ест и каждый раз, приходя на кухню, первым делом открывает шкафы и заглядывает туда плотоядным взором.

Я давно подозревал неладное, а недавно проник в его тайну окончательно. Было так. Путешествуя по верхней полке, я принужден был шмыгнуть за сахарницу от хлынувшего внезапно света, но, шмыгая, успел увидеть над открывшейся дверцей искаженное злобой лицо узурпатора. Все пороки, подвластные воображению, отражались на нем. У тараканов, замечу, лица тоже бывают не сахар, но такое я видел впервые. Изрыгнув какое-то непотребство, узурпатор начал выгребать с верхней полки съестное, и тут-то меня, предусмотрительно ушедшего на среднюю, осенило... Нет, не голод гонит чудовище сюда, ему не знакомо свербящее нытье в животе, выгоняющее нас из тихих щелей на полные опасностей кухонные просторы, — другое владеет им.

Страшно вымоловить! Он хочет опустошить шкаф. Он хочет все доесть, вымести все крошки из уголков и вытереть полку влажной, не оставляющей надежд губкой. Но, безжалостный недоумок, зачем он тогда сам же и ставит туда продукты?

Вечером мы с Нюрой пошли к Еремею послушать про жизнь за щитком. Придя, мы застали там, кроме него, еще нескольких любителей устных рассказов. Все они сидели вокруг хозяина и нетерпеливо тарабанили лапками. Мы сели и также затараobili, имея в виду то же, что и остальные. Но тяжелые времена оказались даже на радушном Еремее: крошечек к рассказу подано не было.

Воспоминания о жизни за щитком начались с описания сахарных мармеладных кусочков и соевых конфет, сопровождались шевелением усов, вздохами и причмокиванием; я же был несколько слаб после контузии, вследствие чего вскоре после первого упоминания о мармеладе отключился, а отключившись, имел очень странное видение: будто иду я по незнакомой местности, явно за щитком, среди экзотических огрызков и неописуемой шелухи, причем иду не с Нюрой, а с какой-то очень соблазнительной тараканихой средних лет. Потолок сияет ослепительно, тараканиха выводит меня на край кухонного стола и, указывая вниз, на пол, густо усеянный крошками, говорит с акцентом: «Дорогой, все это — твоё!» И мы летим с нею вниз.

Но ни поесть, ни посмотреть, что будет у меня с этой тараканихой дальше, я не успел, потому что очнулся — как раз на последних словах Еремея. Слова эти были: «...и мажут сливовым джемом овсяное печенье».

Сказав это, Еремей всплакнул.

Начали расходиться. Поблагодарив хозяина за содержательный рассказ, мы со всеми распрощались и, поддерживая друг друга, побрали домой, соблюдая конспирацию.

И вот тут началось со мною небывалое.

Проходя за плитой, я неожиданно почувствовал острое желание нарушить конспирацию — в частности, выйти на край кухонного стола и посмотреть вниз. Желание было настолько острым, что я поделился им с Нюрой. Нюра меня на стол не пустила и назвала старым дураком, причем безо всякого акцента.

Полночи проворочавшись в своей щели, уснуть я так и не смог и, еще не имея ясного плана, тайно снялся с места и снова отправился к Еремею.

Еремей спал, но как-то беспокойно: вздрагивал, постаянья на гласной, без перерыва повторял слово «джем» и все шевелил лапками, будто собираясь куда-то бежать.

— Еремей,— тихо сказал я, растолкав его.— Помнишь щель, которую ты нашел возле унитаза?

— Помню,— сказал Еремей и почему-то оглянулся по сторонам.

— Еремей,— сказал я еще тише,— слушай, давай поживем немного за щитком.

— А как же наша кухня? — спросил Еремей, продолжая озираться.

— Наша кухня лучше всех,— ответил я.— Но здесь Семенов.

— Семенов,— подтвердил Еремей и опять заплакал. Нервы у него в последнее время совершенно расстроились.— Но только недолго,— сказал он вдруг, перестав плакать.

— Конечно, недолго,— немедленно согласился я.— Мы только посмотрим, разместятся ли там все наши...

— Да! — с жаром подхватил Еремей.— Только посмотрим, не вредно ли будет нашим овсяное печенье со сливовым джемом!

И мы поползли. Мы обогнули трубу и взяли левее. Возле унитаза при воспоминании о Кузьме Востроногом у меня снова заныло в животе.

— Ох, Еремей,— сказал я,— как ты думаешь, поймут ли нас правильно?

— Наша к-кухня лучше всех! — громко заявил на это Еремей и быстро нырнул в щель.

Опуская подробное описание нашего путешествия, скажу только: оно было полно опасностей. Скромности ради отмечу, что только упорство Еремея, без перерыва твердившего про сливовый джем, вывело нас к утру в другое измерение, к унитазу.

Тамошний мир оказался удивителен: все было вроде как у нас, только совсем по-другому расставлено. Сориентировавшись, мы первым делом поползли в сторону кухни и возле мусорного ведра, прямо с пола, поели вкуснейших крошек. Я, признаться, не был расположен оттуда уходить, пока хоть одна крошка валяется не-ожваченной, но Еремей, попав за щиток, как с цепи сорвался.

— Хватит тебе! — орал он.— Где-то тут должен быть шкаф!

И, стуча усами, помчался наверх. Не без сожаления оставив мусорное ведро, я бросился вдогонку. Шкаф действительно был, и мы собирались уже заползти между створок, когда оттуда показались усы, а вслед за ними выполз огромный и совершенно бурый таракан.

— Хэлло, мальчики,— проговорил он с очень знакомым мне акцентом.— Далеко собрались?

— Добрый день,— вежливо отозвался Еремей.— Нам бы в шкаф.

На это вылезший поднес ко рту лапку и коротко свистнул. На свист отовсюду полезли очень здоровые и опять-таки бурые тараканы, и не прошло пяти секунд, как мы были окружены со всех сторон. Последним неторопливо вылез мордатый, здоровенный, как спичечный коробок, бурый же таракан с какой-то бляшкой на спине. Этот последний без перерыва жевал, что, может быть, отчасти и объясняло его размеры.

— Шериф,— обратился к здоровому тот, что остановил нас,— тут пришли какие-то черные ребята, они говорят, что хотят в наш шкаф.

Тут все захохотали, но как-то странно, и, приглядевшись, я обнаружил, что они тоже жуют. Вообще, надо признать, среди бела дня посреди кухни они вели себя совершенно по-хозяйски. Кажется, они совсем не учитывали человеческий фактор.

Мордатый вразвалку подошел к нам и начал не спеша разглядывать: сначала Еремея, потом меня.

— А вы, собственно, кто такие? — спросил он через некоторое время, видно, не разглядев.

— Мы тараканы,— с достоинством сказал Еремей.

— Это недоразумение,— веско ответил называвшийся шерифом.— Тараканы — мы. А вы дермо собачье.

Когда взрыв хохота утих, шериф уставил лапу Еремею в грудь и, не переставая жевать, сказал так:

— Мальчики,— сказал он,— идите откуда пришли и передайте там, что в следующий раз мои ребята откроют стрельбу без предупреждения. А сейчас мы с ребятами посмотрим, как вы бегаете.

Тут стоявшие вокруг нас довольно организованно образовали коридор, и по этому коридору мы с Еремеем побежали. Сзади сразу начался беспорядочный грохот, а над головами у нас засвистело.

Как я и обещал Еремею, наше пребывание за щитком было чрезвычайно коротким: уже вечером Еремей притормозил возле нашего унитаза, держась за сердце и тяжело

дыша. Он, видимо, хотел что-то сказать, но сразу не смог. Удалось ему это только через минуту. Сливовый джем, сказал Еремей, вовсе не так вкусен, как он думал. И не исключено, что даже вреден для тараканов нашего возраста. Прощаясь со мной возле крана, Еремей попросил также никогда больше не уговаривать его насчет овсяного печенья.

Этой сентенцией завершилось наше путешествие за щиток. Иногда я даже спрашиваю себя, не привиделось ли мне все это, как тараканиха средних лет. Но нет, кажется... А впрочем... Вы же понимаете, в наше время ни за что нельзя ручаться.

Дома меня ждала Нюра. Я не буду описывать нашего с ней разговора — женщины они женщины и есть.

Всю следующую неделю я болел: бег после контузии не пошел мне на пользу. К тому же жирный с бляшкой начал являться мне во сне, а явившись, тыкал лапой в грудь, называл мальчиком и заставлял бегать. Но все это оказалось куда легче реальности, ибо вскоре после моей болезни случилось то, что заставило меня, превозмогая слабость, торопиться с окончанием мемуаров...

IV

Первое, что я увидел, когда, пошатываясь, вышел из-под отставших обоев, был Семенов. Семенов стоял ко мне спиной и держал в поднятой руке какую-то штуковину, из которой с шипением вырывалась струя. Сначала я ничего не понял, а только увидел, как со стены, к которой протянул руку Семенов, сорвавшись, летит вниз Дмитрий Полочный, как падает он на кухонный стол и вместо того, чтобы драпать, начинает быстро-быстро крутиться на месте, а Семенов даже не бьет по нему ладонью, а только с интересом смотрит. Когда Дмитрий перестал крутиться, подобрал лапки и затих, узурпатор взял его за ус и бросил в раковину.

Паника охватила меня. Я бросился обратно под обои, я помчался к Нюре, дрожь колотила мое тело — я понял, что приходит конец. До наступления ночи от семеновской струи погибло еще трое наших, и все в кухне провоняло ею до последней степени.

Ночью, предварительно убедившись, что узурпатор и убийца уснул, я зажал нос и снова бросился к Еремею. Еремей, сидя по холостяцкой своей привычке в полном

одиночестве, раз за разом надувался и, поднося лапки к рту, пытался свистнуть. Он еще ничего не знал.

Услышав про струю, Еремей перестал надуваться, обмяк и устало поглядел на меня. Только тут я заметил, как постарел мой верный товарищ за минувшие сутки.

— Что же теперь будет? — спросил Еремей.

— Боюсь, что не будет нас, — честно ответил я.

— Эх, прав был Геннадий, надо было договариваться с Семеновым, — тихо выдохнул он.

— Геннадий был прав, — согласился я.

— Надо събрать тараканов и пойти к Геннадию, — сказал вдруг Еремей.

Эта простая мысль почему-то не пришла мне в голову: очевидно, я уже успел нанюхаться семеновской дряни. Через пять минут, собрав кого можно и зажав носы, мы двинулись в сторону ванной. Делегация получилась солидная: кроме нас с Еремеем и Нюры, пошли Альберт с супругой, его теща и еще пятеро первых встречных тараканов. Кроме того, примкнул к колонне и разбуженный нашим топотом Степан Игнатьич. По дороге ему объяснили, куда идем.

Зашли и за Иосифом, но он идти к Геннадию отказался: лучше, сказал, умру здесь как собака, а к этому семеновскому прихвостню — не пойду. И, сказав, отвернулся очень гордо. Делать нечего, вышли мы от него, в цепочку построились и след в след прокрались в ванную.

Зашли мы за ножку, Еремей на стреме у косяка встал — обещал-таки свистнуть, если что, — а остальные проползли к Геннадию. Сильно исхудавший изгнаник лежал на спине за тазом с тряпками, раскинув лапки. Мы подползли и стали вокруг.

— Ты чего? — спросил наконец Альберт.

— Не мешай медитировать, путник, — мирно ответил Геннадий, продолжая лежать.

— Чего не мешай? — попробовал уточнить Степан Игнатьич, на что Геннадий не ответил, а только скрестил нижние лапки и закатил глаза.

— Слушай, — сказал я тогда, — ты давай быстрее это делай, а то народ ждет.

Геннадий осторожно расплел лапки и перевернулся.

— Говорите, — сухо сказал он, — но короче. Мне еще Вселенную слушать. — И постучал по тазу.

Тогда я рассказал ему обо всем, что произошло у нас после Второго Всетараканьего. Геннадий не перебивал, но

смотрел отрешенно. Сообщение о ядовитой струе встретил с завидным хладнокровием. Спрошенный совета, рекомендовал самосозерцание и укрепление духа путем стойки на усах, после чего опять закатил глаза.

— А договор? — напомнил я, волнуясь. — Помнишь, ты хотел заключить с Семеновым договор?

— С каким Семеновым? — вежливо, но безразлично спросил Геннадий.

Тогда мы забрали Еремея и быстро побежали вон из ванной.

Развязка приближалась неотвратимо. Наутро по вине высунувшегося из-под колонки Терентия узурпатор залил дрянью все зашкафье, плинтуса, батареи и трубу под раковиной. К вечеру те из нас, которые еще могли что-либо чувствовать, почувствовали, что дело швах.

Ночью, покинув щель, я вышел на стол. Стол был пуст и огромен, полоска лунного света косо лежала на нем. Меня подташнивало. Бескрайняя черная кухня простиралась вокруг — лишь ручка от дверцы шкафа тускло поблескивала над хлебницей.

И тогда я закричал. На крик отовсюду начали сползаться уцелевшие, и сердце мое защемило — разве столько наползло бы нас раньше? Когда приполз Степан Игнатьевич — а он всегда приполз последним, — я сказал:

— Разрешите Третий Всетараканий съезд считать открытым.

— Разрешаем, — хором тихо отзвались тараканы.

— Я хочу сказать, — сказал я.

— Скажи, Фома, — подняв лапку, прошептал верный Еремей.

— Тараканы! — сказал я. — Вопрос сегодня один: договор с Семеновым. Буфета не будет. Скандирующей группы не будет. Антресольные, если хотят автономии, могут ее взять хоть сейчас и делать с ней что хотят. Если плинтусные имеют что-нибудь против подраковинных или наоборот — пожалуйста, мы готовы казнить всех. Но сначала надо договориться с Семеновым.

И мы написали ему письмо, а Степан Игнатьевич перевел его: он, пока жил за обоями, выучил человеческий язык. Вот это письмо, от слова до слова:

«Семенов!

Пишут тебе тараканы. Мы живем здесь давно, и вреда от нас никогда не было никакого. Еще ни один человек не был раздавлен, смыт или сожжен тараканом, а если мы

иногда едим твой хлеб, то, согласись, это не стало тебе в убыток. Впрочем, если таракан как венец сущего тебе не симпатичен, и ты не хочешь есть с нами за одним столом — то это дело вкуса, и никто не станет неволить тебя: мы согласны столоваться даже под плитой, хотя тебе, Семенов, еще никто не предлагал ужинать в мусорном ведре.

Мы не знаем, за что ты так ненавидишь нас, за что терпели мы и голод, и индивидуальный террор, не говоря уже о мелких житейских неудобствах,— но химическое оружие, Семенов! Ведь оно запрещено даже у вас! Не боишься ли ты, что кто-нибудь из наших доползет до СОН? Тебя осудят, Семенов,— если только какая-нибудь гадина не успеет наложить вето.

Семенов!

Мы хотим мирного сосуществования с различным строем и, не тряся долее слов, предлагаем тебе Большой Договор, текст которого прилагается.

Ждем ответа, как соловьи лета.

Тараканы

Приложение

Б о л ь ш о й Д о г о в о р

Руководствуясь интересами мира и сотрудничества, а также желанием нормально поесть и пожить, Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на себя нижеследующие обязательства.

Жильцы Тараканы:

1. Обязуются не выходить на кухню с 6.00 до 8.30 (в выходные — до 11.00), а также быстро покидать ее и места общего пользования по первому кашлю.

2. Гарантируют неприкосновенность свежего хлеба и праздничных заказов в течение трех суток со дня приноса.

3. Как было сказано выше, согласны обедать ниже.

Быстречным образом Жильц Семенов обязуется:

4. Перестать убивать Жильцов Тараканов.

5. Не стирать со стола, а стряхивать на пол сухой тряпкой.

6. По выходным и в дни государственных праздников не выносить ведро перед сном, а вытряхивать на пол.

Подписи:

За Семенова — Семенов.

За Тараканов — Фома Обойный».

Степан Игнатьич писал все в двух экземплярах — писал ночами, на шкафу, при неверном свете луны, и мы притаскивали ему последние крошки, чтобы у лапок Степана Игнатьича хватило сил.

На обсуждение вопроса о том, кто передаст письмо Семенову, многие не пришли, сославшись на головную боль. Кузьма Востроногий передал через соседей отдельно, что не может участвовать в мероприятии, поскольку боится, что Семенов может его неправильно понять. Решено было тянуть жребий, и бумажку с крестиком вытащил Альберт. Мудрый Степан Игнатьич сказал, что это справедливо, потому что у Альбера все равно теща.

Мы сделали Альберту белый флагок и под утро оставили его вместе с письмом дожидаться прихода Семенова.

Описывать дальнейшее меня заставляет только долг летописца.

Едва Альберт, размахивая флагжком, двинулся навстречу узурпатору, тот подскочил так, что ударился головой об антресоли, издал леденящий душу вопль, взвыл, рванулся к столу и оставил от Альбера мокре место. Сделав это, Семенов соскреб то, что осталось от нашего парламентера, на текст договора и выбросил все это в мусорное ведро. Потом он прошептал какое-то слово и пошел к подоконнику, на котором стояла штуковина с ядовитой струей внутри.

Мы бежали, бежали...

Эпилог

Четвертые сутки сижу я глубоко в щели и вспоминаю свою жизнь, ибо ничего больше мне не остается.

Родился я давно. Мать моя была скромной трудолюбивой тараканихой, и хотя ни она, ни я не помним моего отца, он, несомненно, был тараканом скромным и трудолюбивым.

С детства приученный к добыванию крошек, я рано познал голод и холод, изведал и темноту щелей, и опасность долгих перебежек через кухню, и головокружительные переходы по трубам и карнизу. Я полюбил этот мир, где наградой за лишения дня было мусорное, сияющее в ночи ведро — и любовь. О, любви было много, и в этом, подобно моему безвестному отцу, я был столь же скромен, сколь трудолюбив. Покойница Нюра могла бы подтвердить это, знай она хоть пятую долю всего.

Я выучился грамоте, прилежно изучая историю; красоты поэзии открылись мне. И сейчас, сидя один в щели, я поддерживаю свой дух строками незабвенного Хитина Плинтусного:

Что остается, когда ничего не осталось?
Капля надежды — и капля воды из-под крана...

Так и я не теряю надежды, что любознательный потомок мой, шаря по щелям, наткнется на этот манускрипт, и прочтет правдивейший рассказ о жестокой судьбе нашей, и вспомнит с благодарностью скромного Фому Обойного, которому, несмотря на всю скромность, все больше хочется есть. Надо бы пройтись вдоль плинтуса — авось чего-нибудь найду.

От переводчика

На этом месте рукопись обрывается, и, предвидя многочисленные вопросы, я считаю необходимым кое-что объяснить.

Манускрипт, состоящий из нескольких клочков старых обоев, мелко исписанных с обратной стороны непонятными значками, был обнаружен мною во время ремонта новой квартиры. Заинтересовавшись находкой, я в тот же день прекратил ремонт и сел за расшифровку. Почерк был чрезвычайно неразборчив и, повторяю, мелок, а тараканий язык — чудовищно сложен; работа первооткрывателя Трои показалась бы детской шарадой рядом с этой, но я победил, распутав все неясности.

Восемь лет продолжался мой труд. Квартира за это время пришла в полное запустение, а сам я полысел, ослеп и, питаясь одними яичницами, вслед за геморроем нажил себе диабет. Жена ушла от меня уже на второй год, а с работы выгнали чуть позже, когда заметили, что я на нее не хожу.

Каждое утро, проснувшись, я бежал в магазин и, если успевал, хватал две бутылки кефира, сахар, заварку, батон хлеба и десяток яиц. Иногда кефира и яиц не было, потом пропал сахар — тогда я жил впроголодь целые сутки, на чай, а случалось, и на воде из-под крана. С продуктами стало очень плохо. Вот раньше, бывало... Впрочем, о чем это я.

И потом этот завод. Пока переводил первую главу, его построили прямо напротив моих окон, и сегодня,

забившись за письменный стол, я уже боюсь открывать форточку. Но перевод закончен, и я ни о чем не жалею.

В редакциях его, правда, не берут, говорят, не удовлетворяет высоким художественным требованиям; я говорю: так таракан же! Тем более, говорят,— значит, не член Союза. Впрочем, я не теряю надежды — кто-нибудь, шаря по ящикам моего стола, обязательно наткнется на эту рукопись и узнает все, как было.

Борис Штерн

ШЕСТАЯ ГЛАВА «ДОН КИХОТА»

Первая часть

*Бойся длинных описаний
И не лезь героям в души,
Ибо там всегда потемки,
А в потемках ногу сломаешь.
Избегай играть слова:
Острякам дают по шапке,
Но, усилий не жале,
Добивайся добрых сла-
Ибо сочинитель глупы.
Есть предмет насмешек веч-*

Мигель Сервантес.
Пролог к «Дон Кихоту»¹

История повторяется: в некоем райцентре Одесской области (бывшей Мамонтовке) жил да был один из тех отставных майоров, которым после двадцатипятилетней безупречной службы в тайге или на Крайнем Севере разрешено прописываться везде, где душа пожелает (кроме, разумеется, столиц и курортов — те для генералов), и чье имущество, образно говоря, состоит из облезлого чемодана, испорченного черно-белого телевизора, двубортного костюма и «Командирских» часов.

Фамилия этого отставного майора неизвестно почему складывалась из двух очень простых русских фамилий — то ли Прохоров-Лукин, то ли Титов-Афанасьев. Из-за этой-то простоты ее трудно было запомнить.

— Как его?.. Ну, этот, чокнутый... Ну... Петров-Водкин, что ли? — вспоминали в райвоенкомате перед государственными праздниками. Зато имя-отчество помнили и печатали на поздравительной открытке:

«Уважаемый Федор Федорович! Разрешите от имени и по поручению... поздравить Вас с Днем Конституции».

Или что-нибудь в этом роде.

Федор Федорович был человеком относительно не бед-

¹ Пер. Н.М. Любимова

ным, но всю свою военную пенсию и трудовые сбережения тратил на покупку так называемой научно-фантастической литературы.

Сколько у него было книг? Грузовик с прицепом.

Жил он в хрущевской пятиэтажке, заселенной местным начальством,— потому, наверное, и называли этот дом Домом на набережной. Его однокомнатная квартира, где до Федора Федоровича обитал верующий художник-диссидент, была заставлена и завалена книгами и напоминала даже не библиотеку, а книжный склад в каком-то своеобразном божьем храме: этот выдворенный на Запад диссидент, как видно, верил во всех богов сразу — он живописно расписал все двери квартиры с обеих сторон скифскими истуканами, а также ликами Шивы, Будды, Конфуция, Христа и (даже!) Магомета.

Федору Федоровичу боги не мешали, он их не закрасил. Пусть живут...

Что он ел — неизвестно. Дома Федор Федорович не готовил, а кухню тоже приспособил под книги, обменяв оставшуюся от художника-диссidentа новую белую электрическую плиту на синее огоньковское собрание сочинений Герберта Уэллса. Целыми днями он пожирал научную фантастику под мудрое молчание испорченного телевизора. Наверное, все же, кроме фантастики, Федор Федорович чем-то питался, потому что иногда натягивал резиновые сапоги и переходил вброд через дорогу в столовую под непонятным для него названием «Ідальня», откуда доносился запах жареных пирожков с яблочным повидлом. А потом читал, сидя в удобном кресле, которое ночью фантастическим образом превращалось в кровать. Во всяком случае, так ему мерещилось. Обычное раскладное кресло...

Бедный, бедный старик! Не было у него ни Росинанта, ни Санчо Пансы, ни приличной кровати, и не бросался он с дрыном на железобетонный элеватор вызволять награбленное крестьянское зерно у этого голодного неземного чудовища, и местную химзону на окраине Райцентра обходил темными переулками, принимая вышку с охранником за боевой марсианский треножник, — в общем, Федор Федорович не был буйным, но в основном история повторилась: он помешался на современной научной фантастике и откалывал фокусы не менее странные, чем его знаменитый предшественник четыреста лет тому назад.

Каждую весну, например, Федор Федорович начинал маяться, собирался в дорогу и улетал из Одессы в Зуральск на день рождения небезызвестной Аэлиты Тол-

стовской. Туда съезжались несколько десятков его молодых друзей, таких же странноватых любителей фантастики. Число их с каждым годом увеличивалось раза в два, совсем как межпланетные расстояния по правилу Тициуса-Боде. Некоторые из странников уверяли Федора Федоровича, что прибывают в Зауральск посредством «нуль-транспортировки через подпространство», а он так искренне верил этим насмешникам, что в конце концов собственный перелет в обыкновенном самолете стал воспринимать за эту самую «нуль-транспортировку».

А новую Аэлиту каждый год выбирали на конкурсе в Зауральске всеобщим открытым голосованием. Попадались там такие прехорошенькие любительницы научной фантастики, что казались на сцене еще более обнаженными, чем были на самом деле. (Сколько там на ней того купальника!) Они воображали себя наследницами знаменитой марсианки только потому, что их инопланетные ноги росли, казалось, из самой шеи. В первую же избранницу Федор Федорович влюбился до потери сознания и преподнес ей купленную в зауральском универмаге дорогостоящую малахитовую шкатулку с гравировкой:

«Аэлите-82 с любовью от Ф. Ф. Лося-Гусева».

В ответ она своими ногами сделала книксен, поцеловала его в лоб и поблагодарила:

— Большое спасибо, папочка!

Хотя Федор Федорович годился ей в дедушки.

Фэны его любили, считали своим, но нещадно обманывали, подсовывая самые дрянные книжки по сходной несусветной цене. Впрочем, Федору Федоровичу все годилось, он все с восторгом читал, даже сборники фантастики издательства «Молодая гвардия». Везде ему чудились летающие тарелки с иллюминаторами, снились страшнющие членистоногие пришельцы, а сидя на унитазе, он представлял себе какое-то Великое Кольцо и восседающих на его железной кромке Братьев по Разуму.

Дальше — хуже.

Однажды, возвращаясь из Зауральска через Москву, Федор Федорович добился аудиенции у самого Аристарха Кузанского! Того самого, автора знаменитой «Полыхающей пустоты». Федор Федорович с трепетным чувством впервые смотрел на живого писателя-фантаста... Оказалось, что они с ним — два сапога пара! Аристарх Кузанский тоже верил в пришельцев, предъявил в качестве доказательства цветные заграничные фотоальбомы о жизни и деятельности на Земле внеземных цивилизаций и

подарил Федору Федоровичу первое издание своей «Полыхающей пустоты» (раритет 1937 года) с дарственной надписью:

«Дорогому соратнику и единомышленнику Ф. Ф. Белову-Маркову от автора». Подпись: «Ар. Куз.».

Это уж было слишком для нарушенного рассудка Федора Федоровича.

Вернувшись домой, Федор Федорович решил установить контакты с писателями и любителями научной фантастики всего земного шара на предмет объединения в это самое Кольцо. Если марсиане существуют,— а кто сомневается? — то, скорее всего, их следует искать именно в этом ограниченном контингенте человечества...

Где же еще?

Первым делом он написал письмо Рэю Брэдбери: поздравил того с очередным круглым юбилеем, объявил о создании Великого Кольца и попросил приобрести там, в Соединенных Штатах, и выслать сюда, в бывшую Мамонтовку, наложенным платежом красочные фотоальбомы, отражающие межпланетные палеоконтакты, каких бы денег они ни стоили.

Заклеил конверт, подумал и надписал адрес: «Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, Рэю Брэдбери».

«Дойдет», — подумал он.

И стал Федор Федорович писать письма...

С советскими адресами сложностей не было: «Москва, журнал «Знание — сила», братьям А. и Б. Стругацким», «Киев, журнал «Знання та праця», Олександру Тесленко», Новосибирск, «Тайга», Г. Прашкевичу»...

С иностранными — тоже: «Польша, Варшава, Станиславу Лему», «Япония, Токио, Саке Комацу», «Франция, Париж, Пьеру Булю»...

И так далее.

«Марсиане всех стран, объединяйтесь!» — призывал всех Федор Федорович.

Так разбежался, что написал письмо Герберту Уэллсу: «Великобритания, Лондон, Герберту Уэллсу», бросил конверт в почтовый ящик и даже не вспомнил о том, что великий изобретатель машины времени давно умер.

Написал он также в Зауральск Аэлите-82, напомнил о своей отцовской любви, призвал объединяться с марсианами. Очень хотел пригласить в гости, но не посмел, испугался... Саму Аэлиту Толстовскую!

Не прошло и полгода, как Федора Федоровича вызвали в почтовое отделение и, с подозрением проверив паспорт,

выдали кем-то уже читанную корреспонденцию из Нью-Йорка. На именной голубой бумаге с изображением собственного двухэтажного особняка Рэй Брэдбери сообщал своим характерным американским почерком о том, что...

А о чем — можно только догадываться.

Федор Федорович заметался. Мало того, что за двадцать пять лет на Крайнем Севере не удосужился выучить английский язык, так еще и почерк неразборчивый!

Еле дождался вечера, надел резиновые сапоги, взял весло для замера глубины грязи и, обойдя мусорник, нахально расположившийся у дома со времен ледникового периода, погреб в клуб «Водоканализации» на платные курсы иностранных языков. Как уже говорилось, вечерело. Райцентр находился в глубоком русле усохшей реки, впадавшей некогда в Эвксинский Понт. Значит, дом в самом деле стоял на бывшей набережной — вот откуда название! Здесь не продували ветра, не сквозило, зато было прохладно и сыро от стекавших с обрывов грунтовых вод, и стояли какие-то вечные сумерки из-за того, что солнце заглядывало сюда всего лишь раз в день пополудни, — встанет ближайшая к нам звезда над откосом, осторожно, чтобы не упасть, постоит над этой дырой, посмотрит, плюнет и отойдет со вздохом...

Кто тут жил? Население.

Работало оно на сахарном заводе, производило сахар из свеклы, ходило в облупленный пустой универмаг, ело, пило, закусывало. Всякое здесь бывало, мало кто чему удивлялся... Это мы знаем. Это — уже видели. А это — кушали. Ничем их не проймешь. На платных курсах иностранных языков, кроме английского, никаким другим языкам не обучали. Да и желающих выкладывать свои кровные за это сомнительное удовольствие нашлось в Райцентре раз-два, и обчелся: два украинца и один гражданин еврейской национальности. Учились они в этом иностранном кружке неизвестно зачем. Украинцы собирались уехать пахать в Канаду, а еврей еще точно не знал куда — откуда пришлют вызов, туда и уедет... Туда, где Дневное Светило исправно всходит и заходит утром и вечером. Всем было скучно, всем надоел этот «паст индейфинит тенз». Английский язык — он и в Греции английский, его даже в Африке можно выучить. Так что учились они в клубе «Водоканализации» скорее из ритуала или для собственного самообмана, не более того.

Все вчетвером прервали занятия (четвертой была преподавательница курсов Людмила Петровна, которой тоже осточертело готовить кадры для заграницы) и принялись переводить. Перевод приблизительно получился такой:

«Дорогой май френд господин Ванька Жукофф! — отвечал Рэй Брэдбери.— Лично у меня все о'кей, чего и тебе желаю! С радостью узнал, что мои дела в России тоже идут (обстоят?) распрекрасно. Оказывается, даже в скифских степях обитают мои почитатели, хотя ваш ВААП не платит мне гонораров до 1973 года. Это великолепно! Они хорошо устроились! Как ты поживаешь? Надеюсь, вери гуд? Будешь в Нью-Йорке — стучи в рельсу! Привет супруге, детишкам. Гуд бай!»

Дата. Подпись: «Твой Р. Бр.».

Два украинца, один еврей и Людмила Петровна горячо поздравили Федора Федоровича. Подумать только — получить вызов из Соединенных Штатов от самого Рэя Брэдбери! Хитры американцы, перекачивают лучшие умы за океан. Пусть Федор Федорович завтра же утром отправляется автобусом в одесский ОВИР и начинает оформлять документы на выезд.

Кто такой ОВИР, Федор Федорович не знал. ОВИР был для него набором заглавных букв. Что ОВИР, что ВААП — этими загадочными богатырями он не интересовался. Другое дело, проблемы СЕТИ или НЛО! Короче, два украинца, один еврей и Федор Федорович купили в продмаге у Варвары Степановны бутылку водки и уже в полной темноте распили ее в кустах сирени за здоровье прогрессивного американского фантаста.

Федор Федорович возвращался домой в духовном и физическом опьянении в кромешной тьме с букетом сирени под мышкой. Лишь «Командирские» часы светились и указывали дорогу. Один раз провалился в грязь по колено. Второй раз поскользнулся и сел в лужу. На него молча прыгнула холодная лягушка. Ей хотелось тепла. Над обрывом, поколебавшись, взошла Луна, чтобы понюхать сирень. Луна уже не была такая самоуверенная — с тех пор, как американцы, науськанные Рэем Брэдбери, походили по ней ногами. Урожай сирени в этом году был как никогда, хоть вези на элеватор. Запах стоял такой, будто Райцентр сбрызнули сиреневым одеколоном от комаров. Федор Федорович сидел в луже под нерешительной Луной с ручной лягушкой на плече и думал о Рэе Брэдбери...

Об инопланетных фотоальбомах американец не сказал ни слова. О Великом Кольце — и того меньш...

«Не хочет объединяться,— проницательно соображал Федор Федорович.— Некогда ему там, в Нью-Йорке, бродить по черному рынку и разыскивать у книжных жучков цветные фотоальбомы для Федора Федоровича. Но, главное, ответил. Человеком оказался, а не марсианином... Человек все-таки ближе...»

Лягушка квакнула, Луна вздрогнула, Федор Федорович очнулся, согнал лягушку и пошел домой.

Дома его ожидал еще один сюрприз. Пока он отсутствовал, к нему в гости заявилась Аэлита-82, открыла ногтем мизинца дверной замок и уже успела расположиться в квартире: пририсовала Магомету губной помадой красные буденновские усы и раскидала везде свои марсианские вещи: малахитовую шкатулку, баскетбольную сумку и французские духи «Ночная магия». Их аромат Федор Федорович сразу оценил — это вам не сиреневый одеколон!

— Здравствуй, папочка! Ой, это мне сирень? Откуда ты такой грязный?

Она стянула с онемевшего Федора Федоровича сапоги и вымыла их под краном. В совмещенном санузле уже висели ее трусики, лифчики и знаменитый, но давно полинявший купальник. Этот купальник Аэлита еще возила с собой, хотя войти в него уже не могла, как не могла войти в усохшие марсианские каналы или в ту же реку, впадавшую некогда в Эвксинский Понт. Все ушло в прошлое, без всякой машины времени. Куда подевались ее «юношеская тонкость» и «бело-голубоватость», так восхищавшие Алексея Толстого? «Приподнятый нос» и «слегка удлиненный рот» не были уже «по-детски нежны», а в «огромных зрачках пепельных глаз» не светились взволнованные искорки. С каждым годом Аэлита-82 толстела по правилу Тициуса-Боде. Письмо от Федора Федоровича ей переслали из Зауральска в Петропавловск-на-Камчатке, оттуда — в Ташкент, из Ташкента — еще куда-то, потому что Аэлита не сидела на месте, а носилась по стране то с фэнами, то с рокерами, то с рок-группами, то даже с примитивными футбольными фанатами носилась она...

«Спа-ар-так — чэм-пи-он!»

Попала на Землю и загуляла. Загастролировала. Невидимый миру темный синяк на бедре, припудренный фонарь под глазом, охрипший голос («Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента,— так чудесен был ее голос»), любовь к шампанскому, множество других любовей — ничему хорошему не способствовали.

Опять же — свалилась с луны или прилетела с Марса, а где жить без постоянной прописки? На чужих квартирах? Или углы снимать? Где? В Зауральске, в Нижневартовске, в общагах? На острове Врангеля? Работать где? Кем? Трубоукладчицей?..

Тут ничего смешного нет: надо же марсианской Аэлите как-то жить на Земле? Надо же ей куда-нибудь лечь, как той подбитой подводной лодке? Везде крейсеры, линкоры и бронепоезда... Так и норовят!

Федор Федорович все это дело выслушал, напоил, накормил, отпустил грехи, и стала Аэлита жить у него на раскладном кресле в комнате, а он на стеганом одеяле в кухне. Никогда еще Федор Федорович не был так счастлив! Все его сокровенные желания исполнялись: Аэлита приехала, Рэй Брэдбери называл его своим дорогим френдом, Великое Кольцо начинало функционировать. Отправился он в облупленный пустой универмаг, что за мусорником, и купил себе пружинную раскладушку с матрасом. Вообще, ходил именинником и всем, всем, всем показывал письмо Рэя Брэдбери: Варваре Степановне в продмаге, начальствующим соседям, подавальщице в «Ідальне», паспортистке в милиции, куда он пришел хлопотать о постоянной прописке для Аэлиты на своей жилплощади. Так осмелел, что однажды с беззаботным видом прогулялся мимо химзоны и показал фигу охраннику в марсианском треножнике.

Какие-то незнакомцы останавливали его и спрашивали:
— Гатя, как там с жизнью на Марсе?

Он степенно объяснял, что американские «Викинги» таковую не обнаружили, но это еще ни о чем не говорит.

Миновало дня три. На почту больше не вызывали и писем не приносили. Никто пока не отвечал — ни Лем, ни Буль, ни братья Стругацкие. Молчали также Азимов, Шекли и Гарри Гаррисон. Значит, пишут...

Федор Федорович умел ждать. Он подуспокоился и опять принялся штудировать свои книги, стремясь по ходу вовлечь Аэлиту в сферу интересов Великого Кольца. Почему бы Аэлите не стать его секретаршей? Но Аэлита зевала и точила когти в ожидании штампа о прописке и исчезновения фонаря под глазом. Похоже, она вообще ничего не читала, кроме разве что «Колобка», хотя у футбольных фанатов имела солидную репутацию любительницы фантастики. Она больше любила рисовать. Магомет с помощью богохульной помады постепенно превращался в Буденного, Христос — в доброго старосту Ка-

линина, Конфуций — в заурядного пьяницу. К скифским идолам и к японским богам Аэлита пока приглядывалась, оставляя их на потом.

Наконец фонарь под глазом сошел, хотя с пропиской дело не двигалось — свое свидетельство о рождении, без которого прописка ну никак невозможна, Аэлита потеряла где-то на Марсе. Нужно было восстанавливать по месту рождения, писать запрос. Аэлита вздохнула, взяла синюю помаду, примерилась и пририсовала скифским истуканам доблестные натуралистические мужские достоинства. Потом покрасила когти зеленым лаком и сказала:

— Скучно. Надо починить телевизор.

Вернулась она на следующее утро с пьяным телемастером, похожим на Алена Делона, и с новым фонарем, но уже под другим глазом. Телевизор в отместку из последних сил ударил телемастера током, а сам сгорел. Валил дым, приезжали пожарные со «скорой помощью»...

— Ален Делон не пьет одеколон,— намекнул Аэлите врач «скорой помощи», увозя телемастера в больницу.

— И говорит по-французски,— согласилась Аэлита.

Все на этот раз обошлось, хотя Федор Федорович очень испугался за книги:

— Один пожар, и все сгорит!

Отправился он в отдел кадров на сахарный завод договариваться об устройстве Аэлиты на работу в режимный цех по переработке сахара в сладкий спирт, а заодно обменял у тамошнего пожарного дружинника свой запасной экземпляр «Полыхающей пустоты» на такой же пустой красивый красный огнетушитель. Дружинник, которому сладкий спирт давно надоел, обещал огнетушитель потом заправить, а «Полыхающую пустоту» после ухода Федора Федоровича обменял в продмаге у Варвары Степановны на бутылку государственной водки, которую, раскупорив в обеденный перерыв, с проклятьями разбил о стену, потому что в бутылке оказалась обыкновенная водопроводная вода...

И такое бывает. И Варвара Степановна не виновата. И некому жаловаться. И никто не виноват. И справедливость соблюдена: полыхающая пустота на пустой огнетушитель и на пустую бутылку. Так на так.

И насчет Аэлитиной работы в качестве кладовщицы в режимном цехе пока ничего не получилось — в отделе кадров с нее тоже потребовали постоянную прописку. А метрика, как уже говорилось, на Марсе. А дотуда — как до Крайнего Севера.

Вот. Зато в отделе кадров предложили работу самому Федору Федоровичу — начальником штаба гражданской обороны сахарного завода.

— Отбиваться от НЛО, что ли? — вполне серьезно спросил Федор Федорович.

В отделе кадров обиделись и сняли вопрос с повестки дня.

Вскоре по Райцентру поползли слухи о том, что Федор Федорович получает письма от какого-то «евРЭя Брэдбери» и, похоже, собирается в скором будущем сваливать за бугор. И все, все, все стали писать на него жалобы и доносы: и какую-то неместную блядь по имени стирального порошка приютил, и огнетушитель зачем-то приволок, и газом в квартире пахнет — того и гляди, Дом на набережной взорвет. Даже Варвара Степановна в продмаге ворчала:

— Старый черт, из-за него вся водка скисла!

И даже охранники из химзоны подали по начальству рапорт: мол, бродит тут какой-то козел и дули показывает. Ну, прямо человек-невидимка! Не провокатор ли?

Понятно, дошли эти слухи и жалобы до «куда-нужно». Начали его посещать представители разных организаций. Раньше они на Федора Федоровича плевать хотели с расстояния пушечного выстрела, а сейчас пошли косяком...

«Гражданин Попов-Кулибин? Эф-Эф? Великий русский изобретатель? Водоканализация... Что тут у вас с Кольцом? Трубы не текут? На здоровье не жалуетесь? И слава Богу. Распишитесь, что озверели в получении инструкции... То есть ознакомлены в получении... Или как-то не так, ч-черт... Распишитесь напротив галочки».

Проверяли паспортную дисциплину, гоняли на флюорографию, заглядывали в унитаз, интересовались газовой плитой, хотя никогда еще за всю свою древнюю историю Мамонтовка не была газифицирована, газом тут и не пахло, потому что главная труба из Тюменской области огибала город без ответвления прямиком в Румынию, где своего газа девать некуда.

— Чертовщина и фантасмагория!... — удивлялся Федор Федорович, который газовую плиту отродясь не видывал.

И так каждый день.

В военкомате при уточнении служебной анкеты, как бы между прочим, спросили: не собирается ли Федор Федорович уезжать куда-нибудь в дальние края?

— В ближайшем будущем? — задумался он.

— Ну, пусть в ближайшем.

— В мае месяце собираюсь в Зауральск,— вспомнил Федор Федорович.

— Зачем?

Федору Федоровичу только того и надо! Он вскочил на подставленную лошадь и погнал аллюром свои бредни о нуль-транспортировке, о Великом Кольце и о Рэе Брэдбери...

— Стоп, стоп, стоп, стоп!.. А это кто такой? — насторожились в военкомате.

Федор Федорович вошел в раж:

— Да как же так!.. Бескультурье!.. Да это же!.. Прогрессивный!.. Выдающийся писатель-фантаст!.. Американский!.. Бывшие наши союзники!..

В общем, не знали, как от него отделаться. Вручили очередную юбилейную открытку о взятии Кенигсберга и даже забыли поинтересоваться, не собирается ли Федор Федорович уезжать куда-нибудь в отдаленном будущем.

И еще одна встреча.

Но это между нами.

Она проходила в строгой тайне («никому ни слова»), в отсутствие Аэлиты, которая в это время гуляла с врачом со «скорой помощи». Позвонил в дверь представитель «откуда-надо» и, не переврав фамилии, спросил, имеет ли он дело с товарищем, скажем, Борисовым-Завгородовыми?

Ответ был утвердительным.

Тогда, предъявив удостоверение... (Все-таки придется открыть секрет: это было удостоверение буровика из конторы глубоководного бурения нефтяных скважин.) Предъявив этот солидный документ, представитель конторы пригляделся к красному Магомету и сказал с похвалой:

— Славный был рубака в этих краях!

— Да, немало порубал своих соотечественников! — согласился Федор Федорович.

К портрету всесоюзного старосты представитель тоже отнесся благосклонно. С недоумением осмотрел огнетушитель, спросил:

— В доме никого нет?

— Кроме нас с вами.

Федор Федорович остался доволен тем, что его фамилию впервые в этом городе не переврали. Он показал гостю кухню, похвастался библиотекой, усадил в почетное кресло, сам сел на пачку книг. Представитель глубоководной конторы помалкивал и заглядывался на посиневшие от холода достоинства скифских идолов.

— Так вот и живу,— начал разговор Федор Федорович.— Один... Пока один. Хочу дочь прописать.

— Значит, она вам дочь?

— Приемная.

Весь разговор долго описывать...

Серьезный был разговор, представитель в самом деле глубоко бурил, сразу видно, что не из военкомата. С Аэлитой все прояснилось, с этим стиральным порошком вопрос снимается. О Рэе Брэдбери почти не вспоминали, потому что кто же не знает Рэя Брэдбери! Рэй Брэдбери действительно прогрессивный и выдающийся человек, о нем только в «Водоканализации» могут не знать. А «451 градус по Фаренгейту», о том, как книги жгут, даже в пожарной части читали и с похвалой отзывались о работе американских коллег. Так что насчет писем Рэя Брэдбери к Федору Федоровичу нет никаких претензий. Мосты, понтоны и переправы на подручных средствах с американцами можно и нужно наводить. Как на Эльбе. Только не удирать туда через нуль-пространство, а культурненько. Зато с Гербертом Уэллсом вопрос спорный, неясный.

— Так ведь Герберт Уэллс тоже прогрессивный! — тут же ввязался в спор Федор Федорович.— Прогрессивный великобританский писатель-фантаст!

— И выдающийся,— напомнил гость.

— Он Ленина видел!

— Кто спорит? Но дело в том, что этот прогрессивный писатель-фантаст давно умер.

— Как это «умер»? — тихо переспросил Федор Федорович.— Когда? Докажите!

— 13 августа 1946 года. Я специально уточнял.

— Он бессмертен,— с тихим пафосом произнес Федор Федорович.

— В каком смысле? В морально-литературном? В этом никто не сомневается.

— И в биологическом смысле тоже!

— Вы это серьезно?

— Герберт Уэллс живой. Как мы с вами.

Представитель конторы глубокого бурения беспомощно посмотрел в глаза пьяного Конфуция, ища поддержки. Тот ему подмигнул: держись, мол!

Представитель перевел взгляд на многорукого Шиву. Одной из множества своих рук тот крутил пальцем у лба, другой — показывал на Федора Федоровича.

«Сумасшедший... — догадался бурильщик.— Или баптист...» — тоскливо предположил он.

— Вы, наверно, верующий? В загробную жизнь?

— Бога нет! — с ходу отверг это предположение Федор Федорович. — Но жизнь после смерти существует на научных основаниях. Это доказано.

— Кем? Конкретно! Когда? Факты! — прорвало представителя, но он тут же взял себя в руки. — Извините, погорячился. Ну, хорошо... Может быть... Пусть жизнь существует в любых видах. Пусть после смерти. Пусть после жизни. Но вы написали в письме к Герберту Уэллсу... Цитирую по памяти: «Приезжайте к нам через десять лет... Наш Райцентр вы не узнаете. Он станет столицей Великого Кольца. Все будут жить в современных квартирах, решится продовольственная проблема...» Это вы написали?

— Нехорошо читать чужие письма, молодой человек, — погрозил пальцем Федор Федорович.

— Работа такая, — развел руками представитель конторы. — Но вы не ответили.

— Это я написал. А что, собственно? Почему бы Герберту Уэллсу к нам не приехать? В Мамонтовке даже Исаак Бабель бывал. А вот Ильф и Петров, к сожалению, не собрались...

— Вы правы, — задумался представитель. — Если Герберт Уэллс жив, почему бы ему не приехать к нам? Я это упустил из виду.

— Вот именно. Кстати, вынужден вам сказать, ваша организация с Бабелем очень погорячилась. Очень! — беспощадно заявил Федор Федорович.

— Меня тогда еще в живых не было, но я все равно приношу вам свои извинения за Бабеля. Если хотите, можете и его пригласить в гости, — продолжал идти на уступки представитель конторы. — Давайте все-таки вернемся к Герберту Уэллсу... Вы уверены, что продовольственная проблема к приезду Уэллса будет решена?

— Абсолютно.

— И жилищная?

— Каждому по квартире!

«Безумец...», — поставил окончательный диагноз представитель.

Они еще долго беседовали.

Глубоководный представитель особенно интересовался Великим Кольцом:

— Это что за Кольцо? Кооператив? Нет? Такая организация писателей и любителей рыцарских романов?.. То бишь, научной фантастики? Неформальная? Ах, всемирная! Всемирная и неформальная? Очень интересно! И ка-

ковы ее цели, задачи, намерения? Структура? Фонды? Членские взносы?

Интересовался, а думал о другом...

Надо что-то делать с Федором Федоровичем, надо как-то помочь ему. Райцентр бурлит, отвлекается от насущных проблем и не варит сахар из свеклы, тогда как в стране сахара не хватает — весь уходит на самогон. Мужик он, видать, безобидный, хороший, жить с ним в Райцентре стало веселее, но, если даже испанский административно-командный аппарат в семнадцатом веке не смог выдерживать безумные выходки своего Дон Кихота, то тем более в наше время кому это понравится?

Прощаясь, представитель конторы обратил свой взор за советом на Буденного и Калинина.

«Надо человека спасать», — кивнул Буденный.

«Надо спасать человека», — согласился с ним всесоюзный староста.

«Так и сделаем», — решил представитель.

Вторая часть

*Если к тем, кто мыслит здраво,
Адресуешься ты, кни-,
Не грозят тебе упрे-
В том, что чепуху ты ме-;
Если же неосторож-
Дашься в руки дурале-,
То от них немало вздо-
О самой себе услы-,
Хоть они из кожи ле-,
Чтоб учеными казать-.*

Мигель Сервантес.
Пролог к «Дон Кихоту»

В апреле, когда Федор Федорович опять начал маяться и отлучился на день в Одессу по поводу закупки нового чемодана для очередной нуль-транспортировки в Зуяральск, прямо в его квартире был создан тайный консилиум из всех заинтересованных сторон, граждан и организаций.

Открыла дверь Аэлита. Кто такие?

На нее не обратили внимания, прошли, расселись на книгах и стали думать.

Надо что-то делать, надо человека спасать. Оставлять в таком виде — опасно. Жаль, человек хороший. Доверчивый. А тут всякие шляются... Из химзоны иногда уголовники бегают... Или, чего доброго, утонет в луже...

Ничто не ново под луной. План спасения Федора Федоровича всем был виден издалека. Он, этот план, лежал на поверхности, как полуживой кит, потерявший ориентацию. Дело в том, что этот город знал уже не одного такого Дон Кихота...

Был, был до Федора Федоровича прецедент в лице сумасшедшего краеведа. Всю жизнь Райцентр назывался Мамонтовкой, а переименовали его после гражданской войны по подозрению в родственных отношениях с известным генералом, которого расколошматил Буденный где-то в этих краях. Так вот, после разоблачения культа генералиссимуса, которому Буденный приходился ближайшим дружком и соратником, краевед стал писать письма во все инстанции: мол, Мамонтовка с тем диким генералом никак не связана, а несет свое честное имя из глубины веков от вымершего лохматого слона, водившегося в изобилии в этих краях. В подтверждение тому: отдельные кости, осколок бивня и даже кусок рыжей шкуры, найденные здесь в прошлом веке Пржевальским (или не Пржевальским, не в этом дело). Местная легенда также гласит, сообщал безумный краевед, что мамонтов у нас консервировали в смоле каким-то особенным способом,— а это уже научное открытие, не хуже открытия колеса. Поэтому поиски копченых мамонтов следует продолжить, найти хотя бы одного и тем самым доказать, что местное русско-украинско-еврейское население произошло не от русскоязычных кроманьонцев из пещеры во Франции, как предполагает писатель-фантаст Владлен Чердаков, а еще глубже: напрямую от неандертальцев из Мамонтовки, которые, понятно, говорили на суржике. По ходу дела наша страна утвердит свой приоритет в открытии мясокопчения, а незаслуженно переименованная Мамонтовка опять займет надлежащее место на картах земного шара.

Такие вот письма писал безумный краевед. Дошел даже до Верховного Совета. Письма, естественно, переправлялись в мамонтовский райисполком. Краеведа вызывали. Проводили беседы, говорили с ним по-хорошему. Убеждали. Спрашивали:

— А был ли мамонт?

Безумный краевед стоял на своем: Буденный, Пржевальский, неандертальцы, Владлен Чердаков...

— Мамонты где-то здесь! — стоял на своем краевед.

Пока стоял, его не трогали. Но вот краевед начал копать. Утром выходил с двумя лопатами — штыковой

и совковой — и до вечера ковырял Райцентр в разных местах. Насмешливые доброжелатели советовали ему:

— Ты мусорник копни. Там с ледникового периода — ого-го!

Кому это понравится?

Районное начальство созвало консилиум и отправило краеведа в сумасшедший дом (времена еще позволяли), где через год краевед тихо скончался с мамонтом на устах. Даже на Западе никто не узнал про безумного краеведа и не поднял там антисоветский гвалт.

В общем, опыт имелся, но кто-то должен был произнести первую фразу...

На всякий случай еще раз проверили Аэлиту. Старший лейтенант милиции строго спросил: кто такая? Что общего имеет с отставным майором? Не собирается ли зацепать эту квартиру в Доме на набережной?

— Очень нужно! — фыркнула Аэлита. — Жить в этой дыре при сахарном заводе? Кладовщицей? Пусть без меня клады ищут. Я тут временно. Лежу на дне. А вы все его мизинца не стоите!

Это она молодец, хорошо ответила!

Махнула хвостом и, чтобы не участвовать в неприличном консилиуме, ушла в клуб «Водоканализации» смотреть «Маленькую Веру».

На ее счет окончательно успокоились. Но что же все-таки делать с Федором Федоровичем?

— Надо лечить... — наконец произнес кто-то сакраментальную фразу.

Правильно! Выдать Федору Федоровичу направление в одесский психоневрологический диспансер, что на улице Свердлова, бывшей Канатной. Поступить с ним как с безумным краеведом. Великое дело — прецедент! Тут и думать нечего! Взять Федора Федоровича под белы руки и доставить на улицу Свердлова-Канатную на райисполкомовском «рафике» под видом будто бы нуль-транспортировки на Магелланово Облако. Он ничего и не поймет, зато сразу познакомится со всеми своими друзьями — и с марсианами, и с альдебаранцами.

Конечно, тут же возникли разного рода юридические сомнения насчет прав человека в правовом государстве. Нашлись и тут люди нервные и слабохарактерные.

— Сейчас другие времена, и человека в дурдом так запросто не засадишь, — сказал врач «скорой помощи» и незаметно слинял вслед за Аэлитой, потому что два билета на «Маленькую Веру» находились у него в кармане.

Даже старший лейтенант милиции резонно засомневался:

— А что, если Рэй Брэдбери возьмет да напишет запрос в ООН — куда, мол, Федор Федорович подевался? Был и нету, на письма не отвечает...

— Но, товарищи! Вы не поняли! — принялась разъяснять первый заместитель председателя райисполкома, которую все запросто называли Мамой. — Никто не собирается отправлять Федора Федоровича в сумасшедший дом. Мы повезем его в психдиспансер на обследование! Отдохнет он там две-три недельки, попьет снотворного, успокоится и вернется домой здоровым человеком. Никто его там не будет насилино задерживать, потому что у них палаты от своих сумасшедших ломятся, зачем им новые? Никаких нарушений Женевской конвенции не произойдет — я вам гарантирую. А эта его Лолита... Пусть пока живет без прописки. За квартирой присмотрит. Прописка тоже реликт и пережиток крепостного права. Более того...

Дальше Мама, к непониманию присутствующих, вдруг повела такую безумную речь, что впору было ее саму завязать в смирительную рубашку и отправить в «рафику» на улицу Свердлова-Канатную:

— Более того! Пока Федор Федорович будет отыхать, мы с вами тряхнем стариной, вспомним Тимура с его командой! Выдем на субботник и благоустроим Федору Федоровичу теплое гнездышко! Почистим тут, помоем, побелим. Я думаю, это все наши женщины на себя возьмут. Где наша англичанка Людмила Петровна? А Варвара Степановна где? И подавальщицу из «Іальни» тоже привлечь. Кухню обложим кафелем, поставим новую электроплиту, сменим сантехнику. Это на совести «Водоканализации». От военкомата: цветной телевизор нашему ветерану! Потянет военкомат? Не слышу... Двери эти замазанные сменить, но не выбрасывать, еще пригодятся. Сделать новую столярку. Паркет тоже. На это в зоне есть мастера. Холодильником обеспечит райпотребсоюз. Нужен «Минск». Так. Решили. Мебельный югославский гарнитур... В рассрочку. Первый взнос оплатит райисполком, а там я посмотрю. Что еще? Люстра, портьеры, обои... Где там два украинца и один еврей, что ждут разрешения на выезд? Пусть достают финские обои! А иначе нехай не надеются!

Оглядев слегка обалдевший консилиум, Мама усмехнулась. Неужто они в самом деле подумали, что райисполком вознамерился за просто так делать шикарные ремонты квартир отечественным Дон Кихотам? Да ни

в коем случае! К чему же весь этот сыр-бор и шурм-бурум?

Наконец Мама раскрыла карты, вытащила своего козырного тузя:

— Дело в том, что к нам едет диссидент!

Знаменитой немой сцены не последовало, Мама и не надеялась. Все сразу всё поняли. Ничем их не удивишь, даже родными, возвращающимися из-за бугра диссидентами. Разве что слегка обалдеют. Только спросили:

— Какой из них?

— Ну, тот, Кеша, который голубого Леонида Ильича нарисовал в разобранном состоянии,— пояснила Мама.

— Сюрреалистический портрет в стиле Пабло Пикассо голубого периода,— уточнила Людмила Петровна.

— Точно! — подтвердил старший лейтенант милиции. — За что и был выдворен из страны в двадцать четыре часа без права переписки. Дружок мой, Кеша...

— Знаем. Помним, как вы тут...

— Бывший дружок,— уточнил он.

— Что ему здесь нужно, твоему бывшему дружку? — недовольно спросил другой старший лейтенант, из военкомата. Этот, наверное, был недогадливый или не в курсе дела.

Мама объяснила, что Кеша-диссидент оказался «малым-не-промах» и сделал в своем Сан-Франциско блистательную карьеру художника-миллионера. Печет мировые шедевры, как наша «Ёдальня» пирожки с повидлом, хорошо себя чувствует и даже не испытывает головокружения. Вроде этого... Иосифа Бродского. Не загордился. Говорят, постригся, помолодел, даже не узнать. Но не в том дело. Написал он недавно в Верховный Совет письмо, очень беспокоится за эти самые двери...

— Чуть что, сразу в Верховный Совет... — опять выразил недовольство старший лейтенант из военкомата.

Оказывается, тут в квартире не «чуть что», а целое миллионное состояние, продолжала Мама. Хочет приехать, убедиться в сохранности дверей и забрать их с собой, потому что музей Прадо в Испании, взглянув на выставленные Кешей фотографии, собирается эти двери купить... Да, да, эти самые. С Буденным, Калининым и этой... порнографией.

— Пусть будет с эротикой,— уступила Мама. — Будут эти двери висеть в Прадо рядом с Мурильо, Гойей и Веласкесом. Не знаю, не знаю... Истуканы эти для их нравов еще туда-сюда, а вот зачем Испании Буденный? Не

знаю... Как попу гармонь. Но это не наше дело. А наше дело — не ударить в грязь лицом, отремонтировать квартиру и достойно встретить заморского земляка. Разрешение на вывоз дверей через таможню он уже получил. Пусть посетит свой прежний дом, заберет двери, походит, повспоминает, каких чертей ему тут давали, ностальгия, то-се... Может, долларов немного подкинет на нужды родного Райцента, — подмигнула Мама.

— Да-а, времена пошли! — все-таки удивился недовольный старший лейтенант из военкомата. И предложил: а не продать ли в Испанию «Моральный кодекс строителя коммунизма», созданный рукой еще молодого тогда и никому не известного Кеши, который (кодекс) вот уже двадцать лет висит в красном уголке военкомата?

Посмеялись. И вспомнили о Федоре Федоровиче:

— А его, пока диссидент Кеша будет предаваться ностальгии, — на обследование!

Так и вышло — как задумал консилиум.

После праздников Федор Федорович зарядил новый чемодан бельишком и свежими пирожками с повидлом, поцеловал Аэлиту (а та ничего не знала о готовящемся вторжении пришельцев и собиралась использовать квартиру для собственного удовольствия), заглянул в почтовый ящик, вынул поздравительную открытку из военкомата, еще раз убедился в том, что Кир Булычев, Еремей Парнов и Владимир Савченко продолжают хранить таинственное молчание, вздохнул и подался к автобусной остановке.

Там его уже поджидали «рафик», медсестра с направлением в психдиспансер и старший лейтенант милиции.

— Садитесь, Федор Федорович, подвезем! Нуль-транспортируем куда вам надобно. В Одессу? В Зауральск? Бензина полный бак — хоть на Большую Медведицу!

Все чинно, благородно...

Легковерный Федор Федорович залез в «рафик» и через час на полной скорости был доставлен в сумасшедший дом, сдан с рук на руки белым врачам, переодет в стираную синюю пижаму и помещен в палату к членистоногим инопланетянам, у которых на лице располагалось по три рта сразу — один рот для еды, второй — для питья, третий — для разговоров. Удобно!

Какая-то полная туманность Андromеды плыла в голове у Федора Федоровича. Больничную палату он принял за отсек межгалактического звездолета, а врачей — бог весть за кого. Он сел на койку и принялся рассказывать пришельцам историю жизни Головы Прот

фессора Доуэля, но те пили, ели, говорили каждый о своем и его не слушали.

Пока Федор Федорович оглядывался и вертел головой, в Доме на набережной начался субботник. (Аэлита как раз уехала с врачом со «скорой помощи» отдохнуть в Дофиновку, прихватив с собой толстовскую «Аэлиту»: «Надо что-нибудь почитать на пляже, а то с этими тральщиками все буквы забудешь — так и норовят затралить!») Собрались в девять часов утра: два столяра-уголовника, присланные из зоны для замены дверей и настила паркета, Варвара Степановна с подавальщицей из «Ідальни» (Людмилу Петровну как представителя английской интеллигентии избавили от мытья полов — «Во я им буду полы мыть!»), пришли два украинца и один еврей с финскими обоями, да еще электрик с люстрой из райпотребсоюза. Открыли двери ногтем. Потом заглянул слесарь из «Водоканализации», постоял в глубоком раздумье на пороге и нетвердо ушел, решив перенести порученную ему работу на завтра. Но завтра было воскресенье, и потому он начал менять трубы только в четверг. Пил, бедняга, пять дней подряд и задержал тем самым продвижение ремонта на кухне и в совмещенном санузле.

Командование субботником взяла на себя Варвара Степановна, потому что начальства нигде не было видно. Столяры-уголовники оказались тихими культурными людьми, сидевшими в зоне за взятки по хозяйственной части. Их было жалко. Два украинца, один еврей и примкнувший к ним электрик пошептались, скинулись, а сердобольная подавальщица, с молчаливого согласия Варвары Степановны, сбежала и вернулась с двумя бутылками сладкого спирта и с пирожками с повидлом.

Застелили газеткой пачку книг, расселись на книгах же, выпили, закусили, поговорили о том о сем: у хозяина квартиры чердак явно не в порядке, совсем зачпался, да и Кеша-диссидент был с приветом — это ж надо так двери загадить!

Помолчали.

— Ну, с Богом?.. — вопросительно сказал электрик, которому надо было работать на высоте с люстрой.

Работать никому не хотелось, даже Варваре Степановне... Денек такой теплый выдался...

Значит, солнышко бродит где-то недалеко...

— А что с этим делать? — несмело спросила подавальщица, показывая на книги.

Вот и добрались до самого главного: а книги?!

Вот вопрос вопросов: с книгами что делать? Какой там ремонт, если квартира завалена книгами! Какие там финские обои клеить, какие паркеты стелить, если из-за книг пройти нельзя! Про книги забыли, граждане! Даже предсмотриительная Мама не дала никаких указаний на этот счет.

А что скажет Варвара Степановна?

— Спалить! — вдруг хищно и решительно ответила Варвара Степановна.

Все немного опешили.

— Из-за этой фантастики человек с ума сошел! — пояснила Варвара Степановна.— Сжечь!

— Может быть, сдать в макулатуру? — робко предложили рассудительные уголовники.— Как-то оно не того...

— В макулатуру? Там дети бегают! Растищат заразу, не дай Бог, еще кто-нибудь с ума сойдет! — очень убедительно доказала Варвара Степановна.

Уголовники больше возражать не посмели — они люди подневольные. «Тут книг тысяч на пять...» — подумал один уголовник. «Умножай на десять...» — телепатировал ему второй.

Два украинца и один еврей не высказывали никакого мнения. Лучше промолчать, а то еще, чего доброго, не дадут разрешения на выезд.

Электрику было все равно, что жечь, что палить,— лишь бы не работать с люстрой на высоте. А жечь книги — не работа, а развлечение. Или что-то другое, но точно, не работа.

— Так! — раскомандовалась Варвара Степановна.— Таисия! (Это подавальщице.) Иди вниз, мы будем в окно выбрасывать, а ты раскладывай костер у мусорника. Да позови Анюту (это дворничиха), пусть бензину принесет и тебе помогает.

— Спички у меня есть,— влез электрик.

— Так, хорошо, спички есть,— одобрила Варвара Степановна. — Ага, вот огнетушитель. Ты, Вова (это электрику), спичками запалишь и будешь рядом стоять с огнетушителем, чтобы все по технике безопасности.

— Пусть еще спирта принесет,— попросил Вова-электрик.

— Таисия, принеси. Так. Открывай окно!

Два украинца и один еврей открыли окно.

Варвара Степановна подала пример: первая пачка книг полетела на улицу.

— Э, граждане! — раздался веселый голос снизу.— Эдак и убить можно!

Это вернулись из Одессы старший лейтенант милиции с медсестрой.

— Что делаем, гражданин? — спросил старший лейтенант, входя с медсестрой в квартиру. У них было хорошее настроение, потому что дело сделали.

— Книжки жжем, — ответил Вова-электрик, встряхивая огнетушитель и прислушиваясь.

— Как так? — не очень удивился старший лейтенант, закуривая. — А хозяин что скажет, когда вернется?

— А мы ему ответим, что прилетали пришельцы и увезли все книги на своей тарелке! Сгребли в тарелку и улетели! — сообразила Варвара Степановна.

Вторая пачка книг полетела в окно.

— Он поверит, — согласился старший лейтенант, перелистывая какую-то книгу. — Это что за книжка? Кто у нас в фантастике разбирается?

— Это «Заповедник гоблинов» Клиффорда Саймака, — робко подсказал один из уголовников. — Когда я работал директором вагона-ресторана — Тархунов моя фамилия, — мне иногда приносили дефицитные книжки. Клиффорд Саймак очень ценился.

— Тогда я возьму почитать сынишке. И сам почитаю, — решил старший лейтенант.

Варвара Степановна швырнула в окно третью охапку...

— Можно, мы возьмем в зону немного книг? — несмело попросил второй уголовник. — Там фантастики нету.

— Какая уж в зоне фантастика, — согласился старший лейтенант.

— Берите! Сколько утащите! — великодушно разрешила Варвара Степановна.

Уголовники оживленно принялись за дело — стали вязать книги для зоны.

— Берите и вы, — предложила Варвара Степановна двум украинцам и одному еврею.

— Нам не нужно, мы скоро уезжаем.

— Как знаете.

А книги все летели и летели... Вернее, падали с третьего этажа. Летать они не умели.

— Это что? Кто знает? Три полки в белых обложках...

— Где? — переспросил бывший директор вагона-ресторана. — Это научная фантастика издательства «Молодая гвардия». Дрянь несусветная.

— Как? Все дрянь?

— Все до единой.

— Хрен знает что... Зачем же издавать?

— В огень!

Три полки книжек в белых обложках тоже улетели в окно к мусорнику.

— Этую книгу отдайте мне! — вдруг умоляюще вскрикнула медсестра. — «Трудно быть богом» очень хорошая книжка! Я братьев Стругацких с детства люблю... Ой! Тут еще «Обитаемый остров» и «Пикник на обочине»! — воскликнула она. — Очень я их люблю!

Так были спасены медсестрой от сожжения братья Стругацкие...

Снизу поступали донесения от Таисии и Аньюты:

— Бензин принесли!

— Кидайте потише, не успеваем оттаскивать!

— А вот «Час Быка» Ивана Ефремова, — объяснял всезнающий бывший директор вагона. — «Час Быка» подвергался гонениям в годы застоя за то, что под видом утопии вскрывал крупные недостатки нашего общества. Его в огонь не следует. Мы его тоже в зону возьмем.

— Интересно... Я хотел бы почитать, — высказал желание старший лейтенант.

— Берите, их тут два экземпляра.

— Не желаете ли сто капель? — подобострастно предложил Вова-электрик старшему лейтенанту. — Субботник все же...

— Не откажусь.

— Вот гляжу я и думаю, — начал философствовать Вова, выпив с милиционером и разломив пирожок с пивидлом. — Это ж как надо сойти с ума, чтобы прочитать такую гору фантастики! Эти же книги действуют как религиозный дурман, потому что в них происходит то, чего никогда не было и не будет ни в коем разе. Я таких книг вообще не читаю. Вру, пробовал однажды. Забыл, как его... Шекли-Шмекли... О том, как чужие тела на базаре менялись разумами. Ни черта не понял! Другое дело, прочитал я недавно «Аэлиту». Стоп, вру. «Лолиту»! Вы читали «Лолиту»?

— Нет. Но слышал.

— Я вам достану почитать. Порнуха, я вам скажу! — Вова опять потряс огнетушителем. — Пустой он, что ли? Так вот, «Лолита»... Давайте еще по сто, а потом я вам перескажу содержание. Как они ее там и так, и эдак...

Выпили еще, и Вова-электрик, уведя старшего лейтенанта в кухню, чтобы женщины не краснели, со смаком принял рассказывать содержание «Лолиты».

А книги все падали и падали...

Внизу, около мусорника, уже образовалась средней величины пирамида Хеопса.

— Кухню забыли! — вспомнила Варвара Степановна. А на кухне книги!

Прогнали старшего лейтенанта с Вовой разворачаться в прихожую.

А в прихожей книги!

— Господи, куда ему столько!

— Все не выбрасывайте, оставьте немного, — попросили два украинца и один еврей.

— Зачем? Вы же уезжаете?

— Мы их разорвем и вместо газет под обои наклеим.

— Верно! Правильно! И журналы у него тут тоже с фантастикой...

— Под обои журналы!

— Варвара Степановна, не выбрасывайте Герберта Уэллса, мы его в зону возьмем. И Александра Беляева собрание сочинений давайте сюда!

— Не утащите столько!

— А мы завтра вернемся паркет стелить.

— Ребята, тут Бабеля нет? — спросил один еврей у двух украинцев. — Давно хотел почитать. Все-таки человек моей национальности.

— Так он же вроде как не фантаст.

— А что же он тут делал, в Райцентре?

— Так, приезжал. Охотился на мамонтов.

— А это что? «Полыхающая пустота» какая-то...

С дарственной надписью...

— Вот пусть и полыхает ярким огнем! Из-за нее человек с ума сошел!

— И эти двери загаженные — в окно! — в азарте закричал кто-то.

Сняли двери, собрались и двери сжечь. Подтащили к окну, начали проталкивать, но кто-то надоумил, что Буденный с Калининым — это уже политика, и двери уволокли на кухню. Политика, мало ли что... Скифских идолов и японских богов тоже пощадили, проявили терпимость к религиям разных стран и народов.

Политика — да, религия — может быть, фантастику — в огно!

К полудню на книжную египетскую пирамиду у мусорника полетели разломанные полки и стеллажи. Туда же приволокли безответный, однажды уже горевший, черно-белый телевизор. Спустились вниз, полили пирамиду бензином, Вова-электрик занял позицию с огнетушителем.

Поджигать поручили директору вагона-ресторана, но тот вдруг застращился. Увольте, граждане-начальники, но жечь книги он не имеет никакого морального права. Ему за такое дело могут еще срок накинуть.

— Дай сюда спички,— обозлилась Варвара Степановна.— Пой вас, корми... Не будет никакого срока!

Поднесла горящую спичку к знаменитому роману «451 градус по Фаренгейту»...

И подожгла.

Подожгла ровно в полдень, когда солнце взошло.

Старший лейтенант в последний раз затянулся и отщелкнул окурок в египетскую пирамиду.

Отвернись, любитель фантастики!

Впрочем, наберись мужества и смотри!

Известно, что книги прекрасный горючий материал, хорошо горят. Слов нет, Рэй Брэдбери красиво и точно описал костры из книг своим характерным американским почерком. Причем все книги горят одинаково хорошо — и плохие, и хорошие книги у мусорника, и Жюль Верн с Аристархом Кузанским, и Конан Дойл вкупе с библиотекой «Молодой гвардии». Братались Абе Кобо с Т.Упицким; корчились и превращались в золу Артур Кларк и Владлен Чердаков, М.Ведьмедев и Айзек Азимов.

Никаких трений, никакой литературной групповщины, никто не толкался, спеша к костру. Все были равны перед лицом огня!

Сгорела знаменитая двадцатипятитомная подписька «Современной фантастики» шестидесятых годов. Сгорели отдельные тома и полные собрания сочинений. Региональная фантастика превратилась в золу — ни сибирской, ни прибалтийской, ни юго-западной уже не существовало. Сгорели «новая волна» и «малеевское направление». Сгорели «Румбы фантастики». Сгорели все поколения советских фантастов: первое, второе, третье и четвертое. Все критики и литературоведы сгорели. Взорвался и окончательно сгорел черно-белый телевизор, который иногда показывал Федору Федоровичу фантастические кинофильмы. Сгорела англо-американская, польская, французская, японская — вся мировая фантастика. Все сборники издательства «Мир» сгорели, писатели всех национальностей были равны в этом костре. Лауреаты зауральских «Аэлит» — сгорели. Лауреаты американских «Хьюго» — полыхали не хуже рядовых фантастов.

Какие еще слова найти, как описать?

Сгорели известные ведьмы Урсула Ле Гuin и Ольга Ларионова, которые так и не ответили Федору Федоровичу на его поздравление с Восьмым марта... Да, женщин тоже жгли, никому не было пощады!

Научной фантастики больше не существовало!

Впрочем, как уже говорилось, кое-кому повезло, кое-кто спасся от этого аутодафе — братьев Стругацких приютила влюбленная в них по уши медсестра, Клиффорд Саймак нашел прибежище в квартире старшего лейтенанта милиции, а повязанные уголовниками Александр Беляев, Иван Ефремов и Герберт Уэллс были препровождены в зону за колючую проволоку, где через год их до дыр зачитали осужденные взяточники, домашники и рэкетиры — дай-то Бог, чтоб на пользу!

Вот и не верь в судьбу! Вот и не верь в жизнь после смерти!

Да еще чудом спаслась толстовская «Аэлита», случайно эвакуированная на пляж в «скорой помощи».

А гиперболоид инженера Гарина сгорел вместе с инженером.

Третья часть

*Не забудь, что, в квартиру-
В доме со стеклянной кры-,
Неразумно брать булыж-
И швыряться им в сосе-;
Что достойный литера-
Осмотрителен и сдер-,
И что только тот, кто пор-
Безответную бума-,
Чтобы потешать куха-,
Пишет через пень-коло-.*

Мигель Сервантес.
Пролог к «Дон Кихоту»

Федор Федорович в момент гибели книг как будто что-то почувствовал... В его звездолетный отсек как раз доставили стандартный космический обед — желтый суп с перьями, бледную рыбу с теплой слизью лапшой, кисель на клею. Его попутчики, потирая членистоножки, набросились на пищу, а Федору Федоровичу кусок лапши в горло не лез. Он подошел к иллюминатору и стал разглядывать зеленую зону межгалактического корабля, направлявшегося, как ему сказали, к туманности Андромеды. Подсвечивало солнышко, похожее на настоящее, цвели белыми свечками

искусственные каштаны, а свободные от трудовых космических вахт члены экипажа отдыхали в нумерованных синих робах на нумерованных садовых скамейках или прогуливались по дорожкам с помощью личных роботов в белых халатах. А двое в синем, обнявшись, никак не могли справиться с невесомостью — их швыряло от дорожки к ограде и обратно.

Все как на Земле.

Федор Федорович успокоился и принялся за обед. Все хорошо, вот только жаль ему было пирожков с яблочным повидлом, которые вместе с чемоданом и двубортным костюмом были сданы перед стартом в камеру хранения межгалактического звездолета.

Тем временем пожар еще не завершился — хуже того, он разгорался в непредусмотренную Варварой Степановной сторону. Неизвестно, откуда взялся в этой местности ветерок, — наверное, случайно залетел, бездельник, поглазеть на огонь. Прилетел и дунул в сторону мусорника. Тот в ответ немедленно возгорелся позапрошлогодними листьями, разломанной тарой и всяким другим хламом, который сопутствует приличному ледниковому мусорнику.

— Вова, туши, его! — замахала руками Варвара Степановна. — Гаси!

Вова-электрик стукнул огнетушителем по твердой земле, но из пустого огнетушителя ничего не пролилось. Вова дал ему по голове кулаком, но огнетушитель лишь тихо-тихо зашипел, как потревоженная гадюка.

Зато мусорник подозрительно быстро сгорел. Или огонь ушел вглубь мусорника?

Ну, сгорел так сгорел. И без огнетушителя. Что и требовалось доказать. Это был мудрый мусорник, он все глотал.

Ничто не предвещало беды — книги догорали, мусорник слегка дымился, и, казалось, уже можно было либо расходиться по домам, либо допивать третью бутылку спирта... Но не зря тревожилась душа Варвары Степановны. Сгореть-то мусорник сгорел, но внутри него что-то такое явственно забулькало.

Бульк-бульк-бульк... — как в бездействующем пока, но уже готовом к извержению вулкане.

Опять подул ветерок.

Как вдруг из мусорника клубами повалил такой черный дым, «что аж синий!», как говорила потом Варвара Степановна.

— И такой вонючий, что господи помилуй! — докладывала она авторитетной комиссии на следующий день после экологической катастрофы. — И чем дальше, тем страшнее: бульк-бульк-бульк... У меня аж сердце оборвалось! Как в смоляном кotle у чертей в пекле!

Ветерок сначала поиграл этим чертовым дымом, погонял его по Райцентру, а потом скрутил дым в черный собачий хвост и направил его прямо в морду Дома на набережной — на фасад то есть. И стал водить черным хвостом по фасаду, как маляр-художник кистью: туда-сюда...

Все, кто наблюдал пожар на бывшей набережной, разбежались, затыкая носы; остальные, наоборот, бежали на запашок со всех концов Райцентра. Их обгоняли пожарники, но вонь не позволяла приблизиться к эпицентру извержения. Подвезли противогазы. Натянув их, пожарники направили струю на мусорник, но этим только спровоцировали его подземные силы на новую подлость: мусорник тут же выдал такую черную дымовую завесу, что Дом на набережной очутился «во мгле», как сказал бы Герберт Уэллс.

— А двери?! — раздался вопль явившейся на пожар Мамы. — Двери сгорели?!

— Кому они нужны, эти двери, — успокоили ее. — Двери — на кухне.

Солнце плюнуло и скрылось в черном дыму. Какое там солнце? Зачем оно?

Наступило затмение. У пожарников от бессилия опустились шланги. Райцентр был отдан во власть подземной стихии, весь мир заволокло. Солнце напоминало черную раскаленную сковородку без ручки и жарило ровно час — именно столько времени понадобилось подземному дыму, чтобы перекрасить Дом на набережной из белого в иссиня-черный цвет и вообще все белое в Мамонтовке превратить в черное: сахар — в уголь, потолки — в асфальт, а население — в негров. Повезло лишь брюнетам. Красные (пожарные машины) и зеленые (елки) тоже не спаслись. Этот час потребовался также для того, чтобы под мусорником полностью выгорела запеченная в древней смоле туша мамонта — так определила причину черного дыма авторитетная комиссия во главе с Мамой. Наверное, ничто никогда в мире так не дымило, не воняло и не очерняло действительность, как подпортившийся консервированный мамонт из ледникового периода!

На следующий день все население Райцентра, посмот-

рев на себя, наконец-то ахнуло и удивилось, поняв причины и следствия постигшей их экологической катастрофы:

— Значит, все-таки был мамонт! Вот он где, мамонт, лежал! Под мусорником! Древняя палеонтологическая стоянка! (Правильно: «палеолитическая».) А мы и не знали! Не там копал краевед! Эх, не там!.. А ему советовали! Мог бы сам догадаться — где стоянка, там и мусорник!

А про сожженные книги — как о первопричине черного дыма, закоптившего Дом на набережной таким жирным слоем въедливой копоти, что и зубами не отодрать, — про книги не вспомнили. Ни слова. Исчезновением Федора Федоровича не заинтересовались. Жил-был — и пропал. Будто не был.

— Кто же все-таки виноват? — пыталось выяснить вернувшееся с пляжа районное начальство, разглядывая свои закопченные потолки. — Ну, люди отмоются... Ну, сахар завезем с Кубы... А с домом что делать?

Мама, отвлекая внимание от сожженной библиотеки, сваливала всю вину на неандертальцев и запоздало восхваляла безумного краеведа:

— Нет пророка в своем отечестве! Зря прежние застойные начальники упрятали нашего краеведа в желтый дом! Ох, зря! А неандертальцы хотя и славные ребята, но что-то они из глубины прошедших веков до конца не продумали. Проявили нашенскую бесхозяйственную расхлябанность — мамонта шлепнули, закоптили, палеонтологическую стоянку бросили и ушли во Францию в диссиденты... тьфу, совсем обалдела!.. в кроманьонцы!

Но Мамино начальство не очень-то Маме верило. Оно ее хорошо знало:

— Ладно, неандертальцы. Ладно, мамонты. С краеведом тоже понятно. Повесим ему мемориальную доску, если того заслужил. Все понятно. Непонятно: кто поджег мусорник? Нет ответа.

— Кто вообще у нас отвечает за мусорник? — доказывалось начальство.

Вообще — никому не известно.

— А лично кто отвечает?

Дворничиха Аньютя!

Ура, нашли стрелочника! Но что с Аньюты взять? Кожа да кости, ушипнуть не за что. Она же про мамонтов вообще ничего не знает. Это ее производственная обязанность — палить позапрошлогодние листья.

Так до книжного костра Мамино начальство и не докопалось, про Федора Федоровича не вспомнило. Зато стихийные силы ледникового периода хоть немного отомстили за сожженную библиотеку.

Федор же Федорович в это время пребывал в анабиозе. Оказалось, что Главный Штурман перепутал туманности: направил звездолет к Андромеде, а следовало — к Крабовидной. Так объяснил ему белый робот. При осуществлении маневра на сто восемьдесят градусов все обитатели межгалактического корабля должны лечь в анабиоз.

Федор Федорович лег. Он всегда был дисциплинированным человеком.

В бывшей Мамонтовке после пожара наступило смутное время. Безвременье. Население ожидало хоть каких-нибудь перемен после того, как оно посмотрело на себя и ахнуло. Раздавались трезвые голоса:

— Надо что-то менять! Нельзя дальше так жить!

Начались смути.

— Это что же получается? — возмущался Вова-электрик, забивая крюк в потолок, чтобы повесить люстру. — Значит, все-таки был мамонт?! Так в чем же дело? Есть такой город Буденновск, а мы чем хуже? Выходит, Буденновск — можно, а Мамонтовка — нельзя?!

— Пишем письмо в Верховный Совет, как запорожцы султану, — поддержал его сантехник, гремя ржавыми трубами в совмещенном санузле. — Надо что-то менять. Начнем с названия.

Два украинца и один еврей клеили обои и помалкивали по известной причине, хотя уже начинали понимать, что никуда от судьбы не уедут, а будут, как и прежде, пить водку в кустах сирени.

Опять созвали субботник и попытались отскоблить Дом на набережной своими силами, но лишь насмешили козу. Хотели перекрасить в первобытное состояние — опять же, где взять товарный состав цинковых белил, чтобы превратить копоть в белый цвет? Есть, правда, на складе две бочки ржавой охры, но это же курам на смех!

Так и стоял черный дом на мрачной набережной бывшей реки, зато ремонт в квартире Федора Федоровича продвигался успешно. Варвара Степановна с Таисией и Анютой замазывали свою вину. Обои уже наклеили, люстру повесили, входили и уходили молчаливые уголовники с топорами и рубанками. Дошла наконец очередь до

цветного телевизора, холодильника и югославского гарнитура.

Начальству давно уже не нравился этот ремонт для диссидент... Ну и что с того, что он диссидент? Может быть, Мама собирается отдать ему на откуп весь Райцентр для экспериментального художественного оформления? Голубой, розовый и фиолетовый периоды в разобранном состоянии? В стиле Сальватора Дали? Не бывать сему, пока живо начальство! У самих потолки копченые, а тут... Мама, кажется, сошла с ума на почве иностранной валюта и этих дверей. Ей надо помочь... Съесть ее! Съесть и отправить в стрелочники!

Начальство угрюмо взирало на Маму, а Мама с нарастающим волнением ожидала прибытия диссidentа Кеши. Спасти ее от зубов начальства мог только богатенький Кеша со своими художественными долларами для ремонта родного Дома на набережной. Иначе — в стрелочники! Рельсы там, шпалы, железная дорога... Маме не хотелось ремонтировать насыпь. Но как содрать с Кеши тысяч десять валюты? Отдать ему на откуп Райцентр? Это, конечно, нонсенс.

Мама вот что задумала: пришла к Аэлите и имела с ней продолжительную трехчасовую беседу. Аэлита после пожарного пикника потеряла аппетит, перестала гулять по Райцентру, лежала прямо посреди ремонта в раскладном кресле, читала спасенного Алексея Толстого. Процесс чтения проходил с трудом — буквы она еще не забыла, но из букв туго складывались слова:

«Слова — сначала только звуки, затем скользящие, как из тумана, понятия — понемногу наливались соком жизни. Теперь, когда Лось произносил имя — Аэлита, оно волновало его двойным чувством: печалью первого слова АЭ, что означало — «видимый в последний раз», и ощущением серебристого света — ЛИТА, что означало «свет звезды». Так язык нового мира тончайшей материей вливался в сознание».

Ничего не понять!

Когда кресло выбросили, улеглась на югославской софе, решив — кровь из носу! — дочитать «Аэлиту» до конца...

А это уже понятней:

«Рожать, растить существа для смерти, хоронить... Ненужное, слепое продление жизни». Так раздумывала Аэлита, и мысли были мудрыми, но тревога не проходила. Тогда она вылезла из постели, надела плетеные туфли, накинула

на голые плечи халатик и пошла в ванную, разделась, закрутила волосы узлом и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн».

Аэлита подумала, слезла с югославской софы, сунула ноги в шлепанцы и в чем мать родила пошла в совмещенный санузел, приняла ледяной душ — горячей воды в Мамонтовке отродясь не было. Потом опять улеглась на софу и продолжила чтение. А это совсем понятно:

«Ихочка... села невдалеке от Сына Неба и принялась чистить овощи. Густые ресницы ее помаргивали. По всему было видно, что — веселая девушка.

— Почему у вас на Марсии бабы какие-то синие? — сказал ей Гусев по-русски. — Дура ты, Ихочка, жизни настоящей не понимаешь».

В перерывах этого тяжкого труда Аэлита жалела Федора Федоровича, а также себя, чувствуя, что такая широкая обстановка в квартире не к добру — скоро ее отсюда выгонят.

Вот и Мама пришла... Сейчас начнется.

Но Мама, назвав Аэлиту по имени-отчеству, неожиданно спросила, не собирается ли Аэлита Алексеевна в недалеком будущем посетить Сан-Франциско? Не все же здесь на софе лежать?

Две гонимые судьбой женщины поняли друг друга с полуслова. Да и как не понять: одна — стрелочница, другая — подбитая подводная лодка. Долго не говорили — Аэлита твердо решила выйти замуж за диссidentа Кешу и разом решить все вопросы с пропиской на этой Земле, а продолжительная трехчасовая беседа свелась к просмотру цветного телевизора, где в тот вечер показывали пятьдесят восьмую и пятьдесят девятую серии «Рабыни Изанды».

Поплакали над судьбой бразильской рабыни и составили такой план: в день приезда диссidentа Кеша входит в квартиру и обнаруживает возлежащую на софе Аэлиту. На второй день он ведет Аэлиту в загс, где Мама собственоручно венчает их безо всякой трехмесячной проверки чувств. На третий день Аэлита с диссidentом забирают свои двери и уезжают в Москву, в Москву, в Москву... — а там и до Сан-Франциско рукой подать. Правда, на второй день может возникнуть небольшое осложнение: поведет ли Кеша Аэлиту в загс?

— В таком случае поступим наоборот — ты сама его поведешь, — ответила Мама.

Договорились: Аэлите — диссидент Кеша и Сан-Франциско, Маме — десять тысяч инвалютных рублей для ремонта Дома на набережной.

— Сто! — отвечала Аэлита.— Я с него для вас сто тысяч сдеру!

На том и порешили.

Аэлита отложила книгу, в который раз постирала купальник и стала каждое утро поднимать ржавые трубы, отплясывать аэробику, принимать ледяной душ, а также не обедать и не ужинать, чтобы в этот купальник влезть. Решила так: отсюда без нее диссидент Кеша не уедет. Женат он там или холост, а в Сан-Франциско Аэлита еще не была. На Марсе была, в Нижневартовске — была, а в Сан-Франциско — нет. Пусть этот диссидент хоть старый, хоть женатый, хоть горбатый, но в Сан-Франциско он ее нуль-транспортирует под руку или, на крайний случай, в двойном чемодане.

Приближалась развязка. Спешили. Вот уже из Министерства иностранных дел пришла телеграмма о том, что диссидент прибывает завтра утром в черном «форде», встречайте. Бросили уголовников на Райцентр, они подмели и облизали бывшую Мамонтовку, заасфальтировали мусорник, выкрасили все заборы двумя бочками ржавой охры — ничего, сойдет после дождя; но черный дом торчал, как обелиск на кладбище.

— Это кому у вас мемориал? — спрашивали шоферы, вывозившие с сахарного завода сахарный уголь.

Из-за этого черного обелиска районное начальство мандражировало и кидалось на Маму, как цепной пес. Начальство панически боялось обвинений в очернении действительности.

Мама храбрилась, успокаивала:

— А по-моему, ничего... Смотрится... Почему черный «форд» — можно, а черный дом — нельзя?

Перед самым приездом диссidentа начальство не выдержало и позорно удрали в Одессу на консультацию в психоневрологический диспансер, чтобы снять нервный мандраж и не принимать участия в торжественной встрече. Там в это время в каюте Командира Межгалактического Звездолета решалась судьба Федора Федоровича.

— Как его?.. Ну, этот, который... Гиперболоид инженера Гарина,— расхаживая по каюте, говорил Командир Звездолета своему Главному Штурману.— Зачем мы его держим? По-моему, пора выбрасывать в открытый космос.

Старик нормальный, на здоровье не жалуется. Не бонапартист. Тихий. Вообще, никуда не жалуется. Вестибулярный аппарат — в норме. Реакции — адекватны. Ну, есть бредовый психозик, есть, — поморщился Командир Звездолета. — Ну, с заскоками, с кем не бывает. Фантазирует. Ну, начитался фантастики. Кто не без греха?

— Он вчера сменял у соседа свои «Командирские» часы на сломанный будильник, — сообщил Главный Штурман, вращаясь в кресле. — Сосед сказал ему, что это вечный двигатель.

— Вот видишь! Синдром Дон Кихота. Все тихо, благородно. Ему еще жить да жить, а здесь сгорит в два месяца. Не вертись. В глазах мельтешит. В этой Мамонтовке все начальство с ума посходило — едут и едут. У меня вон и то руки дрожат. Так что будем делать с гиперболоидом?

— Я — «за», — отвечал Главный Штурман, грызя ногти.

— Тогда пиши. Как его?.. Гарин-Михайловский, бывший военный инженер-строитель. Практически здоров. Завтра же гони его в шею.

— «Командирские» ему вернуть?

— Э, нет! Сменял так сменял, зачем обижать соседа? Пусть впредь дураком не будет. Кто там у нас еще?

До выхода Федора Федоровича в открытый космос оставались сутки.

Днем Вова-электрик с сантехником еще устанавливали голубой унитаз для приезда диссidenta и обсуждали письмо запорожцев в Верховный Совет.

Вечером к Аэлите в последний раз пришла Мама. Они уже не могли друг без дружки жить. Уточняли последние детали, смотрели шестьдесят пятую и шестьдесят шестую серии «Рабыни». Глядя на эту плантаторскую жизнь, Аэлита расплакалась и спела Маме песенку:

Мама, мама, я пропала,
Я даю кому попало...

Мама утерла Аэлите слезы. Не боись, девочка! Мама хорошо знает диссidenta Кешу по прошлой действительности. Дурак дураком! Вечно чудит, бузит, сумасшедший, неуправляемый, зависит от собственного настроения. На этом мы его и подловим — на этой самой любви с первого взгляда.

В жизни, как всегда, получилось не так, как планировали, а намного быстрее. Ночью пришла еще одна телеграмма из МИДа: диссидент приезжает всего лишь на один день, просит ускорить формальность с дверями, принять к исполнению. Эта телеграмма ломала матrimониальные планы — за один день окрутить трудно...

— Но можно. Нужна еще одна ночь как минимум, — сокрущенно высчитывала Мама. — Ладно, попробуем. Ускоримся. Эх, где наша не пропадала!

— Везде пропадала, — опять заплакала Аэлита.

Глубокой ночью под ее окнами ошивались сантехник с Вовой-электриком и вышедший из больницы телемастер с баяном. Ален Делон был обижен на Аэлиту, а Вова с сантехником на все население Мамонтовки, которое не поддержало письмо запорожцев в Верховный Совет. Они устроили демонстрацию и пели песни — как народные, так и на слова различных поэтов. Солировал Ален Делон:

Кудри выются, кудри выются,
Кудри выются у блядей.
Почему ж они не выются
У порядочных людей?

Сантехник с электриком подхватывали:

Потому что у блядей
Деньги есть для бигудей,
А порядочные люди
Тратят деньги на блядей!

Никто не спал. Ночь прошла. Утром к Дому на набережной подкатил подержанный черный «форд» — была там одна такая асфальтовая дорога, по которой, если сухо, можно проехать. Диссидент вышел из «форда» как к себе домой. Аэлита подглядывала из-за портьеры. Увиденное ей понравилось. Сын Неба, похожий немного на Бельмондо. Вся Мамонтовка подглядывала: Кеша вернулся! Тот самый... Который Леонида Ильича... Которого никак не могли найти и выдворить, потому что он три дня отсыпался в мусорнике под открытым небом. Богема! Пятнадцать лет прошло, а как помолодел! И бороду сбрил. Что деньги с человеком делают!

Первым делом Кеша увидел черный дом.

— Мама миа! — непроизвольно вырвалось у него по-итальянски. — Вот так дизайн у вас!

— Мать моя, — с готовностью перевела Людмила Петровна, которую пригласили в свиту встречающих на тот случай, если вдруг диссидент подзабыл русский язык. — Говорит, что у нас очень красиво.

Диссидент Кеша подбежал к Дому на набережной и поковырял пальцем в фасаде.

— Бляха-муха, не отдирается! — восхитился он. — Полный абзац! Что за краска, блин? Это ж гроб с музыкой — черный дом! Это ж надо! Кто придумал? Так... Перенимаю опыт. Я в Сан-Франциско небоскреб в черный покрашу! Ну, чего вылупились, бляхи-мухи? Не шучу! Пуркуа нет? Краска как называется? Чье производство? Вроде не «сажа газовая» и не «персиковая черная». На «кость жженую» не похожа. Что за блин, спрашиваю?

Все молчали в ответ.

— У меня с русским языком что-то? — беспокоился Кеша. — Или акцент подцепил? Или меня уже не понимают на родине, едрена вошь?

Все вопросительно глядели на Людмилу Петровну.

— Нет, у вас хорошее произношение, — неуверенно похвалила она.

— Так что за краска, япона мать?

Теперь все глядели на Маму.

— «Копченая мамонтовская», — ответила Мама дрожа.

Сын Неба задумался. Все знали по горькому опыту: когда Кеша начинает думать — не к добру.

— Как там в Сан-Франциско, Кеша? — спросил старший лейтенант милиции, чтобы отвлечь диссidenta от тяжких раздумий о черной краске.

— Как тебе сказать, Витек... Трясет там, блин, сильно... Землетрясения и гульня всякая.

Диссidenta уже тащили в квартиру. Все райцентровские козы и куры смеялись, а Кеша никак не мог решить — издеваются над ним или нет?

— Вот я не понимаю... Вас же выдворили? — полуспрашивал старший лейтенант из военкомата, подталкивая диссidenta на третий этаж.

— Из Сан-Франциско, что ли? — непонимающе уставился на него диссident.

— Нет, от нас.

— Ну?

— Что?

— Чего же ты хочешь, блин?

— Чувствовали там ностальгию?

— А как же! Скукал без тебя, трахнутый комар.

В своей бывшей квартире Кеша даже не успел бросить первый взгляд на Аэлиту, возлежавшую в купальнике с книгой на софе.

— Двери где?! — пришибленно спросил он, обнаружив новые.

Его успокоили и отвели на кухню. Двери там расставили, как в музее Прадо,— входи, блин, и любуйся!

— Майн готт! — только и смог произнести диссидент, увидев Буденного, Калинина и эти штуки у скифских идолов.

— Мой бог! — перевела с немецкого Людмила Петровна.

— Кто это сделал?! Кому в морду дать?! — взревел Кеша медвежьим ревом Михаила Потаповича, который, как известно, вернувшись домой, обнаружил, что кто-то ел из его миски и все сожрал, а жену забрали к Берии на Лубянку.

Занавес опускается.

О дальнейших событиях в квартире свидетельских показаний не сохранилось. Зная Кешу, все очевидцы удрали, даже старшие лейтенанты ретировались. Правда, Мама осталась — ее от страха ноги не несли. Но, как по одной незначительной косточке опытный палеонтолог может восстановить целого мамонта, так и, наоборот, по целому мамонту можно добраться до его подробностей. Результат (мамонт) известен — через двадцать минут Мама и Аэлита вывели усмиренного Кешу из Дома на набережной и поехали в черном «форде» в мамонтовский загс. Остается применить «принцип наоборота» и восстановить события по конечному результату.

Маму от страха ноги не несли, а вот Аэлита не убежала из-за того, что эти сумасшедшие ее уже достали. Конечно, она побаивалась, как бы ей не схлопотать и от Сына Неба фингал под глазом, но смело вышла на кухню и сказала:

— Ну, я это сделала! Чего орешь, клепаный ты коз-зел?!

То ли этот «коз-зел», то ли пресловутая «любовь с первого взгляда» подействовали, — но Кеша успокоился. Аэлита, надо сказать, была в прекрасной форме, лучше чем в 1982 году. Сын Неба «глядел, умиленный и взволнованный...» Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо, чтобы остановить гибель прелести, юности, невинного дыхания, — она дышала, и прядь пепельных волос, лежавшая на щеке, поднималась и опускалась».

— А не нравится — бери тряпку и сам смывай, Мурильо хренов! — наступала прекрасная Аэлита. — И вообще

ще, ты, блин, умеешь говорить по-людски? Или буквы забыл?

Кеша отвел глаза, в которых пожаром загорелась эта самая «любовь с первого взгляда», и ни с того ни с сего спросил Маму:

— Как краска-то называется?

— «Копченая мамонтовская», — опять соврала дрожащая Мама. Сейчас, вот сейчас решалась ее судьба.

— Вас понято, — ухмыльнулся Кеша. — Тебе на оздоровление Мамонтовки сколько долларов нужно?

— Де-десять... — пролепетала Мама.

— ...тысяч, — закончил за нее Кеша. — Всем доллары нужны. Все хотят меня облапошить. А я за просто так долларами не разбрасываюсь. Я зла не помню, но не за просто так. Давай так решать: я тебе десять тысяч, ты мне — рецепт «Копченой мамонтовки». Мне небоскреб нужно красить. Идет?

— Да, — прошептала Мама.

Где краевед? Ну, где краевед?! Нужно немедленно найти еще одного мамонта!

— Но краски сейчас нету, — прошептала Мама. — Всю рас... раскрасили.

— Мне не краска нужна, а рецепт. Ты мне рецепт на стол, а я тебе — динары на бочку. — Кеша вытащил блокнот и приготовился записывать.

— Рецепт... — сказала Мама, вся дрожа. — Ох... Ах, рецепт... Записывайте. Берется один мамонт...

Кеша с любопытством посмотрел на Маму.

— Берется смола... — произнесла Мама, чуть не плача.

Кеша закрыл блокнот:

— Это я уже слышал. Мамонт коптится, вываливается в смоле и помещается в ледниковый период.

Мама заплакала.

— Дай ты ей сто тысяч, — вдруг спокойно приказала Аэлита.

— Дам, если ты выйдешь за меня замуж, — так же спокойно ответил Сын Неба.

Мама перестала плакать.

— Почему бы не выйти? Выйду, — согласилась Аэлита.

— Когда? — спросил Кеша.

— Хоть сейчас, — встягала Мама.

— Одевайся.

— Двери помыть? — спросила Аэлита.

— Не надо. Мне так больше нравится. Буденный с Калининым — новый товар, я их продам дороже.

Дальнейшее известно: по дороге в загс остановились у мамонтовского райисполкома и быстренько составили официальный договор на сто тысяч долларов о посредничестве Мамы в сделке между Кешей и музеем Прадо. Потом прокатились в загс и вернулись. Шампанского в продмаге не оказалось, а водку покупать у Варвары Степановны не рискнули,— к тому же Кеша за рулем не пьет, а им еще всю ночь гнать до границы. Зато вместо шампанского их в прихожей встречал пустой огнетушитель: по возвращении молодых он вдруг дал залп и залил всех пеной

Значит, и пустые огнетушители раз в сто лет стреляют от изумления.

Безалкогольную свадьбу праздновали втроем. Правда, Мама сбежала к Таисии и принесла бутылку сладкого спирта. Обмыли это дело, благо не за рулем, а за столом. Кричали «горько». Кеша, опьянев, отмечал, что его бывшая квартира, извините за выражение, хреново выглядит. Стилевой разнобой, блин, разных стран и народов. Провинция, старое мышление. Сразу видно — тащили, что под руку подвернулось. Чешский унитаз, финские обои и югославский гарнитур — рядом не фурычат. Не фунциклируют, извините за выражение.

Вечером смотрели шестьдесят седьмую и шестьдесят восьмую серии «Изауры» и посмеивались над сопливыми рабовладельцами. Нам бы их заботы!

Потом тащили двери вниз и привязывали к багажнику черного «форда».

Ну, поехали!

Навсегда попрощались с Мамой и, разминувшись на асфальтовой дороге с автобусом, которым Федор Федорович возвращался из межгалактического путешествия, покатили через две Европы — Восточную и Западную (Кешу везде знали, было где ночевать) в мадридский Прадо, а там через Гибралтар в Рио-де-Жанейро, где Кеша уже договорился выкрасить в черный цвет новый небоскреб Бразильской федерации футбола,— из Сан-Франциско, честно говоря, Кешу недавно выдворили за то, что... ну, это длинная, бляха-муха, история.

О Сан-Франциско Аэлита пока ничего не знала, но ведь и в Рио-де-Жанейро она еще не была! Все на Земле надо посмотреть: музей Прадо, Ламанчу, Бразильскую футбольную федерацию. Правда, сейчас ее больше волновало то,

что на таможне потребуют визу и заграничный паспорт, но, когда подъехали, Сын Неба неопределенным жестом левой руки показал на «форд», Аэлиту, двери и небрежно бросил:

— Это со мной.

И таможенники, предупрежденные МИДом насчет новой Кешиной жены, не захотели связываться с этим всемирно известным психопатом:

— Открывай ворота! Пусть катится! Дуракам везет — такую бабу оторвал!

И поддержаный «форд» гордо переехал границу, обдав грязью какого-то ехавшего к нам буржуя в шикарном «роллс-ройсе».

Четвертая часть

*Раз не столь умен твой ав-,
Как Хуан Латино слав-,
Негр, ученостью извест-,
Щеголять не смей латынь-.
Раз где тонко, там и рвет-,
Древних все не цити-,
А не то иной чита-
Разберется, в чем тут де-,
И подумает с улыб-:
«Что же ты меня моро-?»*

Мигель Сервантес.
Пролог к «Дон Кихоту»

Пожалуй, менее всех сошел с ума в этой истории именно тот, кого заперли в сумасшедший дом. Федор Федорович с утра сидел на прикрученной к полу койке (чтобы не плавала в невесомости) и председательствовал в ученой дискуссии о происхождении тунгусского метеорита, когда белый робот принес официальное сообщение о выходе Федора Федоровича в космическое пространство.

Инопланетяне принялись поздравлять его, но выход в открытый космос затянулся на целый день — то Главный Штурман еще не вернулся из разведки с летящей звезды Барнарда и некому подписать пропуск в шлюзовую камеру, то Младший Хранитель ключи потерял и некому выдать чемодан с пирожками. То, наоборот, некому принять синюю робу. То — то, то — это. То обедать пора, то ужинать. Куда же в космос, не поужинавши?

Как в дурдом — так сразу, а как выйти — надо всю жизнь ждать.

Поэтому тунгусский спор продолжался с утра до самого ужина. Говорили все разом, и остается только догадываться, какие именно фразы принадлежали Федору Федоровичу:

— По-моему, тунгусский метеорит удобнее всего искать на реке Тунгуске в Тунгусии — там, где он потерялся.

— Там уже искали и не нашли. Искать его надо в 1906 году, когда он упал.

— Когда-нибудь все равно найдут.

— Зачем обязательно — найдут? А если найдут, почему именно «обязательно»? Что они, умнее нас? География — она большая... Попробуй побегай, не зная за чем.

— Всему виной расширение континентов. Там, где раньше была Тунгуска, теперь что? Поляс смеялся! Вот и приходится искать тунгусский метеорит — где?

— Друзья мои, выслушайте меня!

— Значит, тунгусский метеорит находится в другом месте?

— А вот за такие слова повезут тебя с Черного моря в Тунгусию комаров кормить!

— Ну, ты! Пролетаешь — так пролетай и не каркай!

— Друзья мои...

— Я часовщик. Вот что говорит наука о тунгусском метеорите: летел он, понимаете, не как все нормальные метеориты, а задом наперед.

— Вверх ногами?!

— Нет. Он летел против течения времени. Из будущего в прошлое. И упал в 1906 году. Значит, в 1905 году его уже можно искать, он уже там существует.

— А если поперек оси времени? Получится, что он все время летит поперек минутных стрелок и каждый день падает в районе Тунгуски!

— Я понял! Его нужно искать когда кому в голову взбредет, в любом месте земного шара — хоть до нашей эры!

— О чем я и толковал.

— А я слышал, что он состоит из антивещества.

— Это уже пройденный этап.

— Газ взорвался, нефть пошла. Метеорит ни при чем.

— Это маленькая комета!

— Ой, я газовую плитку потушил, когда меня забирали?!

- Мура это все. Тунгусского метеорита никогда в жизни не существовало.
- Как вы сказали?
- Как сказал, так и сказал. Не было его.
- Оригинально! А очевидцы?
- Друзья мои...
- Не было очевидцев.
- Оригинально! А поваленные деревья?
- Не было деревьев. Я не видел.
- Оригинальная гипотеза! А фотографии, а научные экспедиции?
- Всего этого не было. Не было.
- А экспедиция Кулика?!!
- Кулик ходил по болоту.
- А Аристарх Кузанский?!!
- Ой, не могу!
- Оригинально. Вы ищете тунгусский метеорит, чтобы доказать, что его не было.
- Я его не ищу. Что вы заладили — оригинально, ор-оригинально.
- А что вы все — небылонебылонебылонебылонебылонебыло...
- Друзья мои, перестаньте ссориться! — в который раз призывал Федор Федорович.

И так до самого ужина.

Наконец все было при нем: справка в космическое пространство, двубортный костюм, чемодан и сломанный вечный двигатель. Федор Федорович раздал своим членистоногим друзьям окаменевшие пирожки с повидлом и пожелал им счастливого пути и мягкой посадки в Крабовидной туманности.

Он спешил домой, но вернулся слишком уж поздним вечером, когда у Дома на набережной еще не рассеялись запах духов «Ночная магия» и дымок от черного «форда». Федор Федорович насторожился, но не поверил запахам. Во тьме на ощупь поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру... Потом постучал, но стука не услышал. Зажег спичку. Дверь почему-то превратилась в черный дерматиновый пуфик, обитый серебристыми гвоздиками, — при желании эту дверь можно было сравнить со звездной панорамой в планетарии. Но Федор Федорович испугался. Он пнул эту стпанную дверь ногой, хотел открыть ключом — замок тоже сменили.

Все изменилось, хотя номер квартиры остался прежним.

Федор Федорович разогнался, вышиб плечом звездную дверь и ворвался в квартиру.

Это была его и не его квартира. Он не мог сообразить, что здесь изменилось. Шлепанцы в прихожей были его, и огнетушитель — тоже, но все остальное изменилось. В комнате на крюке висела граненая, как стакан, люстра. Стол стоял, полированный. Вместо книжных стеллажей какие-то полированные и стеклянные то ли шкафы, то ли буфеты, в которых многократно отражался Федор Федорович. Скользкий пол какой-то...

Вошел на кухню — там черт знает что. Вся в белом кафеле, как мужской туалет в психдиспансере. Опять кто-то плиту притащил.

Заглянул в совмещенный санузел — знакомый рыжий таракан бежал по голубому унитазу.

Он на коньках подъехал к окну и выглянул. На улице тоже что-то не так. Луна, думая, что ее не видят, нюхала духи «Ночная магия». Вечный мусорник куда-то исчез.

Все, все изменилось!

«Книги!» — вспомнил Федор Федорович.

Книги он обнаружил в югославском буфете — целую полку блистающих макулатурных книг, которые Мама с Людмилой Петровной рекомендовали ему читать взамен сожженных. Федор Федорович с жадностью стал разглядывать корешки. Тут были «Анжелика», «Проклятые короли» и прочие пирожки с повидлом.

Федор Федорович беспомощно заскользил по паркету.

Ага, вот, кроме шлепанцев, еще что-то знакомое!.. Все-таки это его квартира!

Он схватил лежавшую на софе «Аэлиту».

«Дорогому папочке,— прочитал он,— от любящей до-ченьки. Вышла замуж за Сына Неба. Не обижайся. Ждем тебя в Сан-Франциско. Кеша пришлет вызов. Твоя Аэлита».

Федор Федорович постоял, подумал и пробормотал:
— А я остаюся с тобою... Не нужен мне берег турецкий...

Кажется, он по-настоящему начал сходить с ума. Всю ночь он ходил по паркету и пел эту старинную песенку: «А я остаюся с тобою, родная навек сторона...» Иногда замолкал, останавливался, открывал наудачу «Аэлиту» и вслух прочитывал несколько фраз.

«Вот отчего текли слезы по морщинистым щекам Ло-

ся,— читал Федор Федорович.— Птица пела о той, что осталась за звездами, и о седом, морщинистом, старом мечтателе, облетевшем небеса».

От этого чтения, песни и топота везде проснулось районное начальство. Свет оно не включало и заходить в квартиру боялось. Так всю ночь и слушало: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна...»

Утром Федор Федорович под дождем без пиджака и без зонтика отправился в продмаг. Поковырял пальцем черный фасад Дома на набережной. Специально пересек асфальтированный мусорник и топнул по нему ногой. Там, под асфальтом, что-то булькнуло.

Федор Федорович утвердился в своем намерении. В продмаге он попросил продать черную бельевую веревку. Варвара Степановна испугалась и ответила, что у нее в продмаге никакой веревки нету, вот вам крест, Федор Федорович. Выпейте водочки, вы насквозь промокли.

Но Федор Федорович и в лучшие времена не пил, разве что бутылку на четверых в кустах сирени. Он отправился в облупленный пустой универмаг, но Варвара Степановна успела предупредить:

— Черную веревку не продавать! Никакую!

К его приходу все веревки попрятали, универмаг вообще опустел. Но Федор Федорович и тут не настаивал и жалобных книг не требовал. Вообще, не собирался превращаться из Дон Кихота в Бонапарта, чтобы мстить за поруганные книги и крушить районное начальство. Он просто ходил по пустому универмагу и приглядывался к галстукам. Ему понравились самые длинные, цвета хаки. Примерил к шее, купил три штуки и вернулся домой. Звездная дверь в потусторонний мир оставалась открытой, но в нее никто носа не сунул.

Федор Федорович связал два галстука морским узлом и опять примерил. Третий галстук не понадобился. Он залез грязными ботинками на полированный стол и принял снимать люстру. Потолок был невысок, удобно. Аккуратно отсоединил провода, снял люстру, повис на крюке. Крюк держал мертвое — Вова-электрик, наверное, впервые в жизни не схалтурил.

Все правильно. В самом деле, что оставалось делать Федору Федоровичу? Превращаться в Бонапарта, уезжать в Сан-Франциско или идти начальником штаба гражданской обороны сахарного завода?

Все правильно.

Федор Федорович начал вязать петлю, хотя мешал узел на галстуках. Но узел — не беда.

«Кажется, все», — подумал Федор Федорович.

Он взгромоздился на стол и привязал галстуки к крюку — тоже морским узлом.

Да, забыл, нужно написать предсмертное послание Дон Кихота скифским запорожцам и сказать им все, что он о них думает.

Для этого дела нужны карандаш и бумага, соображал Федор Федорович, но как их найти в этом потустороннем мире?

Пока Федор Федорович искал карандаш, на подоконнике трагически зазвонил испорченный вечный двигатель. Как он туда попал? Возможно, Федор Федорович поставил его туда? Может быть. Реальной представляется другая версия — будильник сам очутился на подоконнике. Все простые вещи любили Федора Федоровича — и огнетушитель любил, и погибший в костре черно-белый телевизор любил, и выброшенное на свалку самораскладное кресло любило, а теперь вот испорченный вечный двигатель, заbrавшись на подоконник, вопил благим матом и мешал умирать Федору Федоровичу. (А карандаш попросту спрятался на софе под Аэлитиной подушкой и тянул время, чтобы Федор Федорович одумался.)

Федор Федорович не собирался бить будильник по голове. Он ожидал, когда тот охрипнет и замолчит. Но испорченный будильник завелся и не хотел останавливаться: вопил, и вопил, и вопил. Нельзя же, в самом деле, вешаться под этот вечный звон в ушах.

Федор Федорович подошел к окну и, как собаку, погладил испорченный будильник по голове. Тот захлебнулся, закашлялся.

«Дождь вроде затих...» — глянул в окно Федор Федорович. И еще он увидел в окне: на новую асфальтированную площадку, которая потихоньку опять превращалась в мусорник, въезжал огромный грязный автомобиль.

«Роллс-ройс», — подумал Федор Федорович, успокаивая будильник.

Из грязного «роллс-ройса» выбрался невысокий, толстоватый, буржуазного вида пожилой человек с тяжелой тростью. Его встречала целая свита из районного начальства. Мама раскрыла над этим буржуем черный зонт. Людмила Петровна переводила, начальство внимало, а к подъезду Федора Федоровича мчалась по лужам толсто-

пятая Варвара Степановна с телеграммой из Министерства иностранных дел.

— Мистер Герберт Уэллс спрашивает... — переводила Людмила Петровна, — какого черта вы тут делаете во мгле семьдесят пять лет?

— Переведите, что мы ему покажем сахарный завод, — отвечало начальство.

Варвара Степановна вбежала в квартиру и отчаянно закричала:

— Федор Федорович! К вам Герберт Уэллс приехали!

Виталий Бабенко

МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Как-то вечером Игоряша вернулся домой с работы не заблудившись и, тыча ключом в замочную скважину, вдруг понял, что замка в двери нет. Ни дырки, ни пробоя, ни наспех замазанной деревянной пробки — гладкая филенка, и все. Может быть, ошибка? Может, Игоряша попал не туда? Дудки. Номер дома, подъезд, этаж — все соответствовало. Тем более номер квартиры...

«Прфр-р-р-у-у» — тонкий свист у Игоряши не получился. Как раз номер квартиры и отсутствовал. А на месте пластмассовой пластинки с трехзначным числом казенного начертания была привинчена штучная бронзовая табличка.

Сердце Игоряши затрепыхалось, подпрыгнуло и громко екнуло. На табличке красовалась филигрань:

«Музей — мемориальная квартира Игоряши И. Эпоха реставрации социализма. 1989—2029 гг. Охраняется Съездом народных депутатов».

Сказать, что Игоряша окаменел, — значит не сказать ничего. Он высох, полинял, пошел лишаями и струпьями, пустил корни и ветки, зазеленел и тут же пожух. Мысли его просыпались и заскакали, сталкиваясь, как из прорехи гнилого мешка — горох.

«Это какого же ханя, братцы, а? Я что, помер уже?.. А замок?! Может, сплю? Ну, воще... Етушки-нетушки, а год-то?! Двадцать девятый... Стало быть, помер! И враз тебе — музей... Но за что, рупь твою двадцать?! Съезд депутатов — мама родная! — охраняет... Жить-то теперь где?.. Новую площадь депутаты разве дадут? Хрен! Я ж помер, так их и не так, и не туда, в три перебора под ребро!!!»

Утробно рыдая и шепча нежности, какие не слыхивала ни одна мать, бухнул Игоряша всем телом в музейную дверь и — влетел в прихожую. Повалил стойку для шляп. На пол шлепнулся. Галстук порвал о гвоздь, в паркет вбитый. Дверь-то оказалась не запертой...

А между прочим, смертный туман обиды, застлавший глаза, помешал Игоряше разобрать нижнюю строку

на табличке: «Вход свободный» значилось там мелким шрифтом. Это Игоряша потом прочитает. И, прочитав, обалдеет.

Пол шатало. Игоряша мысленно сгруппировался, ноги расставил, уперся руками и выпрямился-таки. Обвел темным взором помещение. Все как и раньше, но — атмосфера, но — вибрации воздушные, но — фибры невесомые, аромат неуловимый. Музей он музей и есть. Веяло чем-то нежилым, каменным, горелым. Суконкой вощеной пахло, перьевкой метелкой для пыли, перекалившимся утюгом, лежалым в углах мусором, притаившимся клопом за обоями. Станный запах с кухни доносился — знакомый, но неузнаваемый пока. Еще пахло временем. Пространством замкнутым. И... самим Игоряшем. Этому обстоятельству живой-неживой-полуживой Игоряша очень обрадовался и даже ощущил пробуждение гордости: его собственный дух царил, хозяйский запах — пенистый, текучий, с парком. Значит, правильно: ЕГО музей.

От тени под дальней стенкой отделилась старушка в гороховом до пят форменном платье и мышиной косынке, с нарукавной повязкой, на которой по трафарету было написано «караул».

— Не дело, гражданин, не дело, — стучала желтыми зубами, заскрипела старушка негодующе. — Не домой вваливаетесь, а в музей входите, в святилище муз, да. Вот вешалку повалили, на паркете натоптали, гвоздь галстуком зацепили. Дурно. А ведь этот гвоздь самолично товарищ Игорь вбивали, не зря трудились, надо полагать. Зачем же интерьер портить? Раз заглянули к нам, так ведите себя соответственно. Кепку вот сюда повесьте, сапоги там поставьте — пфуй, кель одёр! — тапочки наденьте. Вот теперь вы наш гость. Здравия желаю!

В дверь квартиры постучали снаружи. «Отставить!» — заорала престарелая караульщица что было мочи. И тут же, снизив голос, пояснила Игоряше:

— Вы у нас впервые, потому не знаете. А правило такое: зараз по одному посетителю. Для спокойствия, удобства и деликатности.

Игоряша и слова сказать не успел, не возразил — «да это же я, Игоряша, хозяин сего дома, и музей этот мой!» — как караульная старушка цепко схватила его за рукав и увлекла в комнату.

Какое счастье! Ничего не изменилось в квартире. Бережно отнеслись устроители музея к наследию владельца, пальцем не тронули обстановку, лишь ярлыки повесили,

инвентарные номера прибили, да кое-что — особо ценное — под стеклянные колпаки упратали.

Вот машинка стоит — для комканья бумаги. Занятный приборчик, в детстве еще Игоряшой задуманный и три года назад воплощенный в реальность. Долгими скучными вечерами любил Игоряша — отослав жену из дома на поиски этилированного бензина в заброшенных бензоколонках, — следить, как работает машинка. Как, орудуя железными кулачками; мнет и комкает она бумагу, давит ее хитроумным пуансоном и снова мнет: газеты ли, журналы ли, книги ли в тонкой обложке периода реконструкции — все равно. И вот хитрость какая: подсунь ей бумагу потолще, эпохи реставрации, или картон там — затрясется, заворчит, закашляет... Тут ее спасать надо — совать что потоньше да постарее. Машина прижмет журнальчик стальным, забранным гладким тефлоном, коленцем и опять тузит, дубасит, колотит кулачками. Глядишь, бумага в труху и превращается. А потом эту труху машина кварцевыми зубами пожирает. Жаль вот — старинный пергамент не под силу ей. Не может сладить — и все тут. Игоряша и прижимные винты подкручивал, и резьбу на заводном ключе менял, и главную пружину поставил новую, титановую — все напрасно. Так и осталась машинка только лишь для бумаги. И то хорошо! Теперь приборчик — под колпаком, выносная кнопка «пуск» — на отдельном, красного дерева, пульте. А рядом стопки газет, пачки журналов, полки с книгами. Любому посетителю — просто рай: заложил печатную продукцию в пластмассовый бункер, включил машинку — и смотри, любуйся. Мечта!

Вот письменный стол Игоряши. В красном углу стоит, весь обит плющеным алюминием. Ах, как приятно было Игоряше засыпать над хорошей книгой, положив гулкую головушку на столешницу. Но сейчас к столу не подойдешь — огорожен бархатным витым шнуром, подвешенным на бронзовых столбиках. Обидно! Живо вспомнились Игоряше мучительные часы, когда он соображал, чем бы украсить ореховый стол, какой бы дизайн подобрать, чтобы мебель была и не хуже, чем у других, и гораздо лучшие! И придумал. Три ночи подряд плющил молотком пустые аэрозольные баллончики из-под «Дихлофоса» — целая куча «пшикалок» скопилась под раковиной. Вращал при этом красными помутневшими глазами, зубасто огрызался на бранные крики и неприличные стуки верхних и нижних соседей... А потом в одночасье и прибил все «блины» к тумбам стола дюймовыми гвоздями. Тесно прибил, один

к одному, так что и дверцы перестали открываться. Лишь столешницу Игоряша оставил нетронутой — чтобы не порвать щеки во время сна. Зато вышло загляденье — лучше, чем в кино. Друзья по книжной части приходили — волновались удивленно: «Как же ты, Игоряша, сподобился на такое? Кто надоумил? Чай, трудно было? Работы ведь не на час, не на два...» Скромничал Игоряша: «Пустяки! Главное, хуля-нда,— чтобы мысль пузырилась. А руки мои золотые — всегда при мне. Ну!»

Игоряша — действительно мастеровой мужик. Чего-нибудь изобрести, молотком помахать, прибить там или, напротив, раздолбать — для него пустяк. Удовольствие даже. Например, дыру в стене, что на кухню ведет,— одной только монтировкой проделал. Дыра — для того, чтобы наблюдать иногда, чем там жена на кухне занимается. Может, читает письмо, может, кроит чего-нибудь из брезента, а может, купается в детской ванночке. Однако дыра — она штука о двух концах, через нее можно и в комнату из кухни подглядывать. Посему ввинтил Игоряша в отверстие могучий «глазок» специального заказа — двадцати сантиметров в диаметре.

Вот и сейчас Игоряша-экскурсант подошел к «глазку».

— О! — изумился.— Молодцы караульщики, до этого даже я не додумался.

Оказывается, музейные работники умудрились забрать «глазок» морским иллюминатором со шторкой. Шторка — для порядка. И надпись рядом привинчена: «Руками не трогать. За просмотр — 20 пфеннигов».

— Правильно! — одобрил Игоряша.— Нехря, чтобы каждый свое мурло в иллюминатор задарма совал. Справедливо!

Ба, а ведь на столе любимый Игоряшин стакан стоит! Хорошо стоит, аккуратно, на газетке. Стакан хоть и граненый, за семь доинволовационных копеек, из газированного автомата, но не простой — с философским смыслом. К нему сбоку часы «Слава» намертво приkleены эпоксидкой. Раз, однажды, истово задумался Игоряша над глубокой пословицей «Делу — время, потехе — час». Целый день тревожно раскидывал умом, что сие выражение конкретно обозначает. Догадался-таки! Вынул из кармана часы без ремешка, подаренные когда-то батей к тридцатилетию, развел в должной пропорции эпоксидку и присобачил «Славу» к бессменному стакану навечно — трактором не отдерешь. Бывало, отопьет Игоряша из стакана; тут же дольет, приблизит к уху и слушает, слушает. Тикают!

Прямо дух захватывает: не рвется, ел-дря, связь времен. Ныне рядом с часовым стаканом — табличка: «Не для питья». Оскорбился Игоряша: «А для чего же?» Потянулся через витой шнур, схватил потной рукой стакан, а тот — ни с места: на болт посажен. Экспонат...

— Гражданин, гражданин, вы что это? — засуетилась гороховая старушка, дотоле молчавшая. — Руками не полагается. Музей у нас, а не домовая кухня. Вдругорядь выведу.

Вздрогнул Игоряша, руки боязливо убрал и принял далее бывшую квартиру осматривать.

У стола — личное Игоряшино кресло стоит, врачающееся, на винте да о четырех ножках под сиденьем. Хочешь — вертись, а хочешь — винт до отказа скрути и ставь для устойчивости кресло на ноги. Даже если свесишься неловко во время чтения — на пол не грянешься.

Под потолком висит тысячеваттная лампа в проволочной сетке. Включишь ее — так светло становится, что можно читать даже без книг.

Под зеркалом — кушетка. В ногах — кусок фанеры проволокой примотан. Это чтобы, когда читаешь лежа, не драть обивку сапогами или, скажем, выходными туфлями, не пачкать носками.

У изголовья кушетки, покрытой газетами в три слоя, — телевизор. Цветной, неброский, но работает, когда включен. На экран накинут эмалированный тазик. Конструкция простая: сверху тазик на шарнире, внизу — петельки, замок висит. Ключ всегда у Игоряши в кармане. Нужно кому передачу посмотреть — проси ключ у хозяина, а так нечего кинескоп жечь. В центре тазика эмаль немножко сбита. Было дело: в отсутствие Игоряши жена вознамерилась таз дрелью просверлить. Мол, фильм больно хороший показывали — о старой жизни. К счастью, Игоряша вовремя домой вернулся. Сразу все понял, жене платье порвал и дрелью по голове. Но не убил. Ишь, умелица! Была бы еще литературная передача — может, и пальцем не тронул бы. А тут — кино...

Внезапно Игоряша вспомнил о важном и завертел головой. Где же Федосей-то? Где животное? Не умоприли ли музейщики? Но нет. Обнаружилась в углу клетка, а в ней Федосей. Немного разжирел даже, и вид по-прежнему боевой. Игоряша умилился. Надо ведь, не забыли скотину: и кормят, видать, неплохо, и клеткой обезопасили.

Федосей — это книгоед, друг и любимец Игоряши. Раньше он жил в шкафу. Поначалу был книгоед как книгоед — обыкновенная книжная вошь. Но Игоряша его приметил, и оба друг другу понравились. Интересы у них совпали. А уж как кормил его Игоряша! На первых порах — собирал палые листья и в труху перетирал на своей машинке, тем и потчевал насекомое. Потом газеты в лапшу резал. Затем пришел черед тонких брошюрок и дешевых книжек ранней оттепели. Дело в том, что книгоед поначалу не всякую бумагу потреблял. Типографская бумага номер два времен застоя или книжно-журнальная отечественная пореформенная шли хорошо. А вот офсетная бумага типа «Апрель» номера один и два или тем более картографическая усваивались с трудом. Федосей даже болел от несварения пищи.

Словом, в конце концов вымахало животное размером с люстру, разлапистое такое, глазищи — во! Хозяину ве-рен, а с гостями — зол. Никакой сторожевой собаки не надо. Игоряша, когда в настроении, порой гладил Федосея палочкой на расстоянии и вел с ним разнообразные беседы на общемировые темы. Книгоед пока до интеллекта не дорос, это дело будущего, но часто очень впопад перебирал толстыми, с карандаш, усами, шлепал жвалами и пускал едкую коричневую слюну — будто все понимает и ответить хочет. Игоряша холодел и радовался.

Сейчас, правда, Федосей что-то притих. Лишь глазищи в темном углу сверкают. То ли сытый, то ли клетка не нравится — сразу не разберешь...

А вот над книгоедом — на стене — нечто новое. Поясной портрет Игоряши. 1000 мм × 500 мм, масло, художник неизвестен, XXI в. Написано очень похоже. Игоряша — как живой: в кепке, при галстуке, рубашка чистая, немятая, в одной руке — кованый гвоздь с нанизанной на него книжкой (название неразборчиво), в другой — цепочка. Чем оканчивается цепочка — непонятно, но каждому ясно: это книгоедский поводок. Игоряша любил иногда Федосея на прогулку выводить. Прохожие седели.

Правее картины на стене — в рамочке, под стеклом — Письмо Игоряши. Причем не факсимиле какое-нибудь, а самый подлинный оригинал. То история давняя.

Лет пять назад Игоряша написал своему другу, генерал-доценту филармонии Карбованцеву Петро Армавировичу, текстовику и словеснику, письмо с вопросами о существе мироздания и вообще о жизни как таковой, в том

смысле, как ее следует понимать в утренние и вечерние часы. Однако письмо скоро вернулось — по причине плохого почерка на конверте. Игоряша тогда очень обиделся на почту: ведь генерал-доцент жил всего-навсего двумя этажами выше. Плюнул Игоряша, закаялся письма писать, а это, вернувшееся в штемпелях как отечественных, так и заграничных, куда-то закинул, после чего поднялся наверх сам, и пошли они с Карбованцевым книжки читать.

С тех пор Игоряша нервным стал: как хотя бы почтовую марку увидит — его сразу же трясти начинает. А сколько он своей машинке открыток скормил — простых и поздравительных — не счесть.

И надо же, какой дотошный народ эти музейные работники! Не поленились — раскопали Письмо, в рамку вставили, на стенке вывесили. Но — и такта им не занимать: вскрывать не стали.

Наконец взгляд Игоряши остановился на полках с книгами. Что скрывать, это главный предмет обстановки в жилище современного цивилизованного человека. У Игоряши было штук пятнадцать полок с заветными изданиями, которые ему и в душном сне не приснилось бы спускать в пластмассовый бункер машинки.

Старушка-караульщица уловила направление взора посетителя и кинулась пойснять:

— Это гордость нашей коллекции, золотой фонд. Товарищ Игорь И. был заядлым книжочеем. Все книги без исключения — подарки друзей и знакомых. В своих гуманитарно-деловых кругах товарищ Игорь И. занимал очень видное положение. Люди его ценили, прямо на улице ловили и в благодарность, впрок, делали подношения — кто что: кто — майку, например, кто — свисток, кто — палочку дрожжей или пачку газет, а иные — книги. Товарищ Игорь И. все вежливо принимал, снимая кепку, а Федосея при этом придерживал. Вот и собралась вполне приличная библиотека. Книги хозяин дома всегда читал и делал пометки. Возьмем, для примера, любую. Вот эту хотя бы — «Громокипящая духота (дело о гуманисте-шпионе)», сочинение К. Надеждина. Казалось бы, исторический детектив — и только-то, но и здесь товарищ Игорь И. находил для себя много полезного. Смотрите — многие строчки подчеркнуты, абзацы выделены, на полях — галочки, восклицания, вопросы, междометия. Все это указывает на внимательное отношение нашего героя к чтению, на его общественное лицо и мировоззренческую позицию. Или вот

рядом — брошюра «Казань кровавая (исторические факты)»...

Но Игоряша уже не слушал пояснений к собственному общественному лицу. Он внутренне смеялся неприятным смехом и уходил в воспоминания. Любовь к книгам родилась в нем в ту ночь, когда он впервые попал в гости к своему будущему другу и духовному наставнику генерал-доценту Карбованцеву, перепутав этаж и дверь.

Игоряшу нельзя назвать полностью здоровым человеком. По ночам у него часто бывало плохо с глазами и слухом. Иногда — с речью. Вот и сейчас он с трудом вглядывался в расплывающуюся фигуру, что появилась в дверном проеме его, Игоряшиной, как казалось, квартиры. Если бы Игоряша сумел сконцентрировать зрение, то обнаружил бы перед собой бывалого низенького мужчину в майке и шароварах, густо заросшего черным волосом, с бородой утюгом. Что-то такое совершенно бессмысленное бубнил мужчина, но то была лишь временная аберрация Игоряшного слуха, на самом же деле толстяк говорил восторженно и радушно:

— Здравствуйте, здравствуйте, милости прошу, соседушка. Сочту за честь принять. Много раз видел вас во дворе, но все не решался подойти и заговорить запросто: видно сразу, вы человек занятой и погруженный в мысли. А тут сами пожаловали. Я к вашим услугам. Карбованцев моя фамилия, Петро Армавирович, текстовик.

Непривычный прием поразил Игоряшу. Он понял, что его не будут ущемлять дверью, и открыл было рот, чтобы выразить нечто приличествующее, но генерал-доцент филармонии только замахал короткими ручками:

— Нет, нет, никаких отговорок. И извинений не принимаю. Дело житейское. Всегда рад знакомиться с интересными людьми. Поздний час? Какой же он поздний? Еще и трех-то, поди, нет. Самое время для нас, ученых, мыслить. Вот я тут размышлял над нашим, национальным, аспектом проблемы пространства-времени в морально-потребительском смысле. Я имею в виду кристальную честность великороссов и исконную страсть к воровству, отличающую инородцев. Какова ваша точка зрения на сей предмет?

— Кляйн-бляйн! — сказал Игоряша.

И они вместе вошли в кабинет.

— Так что вы сказали? — переспросил словесник.— Ага... Впрочем, ясно. О делах — потом. Располагайтесь в

креслах. Включайте псалмы или гимны, если хотите. Читайте «Четыни-Минеи», пойте, думайте, разувайтесь, мечтайте, молитесь, словом, чувствуйте себя как дома. А я сейчас вас кое-чем угощу, сейчас мы с вами кое-что почитаем.

Игоряша разуваться, тем более молиться не стал, а, помечтав, повалился в кресло.

Добрейший Карбованцев звенел на кухне стеклом, шелестел бумагой, хлопал дверцей холодильника, топтался и кричал через коридор:

— Кстати, соседушка, ваше имя-отчество? Что-то позабыл я. И еще: что вы думаете о нашей, национальной, гибридизации мужского и женского полов человеческих особей русского типа на основе вегетативного размножения? Да, вам известно, что старые славянские книги лучше всего сохраняются в холодильнике? А?

Ни на первый, ни на второй, ни на третий вопросы генерал-доцент ответов не получил. Когда он торжественно вошел в кабинет с подносом, на котором красовались заиндевевшая инкунабула и витиеватый нож для разрезания бумаги, Игоряша уже спал, разметав ноги по стене.

Наутро Игоряша встал поздно и долгое время мрачно, с подозрительностью оглядывался. Голова была тусклой, как доинволюционный гривенник. Справа и слева угрожающе возвышались стеллажи с книгами. К единственному лацкану Игоряшиного пиджака английской булавкой были пришпилены ключ и записка.

«Дорогой соседушка! — писал генерал-доцент Карбованцев. — Извините, что убежал не по-хозяйски: не угостил Вас завтраком и не поднес утреннюю газету. Дела: неизменно должен быть на Булгаринских чтениях. Отдыхайте, набирайтесь сил. Читайте: библиотека в Вашем распоряжении. Не забудьте о проблемах, над которыми мы с Вами бились вчера вечером. Я буду к ночи. Если к тому времени Вы захотите уйти, дверь закройте, а ключ сломайте и выбросьте в мусоропровод: у меня их много.

С филармоническим приветом — Петро».

Игоряша долго перечитывал записку, затем пошел к холодильнику, вернулся, сопя, и хотел было снова прилечь, да передумал. Взгляд его бестолково бродил по стеллажам. Никогда еще в жизни Игоряша не видел столько книг в одном месте. И названия-то больше всего странные: «Астрология: люди, события, факты», «Лечение южной волости с помощью направленного канцерогенного процес-

са», «Аракчеев в воспоминаниях современников», «К вопросу об исторической прародине первоариев», «Губернии и волости Этрурии», «Пролегомены к Влесовой книге» и прочее, и прочее... Игоряша протянул руку, наугад выхватил книгу (это оказалась «Перепись крестьян мужского пола Тульской губернии на предмет перевода их в дворянское сословие (проект), 1859 год») и раскрыл ее. Батюшки! Уж если кто и умел читать книги внимательно, так это Петро Армавирович Карбованцев. Многие строчки и некоторые слова были подчеркнуты (а иногда — вычеркнуты) красным, черным и синим фломастерами, абзацы — отчеркнуты, на полях рябили бесчисленные замечания, вопросительные и восклицательные знаки, скобки, стрелки и пометы об исправленных опечатках. Словесник питал особую неприязнь к иностранным заимствованиям и везде, где только мог, заменял греческие и латинские слова на коренные, народные. Страницы книги поэтому рябили в глазах.

Игоряша даже мелко затрясся от изумления. Вот что значит — Читатель с большой буквы! Ай да Петро! Ай да Армавирович! Схватил Игоряша «Перепись» в охапку, выметнулся на лестничную клетку, дверь запер, ключ в замке обломал (чтобы зря в мусоропровод не выкидывать) и помчался к себе — читать. А «Перепись» должна была служить образцом.

Все хорошо, да вот беда: книг в ту пору в доме Игоряши было маловато. Точнее, совсем мало. Одна «Красная книга о вкусной и здоровой пище» — стародавний тещин подарок. Взял ее Игоряша бережно, раскрыл на первом попавшемся месте, сел за стол и давай читать. Здесь подчеркнет: «Свежекупленную колбасу нарезать кружочками, выковырять сало, растопить; кружочки отжать, хорошенько вымесить и обжарить...» Там жирно обведет: «Хрустящий картофель провернуть через мясорубку, смешать с толченым горохом, добавить разваренные хрящи, разделать на шарики, каждый завернуть в распаренный крапивный лист, обвязать ниткой и варить...» А на соседней странице — поставит восклицание: «Воду из-под крана разбавить и пить мелкими глотками...» (!).

И на полях развернулся Игоряша. То «Sic!» поставит, сверяя написание по «Переписи», то «Nota bene», то «Ibid» или «Ergo». Местами он веселился: начертает «Sic bene» или «Nota item» и сидит хохочет, размышляя одновременно, что же это такое у него получилось. А уж галочек, вопросов, скобок, разных там «О!» «Эх!», «Ага!», «То-то

же!», «У-лю-лю!», «Не верю!», «Чушь!», «Гады!», «Суки!», «Говно!» и прочего — появилось на полях видимо-невидимо. Ей-богу, хорошим учеником оказался Игоряша, враз переплюнул учителя своего, генерал-доцента Карбованцева.

Пришла жена с работы. Раскрыла «Красную книгу», сомлела. Потом понесла в макулатуру сдавать, чтобы получить хотя бы талон на роман плодовитого атлантического писателя В. И. Сущевского «Далекая кариатида». Не приняли книгу макулатурные жулики, сказали: грязная, мол. И молодцы, правильно сделали. Потерялась бы «Вкусная и здоровая пища» в мусоре истории, а так — целехонька, на золотой полке в музее стоит, за стеклом. А рядом — сотни других книг, появившихся с тех пор; все — прочитаны Игоряшой.

Музей... Игоряша очнулся от видений прошлого и вспомнил, что он не дома, а в мемориальной квартире. То есть дома, но в то же время как бы и не дома. Или, вернее, в музее, но не просто в музее, а в собственном музее, иначе — дома, в своей квартире, которой уже нет, потому что — мемориальная. И хозяина ее нет, потому что помер, написано, в 2029-м...

Словом, запутался Игоряша. А запутавшись, продолжил обход музея. Как выйдешь из комнаты, направо туалет, издавна выполнявший две функции — отхожего места и семейного карцера. Сюда Игоряша жену запирал, когда она читать мешала. Сейчас в двери появился «волчок» — зарешеченное окошечко. Игоряша неодобрительно хмыкнул...

А вот и ванная. Но что это?! Где же амбарный замок, выточенный по заказу из цельной пудовой гири, который Игоряша самолично на дверь навешивал? Нет его! Зато — табличка: «Сберкасса Игоряши И.». Дернул Игоряша дверь на себя, и... глаза его чуть не лопнули, свет пятнадцатисвечевой лампочки померк, как закатный луч. Пуста ванна! А ведь совсем недавно полная была. Когда-то давно завел себе Игоряша привычку: как принесет домой деньги, так сразу дверь в ванную приоткроет и швыряет туда бумажки с мелочью — гульдены, пистоли, доллары, фунты, пиастры, пфенниги, рубли, динары, сантимы, быры, копейки, чоны, крузейро, эскудо, филсы, марки, гроши, халалы, кроны, лиры, квачи, мунгу, пайсы, центы, — потом замок на три оборота запирает. Так ванна почти до краев заполнилась. Лучшим развлечением Игоряши было ванну трясти и раскачивать. Тогда медь, серебро и никели на дно

опускались, бумажки же поверху ровным слоем, как сливки, сепарировались. А коли нужны были деньги для каких-нибудь гуманитарных нужд (на хозяйство шла зарплата жены), то становился Игоряша на колени перед ванной и в финансовую глубь руку запускал. Сожмет кулак и вытащит горсть: юани, форинты, песо — разные билеты вперемешку. Одним словом, достаток и материальное благополучие одновременно!

Игоряша разлепил набрякшие веки. Нет, не почудилось. Все так же пуста ванна. Лишь на дне клочок бумаги лежит, и написано там: «На нужды содержания музея изъято: бумажных купюр — 13 (тринадцать) килограммов, медных и серебряных монет — 17 (семнадцать) килограммов. Спасибо!» И — чья-то закорючка.

По-звериному завыл Игоряша:

— Изъято?! Спасибо!!! Блюрды! Ябно! Это же грабеж! Среди бела дня увеличили тридцать кило добра! Убили!

Он козлом выскочил в коридор, снова споткнулся о гвоздь, но не упал. Распахнул дверь и впился взглядом в бронзу: «Вход свободный».

— А-а-а! — ревуном возопил Игоряша. — Бесплатно?! Меня — задарма?! Чтобы всякая мудрыга без шиша в кармане сюда вpirалась и моим музеем за так пользовалась? Где кувалда? Разнесу щас все к пузиной маме, через так-распротак в доску в пень в трубу навынос!!!

Гороховая караульщица вжалась в угол и быстро-быстро крестилась там. Пришибленный Федосей выполз из клетки, залез на старушку и теперь сидел у нее на плече, бормоча что-то внятно, но тихо. Глаза его сверкали тоской.

Игоряша был ужасен. Он снова ураганом пронесся через коридор, ворвался в кухню и стал изображать там смерч.

Вскоре ему это надоело, он остановился и в остоянении воззрился на жену. Оказывается, та все время была дома, но не показывалась. Она стояла у плиты и деревянной лопатой помешивала какое-то варево в огромном, величиной с балкон, металлическом чане.

— Шиздень и шиздрон! Ты что, с ума сошла? — с перехваченным дыханием просипел Игоряша. — Ты знаешь, что меня ограбили? Пляны! А квартиру в музей превратили? Ты что это делаешь? Фердическая сила! Откуда чан? Старуху языкастую сюда — кто вселил? Федосея затуркали. Ванную взломали. Машинка под колпаком. Где Карбованцев? Янду-бзя! Ты знаешь, в натуре, что я умер?

Да постой же, наконец, гузь чертова! Что за мдень ты варить вздумала? — не связанные друг с другом вопросы и странные книжные слова вылетали из Игоряши, как гильзы из магазина винтовки.— Что вообще здесь происходит?!

Жена повернулась и невидяще посмотрела на Игоряшу.

— Вы, гражданин, постеснялись бы скандалить в музее,— тускло сказала она.— Место государственное, охраняемое. Я на службе препаратором работаю. Вот воск варю.

— Какой такой воск? Хря! Для чего?

— Воск обычный, восковой. Для главного экспоната. Восковую фигуру будем лепить.— Тут в глазах жены зажглись искорки уважения и любви.— Товарищ Игорь И. в любимом кресле в полный рост.

— Так ведь я и есть Игорь И. в полный рост! Не узнаешь, что ли, флюга? — взорвался Игоряша.— Воск-то зачем? Вот он, муж,— живой перед тобой. Игоряша я!

Тут две могучие лапы каменно пали Игоряше на плечи, а чья-то костлявая лапка впилась в шевелюру. Игоряша извернулся голову и боковым зрением увидел, что держат его все та же престарелая караульщица и ражий полулысый детина в черной тройке и при бабочке. За ухом его торчали кронциркуль, линейка и карандаш.

— Вот он где! — с интервалом в терцию запели старуха и детина (как выяснилось впоследствии — лаборант).— А мы его ищем, с ног сбились. Не брыкайся, дядя, сейчас мерку снимем, и хорош. А фарфоровые глаза подобрать и конский парик — это пара пустяков. Момент. Вот и все. Можешь гулять.

— Как это — «гулять»? Что значит — «гулять»? Олмля вам! Я здесь живу и никуда уходить не собираюсь. Квартира — моя, и музей, стало быть,— мой. Вон, табличка на двери — читали?

— Музей государственный,— подала ровный голос жена.— Но вообще случай из ряда вон выходящий. С одной стороны, прототип сделал свое дело, прототип может уходить. А с другой — текстовик Карбованцев его к себе не пустит. У него сейчас писчий запой: Петро Армавирович творит эпопею «Влесова книга сионских мудрецов» — плод масонского заговора». Что же делать?

Игоряша сначала беленился, грозил вызвать милицию, потом, осознав бесплодность угроз, начал просить, умолял не выгонять его из-под родного крова. В конце он уже

валялся в ногах у крепыша лаборанта и целовал войлочные баихлы старухи караульщицы.

Музейный совет долго совещался, куда-то звонил по телефону и наконец вынес решение: прототипа за дверь не выставлять (Игоряшу с этой минуты так и стали звать: Прототип, и он взял за правило послушно отзываться), а, напротив, отвести ему жилое место в углу в прихожей, постелив там рогожку, и определить на полставки швейцаром. Харч — казенный.

Игоряша и рад: дом остался домом, жена — здесь же (хотя уже и совсем не жена, а вдова, невеста лаборанта), Федосей жив. Прототип даже выговорил себе право использовать ванну по прежнему назначению — в качестве кассы, и вскоре там снова зазвенели монеты и зашуршали бумажки.

Первую ночь Игоряша-Прототип спал плохо. Ворочался на подстилке в прихожей и с тоской вспоминал друзей-гуманитариев, которые теперь будут навещать его нечасто, вспоминал генерал-доцента Карбованцева — с грустной злостью: даже при всех своих связях он не сможет добиться отмены предательского решения районной книжной конторы и превратить музей Игоряши И. в прежнюю квартиру. Вспомнил той ночью Прототип и другое: откуда взялся гвоздь в полу. Эта загадка мучила не только жену-вдову и музейных работников, но и самого Игоряшу, мучила уже много лет. Происхождение гвоздя относилось к тем временам, когда Игоряша начал сильно уставать на работе и его приносили домой на руках и укладывали прямо в прихожей. Среди ночи Игоряша просыпался и часто не мог уразуметь, где он и что он. Ему все время казалось, что он не лежит, а стоит, прислонившись телом и лицом к стене, почему-то оклеенной паркетом. В одну из таких ночей Игоряша и вбил в паркетную стену гвоздь, чтобы вешать на него кепку, ботинки и авоську с книгами.

...Дни потекли ровно и незатейливо. Прототип рано вставал, подметал музей, включал освещение и занимал место у двери: встречал посетителей, принимал у них дубленки, «дипломаты», кашне и галоши и передавал с рук на руки старушке-караульщице. В комнате — в кресле — сидела восковая фигура: вылитый Игоряша в своей лучшей поре, с той лишь разницей, что фарфоровые глаза фигуры никогда не тускнели и не краснели и ее не нужно было брить.

Ночью, если Прототип не спал, к нему приходил Фе-

досей и скрежетал что-то на ухо — неясное, но со смыслом: казалось, напрягись — и поймешь. Книгоед с возрастом все умнел и умнел.

Потом стало хуже. Мелочь из ванны порастаскали школьники. Купюры — несмотря на все ухищрения охраны — уносили взрослые. Книги с полок крали библиофилы и обыкновенные музейные клептоманы. Случилась даже трагедия: один не в меру любопытный посетитель снял со стены Письмо Игоряши, вскрыл и прочитал. Это был первый смертельный исход в стенах музея. (Дело решили не предавать огласке и труп скормили бумагоедской машинке: на удивление, она сожрала его без затруднений и вчистую.)

Со временем Прототипу надоела бесчисленная череда посетителей, тем более что дубленки и «дипломаты» были у всех, в среднем, одинаковые, а кашне отличались лишь расцветкой. Для начала Игоряша перестал бриться, а потом по вечерам перестал счищать с себя плесень. В дальнейшем Прототип покрылся мхом, отрастил когтистые ногти и бороду, в которой завелись зеленые водоросли. Посетители хоть и пугались лешего, стоявшего у входа в музей, но виду не показывали, считали, что это часть экспозиции: образ антипода человеческого, полулегендарного существа, обитающего на противоположном от великого Игоряши полюсе жизни.

Прототип на них не обижался.

Он давно уже разучился обижаться, как разучился читать, писать, считать и говорить.

По ночам Прототип больше не спал. Он ходил по музею, касался лапами диковинных предметов и механизмов, и потрясенно урчал, кивая головой. Мимо ванной он проходил равнодушно: трехразовое питание (включая сырое мясо) Прототип получал ежедневно, и опустевшая касса его не волновала. Подолгу Прототип простоявал возле бумагоедской машинки, проблесками разума пытался постигнуть ее таинственную суть, протягивал крючковатый коготь к кнопке «пуск» и тут же пугливо отдергивал. Если бы он поднял глаза во время этих манипуляций, то обязательно устрашился бы: восковая фигура вперивала в него взгляд и бешено вращала фарфоровыми фосфорическими белками. У Прототипа стало плохо со слухом, а то он обнаружил бы и другое странное явление: на рассвете в комнате раздавалось тяжелое, но мягкое шлепанье. Это восковая фигура училась ходить.

Огорчал Федосей. Во время ночных прогулок Прото-

типа по музею книгоед следовал по пятам и болтал без умолку. Прототип не умел ему отвечать, да и боялся: Федосей разъелся и стал размером с таз для варенья. Теперь он был совсем умный. Иногда книгоедище каверзно подкрадывался сзади и нелюбя кусал Прототипа под коленку. Ноги от этого распухали узлами и сильно болели.

В одну прекрасную ночь — было тихо и ясно, в окно светила полная луна — мохнатый и скрюченный, пыльный и узловатый Прототип, похожий на гигантского сине-зеленого паука, в который раз подошел к машинке и остановил блуждающий взор на кнопке «пуск». Лапа сама по себе поднялась вверх, и коготь уткнулся в кнопку. Машинка заработала. Тогда Прототип с обезьяней ловкостью отловил Федосея и опустил его, брыкающегося и вращающегося, в пластмассовый бункер. В тот же миг раздался ужасающий скрип. Это из кресла яростно выдиралась восковая фигура...

На следующий прекрасный день после той прекрасной ночи — а был юбилей, с момента открытия мемориальной квартиры прошел ровно год — в музей приехала авторитетная комиссия, которая должна была решить вопрос о передаче культурного объекта из ведомства районной книжной конторы в ведомство областной консультации по книжным вопросам. Комиссия осталась довольна. Экспонаты были на месте, инвентарные номера совпадали с записями в инвентарных реестрах, книги на стеллажах остались — не все еще успели растащить библиоманы, а уж надписи на полях книг вроде «*Sic nota!*» и «*Ibid, item*» и т. д. просто привели в восторг ученых специалистов. Единственное, чего недосчитались, — это лешего-приврата. Впрочем, сей факт никого не огорчил. Швейцару давно пора было дать расчет: он был существом умственно отсталым, санитарно-опасным, пугающим и без прошлого. Документов у него тоже не было. Поиски велись формально и дали формальные результаты: клочья паутины и мшаные ошметки в углу прихожей да пятна зеленоватой плесени в бункере машинки.

В описи имущества музея в графе «швейцар-вахтер» комиссия проставила: «Взял расчет». На деньги, которые полагались Прототипу в качестве выходного пособия, музей устроил скромные Игоряшины чтения. Все были рады и улыбались.

На прощание председатель комиссии произнес небольшую речь с сюрпризом.

— Товарищи! — с пафосом сказал он.— Другари и другарки! Леди и джентльмены! Господа! Граждане! Этот замечательный музей — непреходящее достояние нашей культуры. Подобных мемориалов должно быть много. Задокументировать жизнь простых людей нашей эпохи во всех ее, даже мельчайших, проявлениях — это ли не благородная задача?! Но, товарищи, граждане, благородные господа... Есть одно крохотное «но». Как называется этот мемориал? «Музей Игоряши И.». Кто такой Игоряша И.? Где он сейчас? Какова его фамилия, которую, судя по всему, не всегда знал и он сам? Кем он был? Отвечу: простым человеком. Одним из нас. Его анкетные данные, пусть даже хранящиеся в недрах Великой Памятной Машины, не интересны ни современникам, ни потомкам. Важно лишь то, что он был, жил, являлся свидетелем, очевидцем и участником Великой Реставрации и оставил нам свой след. У нас много — множество! — таких же простых, неприметных людей, которые дойдут безвестными до потомков. Но — вот что самое важное — они обязательно дойдут! Помочь попасть им в будущее — наша задача сегодня. Ведь, как всем нам хорошо известно, завтра — это завтра, а будущее — это будущее. Завтра хоть потоп, но зато будущее — оно светло и прекрасно. Завтра вы, может быть, вцепитесь в горло друг другу, не страшно, зато в будущем наступит время, где все для Человека и все во имя Человека. Поэтому я предлагаю переименовать мемориал. Отныне он будет называться не «Музей Игоряши И.», а так: «Музей для Человека».

Под громкие и единодушные аплодисменты председатель снял с двери бронзовую табличку и вместо нее повесил новую — золотую, с чеканными буквами. Вдруг в музее послышались странные, неприятные для слуха, шлепающие звуки. Овация смолкла. Все обернулись. В дверях комнаты показалась восковая фигура с гвоздем в руке — тем самым, с которым Игоряша когда-то был изображен на картине. Трем женщинам стало дурно. Здоровяка лаборанта затошило. Не глядя ни на кого, фигура приблизилась к золотой табличке, вчиталась в надпись, а затем принялась царапать мягкий металл гвоздем: вскоре от слова «для» не осталось и следа. Фигура удовлетворилась, отбросила гвоздь в сторону, вернулась к креслу и прочно уселась. Все присутствующие снова перевели взгляд на надпись — «Музей Человека» — и застеснялись.

— Ну, знаете,— сказал, покраснев, председатель комиссии,— я всего лишь рядовой член Межобластного секретариата по книжным делам, и решать данный вопрос не в моей компетенции. С одной стороны, идти на поводу у неодушевленного объекта мы, будучи марксистами-материалистами, не можем. Но, с другой стороны, вдруг эта фигура имеет административно-командные полномочия? Я умываю руки...

Комиссия уехала, пообещав доложить о случившемся в Книжный Центр. Собравшиеся разошлись. Музей временно закрыли.

Но золотую табличку на двери — под охраной милиционера — оставили.

Михаил Кривич,
Ольгерт Ольгин

СЛАДКИЕ ПЕСНИ СИРЕН

1

Неумытый пассажирский поезд, пропустив на разъезде товарный состав, приближался к областному городу Н.

Семен Семенович от нечего делать курил в тамбуре и поучал между затяжками своего попутчика, студента молочного техникума, державшего путь в облцентр, погостевать у родной тетки, набраться культуры и купить кое-что из вещей.

— Ты, студент,— строго говорил Семен Семенович,— скорыми поездами не обольщайся. На что они тебе? Вот едешь ты в Крым.

Студент кивнул головой, будто только в Крым и ездил.

— И вот по пути в Крым встретился тебе город Орел. Что ты увидишь в таком значительном населенном пункте? Ничего. Поезд стоит там от силы пять минут. А Мценск он и вовсе проскочит. Писатель Тургенев там останавливался, а ты не можешь, потому что поезд скорый.

Студент опять кивнул, завидуя писателю Тургеневу.

Поезд между тем миновал пакгаузы, мощный перееезд со шлагбаумом и надписи на откосе: «Решения Съезда выполним!» — к югу от переезда и «Счастливого пути!» — к северу, обе выложенные битым белым кирпичом. Семен Семенович торопливо загасил окурок о подметку.

— Десять минут стоим,— сказал он студенту.— Двигай к своей тетке, и я с тобой выйду, может, перехвачу чего-нибудь горяченького.

Так он и вышел на перрон в тренировочном синем костюме, только набросил на плечи коричневый в клетку пиджак, не столько от холода, сколько опасаясь оставлять в вагоне мелкую наличность, лежащую во внутреннем кармане.

На перроне было безлюдно. То ли неурожай произошел в ту неделю, то ли местный торг оплошал, но не видно было ни бойких торговок пирожками недельной давности, ни бабок с ведрами, где под крышками и белыми тряпи-

цами спрятаны от милицейского взора рассыпчатые картошки и хрусткие огурцы. На зеленых дверях вокзального ресторана висел тяжелый амбарный замок.

— Как же так... — забормотал Семен Семенович, ища поддержки у студента, — что же это получается? Если ты, к примеру, голоден...

Речь его оборвалась внезапно. Произнеся слово «голоден», Семен Семенович смолк и только озирался ошалело, крутил головой, силясь понять, откуда полились вдруг волшебные звуки:

Путник усталый, скажи мне, куда и зачем ты стремишься?

Гонят тебя и терзает странствий могучая сила.

Вечно ты ишешь, безумный, то, что найти невозможно,

И, не найдя утешенья, горько склоняешь главу.

Чистые женские голоса вели мелодию с легким приподнянием, нежно проглатывая шипящие звуки. Трехдольная имитация древнего гекзаметра схватила усталых путников за горло и поволокла на вокзальную площадь.

Вечный скиталец, неужто в ложной гордыне отринешь

Тихую пристань, обитель, ложе и мирный очаг?

— Нет, не отрину, — прошептал студент, вперив взор в вышину. Семен же Семенович протянул в волнении руку, и пальцы его коснулись холодного металла. То был борт грузовика с надписью «специальный». В кузове стояла металлическая вышка, с каких обыкновенно чинят уличные фонари. На ее перила положена была гладко оструганная доска. Вцепившись в доску когтистыми лапами, грустноглазая брюнетка с распущенными волосами выводила густым контральто печальный, берущий за самую душу мотив. Ее живот и бедра обильно заросли тугим пером.

— Что это, Семен Семенович? — прошептал студент.

— Не знаю, только вlipли мы с тобой, это как пить дать, — тоже шепотом отвечал Семен Семенович. — Прощай, вольная жизнь, прощай, жена моя Ульяна Георгиевна.

Вдалеке, у самого конца перрона, взвыл настороженно тепловоз и поволок за собой прочь от города Н. нескорый пыльный состав.

История, которую мы намерены вам поведать, в общих чертах известна, она освещалась в отечественной и зарубежной печати, были и передачи по телевидению, в том числе памятный многим телемост Н.— Нью-Орлеан, во

время которого забредшие в студию на огонек энчане от души врезали ньюорлеанцам по части безработицы и инфляции.

Высокие инстанции приняли по данному вопросу особое постановление, называлось оно «О мерах по закреплению и дальнейшему наращиванию трудовых ресурсов Н-ской области». Нет, не так: «О работе н-ских организаций по дальнейшему закреплению кадров на предприятиях области». Уточнить название не имеем возможности, так как постановление, в связи с деликатностью вопроса, не для печати, а до права чтения таких государственных документов у нас нос не дороc.

Расскажем коротко про областной центр Н. Он славен своей историей, своими трудовыми и революционными традициями, а также промышленной продукцией, которая поступает в 37 зарубежных стран на всех континентах, за исключением Америки и Австралии. У руководителя области товарища Н. висит в кабинете красивая карта мира, на которой стрелками показано, куда именно идут изделия н-ских предприятий. Если внимательно пересчитать стрелочки, то их как раз окажется 37, не больше и не меньше. Сейчас, впрочем, некоторые стрелки пришлось замазать белилами, поскольку отдельные зарубежные страны стали предъявлять неоправданно высокие требования к качеству н-ских товаров. Не хотят — и не надо. Нам же больше останется, верно?

Как вы понимаете, у товарища Н. есть фамилия. Его фамилия Нечитайло. Но так как товарищ Н. значительно поднялся за последнее время по служебной линии и занимает сейчас видный пост почти на самом верху, мы его фамилию умышленно помещаем не полностью, а только в сокращении — товарищ Н., во избежание нежелательных толков. А то, что город Н. и товарищ Н. начинаются на одну и ту же букву, будем пока считать случайным совпадением.

Вы, наверное, знаете город Н.— там еще площадь в самом центре и пожарная каланча напротив облисполкома. С прошлого года ее охраняет от сноса, памятуя о судьбе питерского «Англетеpа», самодеятельная группа энтузиастов «Пращур», хотя, по правде сказать, на каланчу никто и не замахивался — не до нее. На тот случай, если вы давно здесь не были: кинотеатру имени Ворошилова уже месяц как вернули исторически справедливое название «Иллюзион».

В этом самом кинотеатре, тогда еще имени Первого

Маршала, выступая перед общественностью, товарищ Н. сказал как-то знаменательные слова. «Мы не можем,— сказал он,— мы просто не имеем права, нам этого не простят, ждать милостей от природы». И в самом деле — ничего путного от нее ждать энчанам не приходится. Полезных ископаемых нет, ни одной заваляющей алмазной трубы, нефтепровод Мурмыл — Андерлехт прошел мимо, вместо калийных удобрений третий год подряд присылают фосфорные, которые и так девять некуда, и черт его знает, где взять стройматериалы для давно обещанного широкого жилищного строительства.

Ничего этого товарищ Н., конечно, не говорил, чтобы не ронять авторитета областной власти, а, напротив, на-жимал на экспортные изделия, которых область, не ожидая милостей от прижимистой природы, производит больше, чем Непал, Гондурас и Сомали, вместе взятые, то есть очень много, больше даже, чем нужно, но хватает еще, товарищи, и белых пятен.

Еще совсем немного, и мы перейдем к обещанной истории, не забудем ни Семена Семеновича, ни безымянного пока студента, ни безымянную же его тетку, вовлеченных вместе с другими нашими, не представленными до сих пор, героями в орбиту редкого по содержательности эксперимента. Буквально еще одну минуту про товарища Н., с которым нам тоже предстоит познакомиться поближе, и не только с ним, но, что особенно приятно, и с его семьей. Тут следует честно признаться: из понятной осторожности — мало ли что, человек, можно сказать, у кормила власти,— мы с умыслом исказили его фамилию. Нечитайло — это наша выдумка. На самом деле он Нелистайло. Но это — строго между нами. Для всех остальных он останется товарищем Н.

Летним утром, когда часть энских рабочих и служащих уже приступила к трудовой деятельности, а часть только к ней готовилась, то есть умывалась, брилась, подводила глаза и накладывала румяна, завтракала и слушала сводку погоды, на всех предприятиях и стройках, в общежитиях, парикмахерских, воинских частях и подразделениях — словом, везде и всюду, где были включены репродукторы и телевизоры, самые популярные в городе Н. средства массовой информации, вдруг наступила тишина. Не успели граждане осознать, что происходит, отчего дикторы областного радио и телевидения не хотят больше делиться с ними новостями, как из тысяч динамиков, в домах и цехах, на улицах и площадях, потекла тягучая, странная,

манящая мелодия. Женский голос с легким, едва заметным акцентом, как если бы Иосиф Кобзон пел по-французски, выводил в объявившей город тишине:

Путник усталый, что едет в жестком купейном вагоне,
Или в плацкартном, а то и в вагоне СВ для начальства,
Мимо коринфских колонн энского желдорвокзала...

И другой голос, помягче, совсем уже с легчайшим акцентом, как... ну да ладно, неважно, как у кого, подхватил мелодию:

Путник печальный, о путник, давно ожидающий рейса,
Из-за нехватки горючего вылет отложен на завтра.
Снова ты будешь томиться, не находя себе места,
В здании аэропорта славной Калиновки-два...

Никогда еще ни одна передача не брала так за душу жителей города и области. Ни одна! Даже выступление товарища Н. об итогах объединенного пленума районных комитетов, даже ежемесячная программа «Для пап и мам», где говорят такое — ого-го! — даже концерт лучшей областной рок-группы «Хабеас Корпс». Не было в городе человека, который при первых же звуках не отложил бы ложку, зубную щетку, гаечный ключ, авторучку, лопату, скальпель, не снял бы рук с рулевого колеса, клавиш компьютера, пульта управления большого азимутального телескопа. На полуслове оборвали назидания — матери, плач — младенцы, перекличку — лейтенанты, перебранку — жена и сын товарища Н. И все, все, от младенцев до лейтенантов, устремили взоры куда-то в达尔, как будто оттуда, а не из радиоточек, доносились женские голоса, которые были сладостнее всего, что доводилось слышать прежде, не исключая даже Аллу Пугачеву, — и не спорьте с нами.

Сколько певиц прошлого, настоящего и будущего отказались бы от прижизненной славы ради того, чтобы хоть на минуту обрести эту власть над душами!

Путник унылый, что мчится по кольцевой автотрассе
Или томится часами в очереди на колонке,
Где уже долгое время даже не пахнет бензином,
Путник, стремящийся тщетно к цели своей иллюзорной,
Цели, достигнув которой, разочаруешься скоро...

Знаток дактило-хореического стиха заметит некоторые несовершенства в паузных ритмических ходах и отступления от классического трехдольника. Но мелодия, но голос, но страстная сила — они искупали все.

Резво из поезда выйди, путник железнодорожный,
На привокзальную площадь быстрые стопы направь.

Борт самолета покинь, путник авиационный,
Чтобы, на землю ступив, обрести долгожданный покой.

Преподаватель античной философии Энского пединститута Степан Сильвестрович Рейсмус при этих словах заплакал. Впервые в жизни он понял, что не зря зубрил просодию и не зря профессор Букреев трижды гонял его с экзамена по греческой литературе. Во всем городе один только Рейсмус знал, как нелегко дается такое полногласие в стихе. Он прижал ухо к приемнику, и слезы капали на красную клавишу «выкл.».

Правую ногу, о путник, затекшую в долгой дороге,
Сбрось без раздумий с педали, что газ прибавляет мотору,
Перенеси ее влево и тотчас начни торможенье,
Свой автотранспорт приблизив к бордюрному камню дороги...

О, этот третий голос, девичье сопрано, Царица Ночи! Даже товарищ Н. и его ближайшие сподвижники, для которых не были неожиданными ни пенье, ни произведенный им эффект, даже они, собравшись в главном кабинете области, прервали беседу и с доброжелательным вниманием, как подобает руководителям большой области, внимали звукам, сидя по ранжиру за длинным, под зеленым сукном, столом. Товарищ Н. помимо воли отстукивал такт хорошо очищенным карандашом.

Спросишь ты, гость долгожданный, застигнутый песней в дороге,
Что за причина просить тебя в городе нашем оставаться?
Не для забавы, о путник, а ради возвышенной цели —
Чтобы собою пополнить ресурс, поредевший изрядно,
Области нашей, родной, четырежды орденоносной,
Правда, в последние годы несколько снизившей темп...

— Гарно спиваю, — раздумчиво вымолвил заведующий отделом промышленности. Родом из-под Вологды, он вынес свой украинский словарь-минимум из санатория «Донбасс», где раза два или три делил с шахтерами нелегкое бремя горняцкого отдыха. Слова он учил старательно, чтоб влезли в голову навсегда, и особенно долго тренировался выговаривать букву «г» с придыханием, как издавна принято произносить ее с самых высоких трибун, и с той поры крепко держался за свою шахтерскую мову.

— Хорошо поют, — согласился товарищ Н. И собравшиеся закивали головами: «...Хорошо... стоящее дело... верное решение приняли...»

— За работу, товарищи, — сказал товарищ Н. и первым встал из-за стола. — Все по объектам. Сейчас главное — быть с народом. Нам кабинетный стиль не к лицу. Люди нас ждут, они нам доверили власть, они на нас надеются.

И направился к двери, остальные вслед за ним. А вдогонку, заполняя сладчайшими звуками кабинет, и приемную товарища Н., и коридоры, устланные мягкими натуральными коврами, те самые коридоры, которые справедливо называют коридорами власти, и все здание, главное в городе и области, и площадь, на которой оно горделиво высилось, и прилегающие улицы, и дальние переулки,— вдогонку им неслась манящая, привораживающая песнь, лучшая из слышанных ими когда-нибудь:

Не покидай нас, прошу, останься в городе нашем,
Ждет тебя ткацкая фабрика имени Всех революций,
Также завод ЖБИ — созидатель железобетона
И предприятие номер АГ-518,
Коему срочно конструкторы всех категорий потребны,
Слесари, старший бухгалтер и меткие ВОХРа стрелки...

3

В эту самую минуту столичный актер Борис Взгорский, повинуясь охватившему его безумному порыву, резко сбросил газ и ногой в адидасовской кроссовке что было силы нажал на педаль тормоза своего автомобиля марки ВАЗ-2105 (двигатель от «шестерки»).

С визгом и скрежетом машина вылетела на обочину, разбрасывая гравий и оставляя за собой...

Нет, лучше мы начнем эту главу не так.

Клавдия Михайловна была не прочь рискнуть. В конце концов, кто не рискует, тот не выигрывает. И сейчас, когда смятыми, захваченными рублями, трешками, десятками уже полны были карманы ее ватной фуфайки...

Опять не так. Попробуем иначе.

Через дыру в бетонном заборе конструктор третьей категории по имени Вячеслав покинул территорию режимного предприятия с тем, чтобы...

Или лучше так?

Сережа понял, что самолет резко теряет высоту, проваливается в пропасть, и, чтобы в этом страшном паденье остаться рядом с Верочкой, он крепко ухватил ее за тонкое запястье. Крутобедрая стюардесса...

Нет, нет и еще раз нет. Ерунда сплошная. От спешки, должно быть.

Но, если подумать, куда спешить-то? Мы не американцы какие-нибудь, чтобы фабулу торопить. Пока то да се, дела да случай, глядишь, и дойдет повествование до нужного места само собой. А пока повествование помимо

воли авторов не разогналось еще, порассуждаем немного о странном административном обстоятельстве. Мы давно уже обратили на него внимание. И вы, должно быть, заметили, что название области и фамилия ее руководителя начинаются на одну и ту же букву. Версию простого совпадения, некоего стечения обстоятельств, давно пора отбросить. Совпадение... Как бы не так! Кто до недавней поры возглавлял у нас республику Узбекистан? Верно, Усманходжаев. А кто заправлял делами в Казахстане? Тоже верно, Кунаев. Кто, наконец, был первым человеком в Азербайджане? Верно, Алиев! Так будем и дальше талдычить о случайному совпадении или же, твердо встав на позиции диалектического материализма, заявим наконец уверенно: есть, есть в этом историческая закономерность. Сама судьба, то есть, простите, объективные общественные законы распоряжается так, чтобы во главе республики, во главе региона (вот словечко, будто только что отчеканенный пятак — как им не щегольнуть?) или области встал человек, чья фамилия начинается с той же буквы, что и название его вотчины.

Вы станете спорить с нашими выводами, приведете контрпримеры? Оставьте. Исключения только подтверждают правила. Или возьмем для сравнения опыт зарубежных друзей. Лидерами каких стран являются дорогие товарищи Кастро Фидель и Ким Ир Сен? И стоит ли удивляться поражению сенатора Дукакиса на президентских выборах в США? У него не было никаких шансов, у вашего Дукакиса, это с самого начала всем было ясно. А вот если бы он выставил свою кандидатуру в Дании, или в Доминиканской республике, или на худой конец в Днепропетровске, то вполне мог бы заткнуть за пояс своих конкурентов.

Мы это написали и заспорили — а мог бы товарищ Н. возглавить Нидерланды или Новую Зеландию? Загибистый вопрос, с ходу не ответить. Но, думаем, потянул бы.

Кстати, настоящая фамилия товарища Н.— Нехватайло. Но это не для передачи за рубеж.

Как ни жаль прерывать рассуждения о роли личности в истории и географии, придется сделать это и вернуться на грешную землю, в город Н. Н-ской области, завороженный в данную минуту волшебным сладкоголосым пением. Глава с порядковым номером 4 перенесет нас в недавнее про-

шлое. Мы попытаемся изложить факты сжато, можно сказать, в конспективной форме.

Перед городом и областью давно и недвусмысленно были поставлены большие задачи. Не будем напоминать о зарубежных поставках, о развитии большой и много-профильной н-ской индустрии. Скажем только, что неподалеку от областного центра, в живописной уютной ложбине, началось строительство Н-ской АЭС такой мощности, что дух захватывает. И еще принято было принципиальное решение о переброске части стока восточных и западных рек для подпитки прудов области, что необходимо для развития прудового рыбоводства. Очень хотелось энчанам и их соседям свежей рыбки, и руководство области не останавливалось ни перед чем, лишь бы удовлетворить возрастающие запросы трудящихся.

Увы, на пути всех этих грандиозных, мы бы даже сказали, величественных планов возникло серьезное препятствие: трудонедостаточность. Проще говоря, дефицит кадров. А сказать совсем просто, некому было работать ни на заводе ЖБИ, ни на ткацкой фабрике имени Всех революций, ни даже на предприятии номер АГ-518, где зарплата побольше и премии почаше. Некому было возводить корпуса для ядерных реакторов НАЭС, некому было рыть каналы, по которым животворная влага потечет из дальних краев в областные пруды, чтобы напоить нагуливающего вес зеркального карпа.

Не закреплялись кадры в городе Н. и Н-ской области. Хуже того, кадры не пришлые, а свои, здесь родившиеся, окончившие ПТУ и пединститут, кадры, которым бы с гордостью произносить: «Мы — энчане!», утекали — и в том смысле, что как сквозь пальцы, и в том, что драпали. Утекали в обоих смыслах, чтобы в других краях, дальних и близких, обрести работу, какое-никакое жилье и более разнообразный рацион. Оно конечно, спинка мицтая и ставрида обезглавленная — продукты немалых достоинств, но от их постоянного употребления у энчан случалась изжога. Оно конечно, в городе Н. велось массовое жилищное строительство (совсем недавно, к слову сказать, сдали в эксплуатацию трехэтажный палевокирпичный дом улучшенной планировки, в который въехали товарищ Н. с семьей и другие уважаемые люди города), но как-то не очень спешно велось. Вот и утекали.

И однажды положение в городе стало критическим. То есть критическим оно было и раньше, но тут стало совсем критическим. Мало того, что испортилась холодильная

секция, где хранился трехсуточный запас спинки мятая, мало того, что смежники не поставили заводу ЖБИ обещанные вагоны цемента, а на ткацкой фабрике в одночасье перегорели все пробки и не нашлось монтера их починить,— мало этого: молокозавод, гордость города Н., не справился с поставкой спецпродукции новоселам палево-кирпичного дома в связи с непривозом сырья из спецотделения совхоза «Изобильный», и товарищ Н. вынужден был распорядиться о ввозе ограниченного количества молочных спецпродуктов из соседней области. Отдал и еще одно распоряжение — собрать через час в своем кабинете городских руководителей на совещание с повесткой дня «О некоторых упущениях и недостатках в дальнейшем развитии и материально-техническом снабжении Н-ского промышленного узла», или, если перевести это точное и исчерпывающее название на расплывчатый, вялый, семантически неоднозначный обывательский язык,— «Как жить дальше».

Знаете, как собирается актив на такие совещания? Смолят сигареты с папиросами в отведенных местах, флиртуют — без всяких там умывслов, а по добруму обычаю — с секретаршами, утрясают на ходу свои дела, судачат о том о сем, иногда и шуточку ввернут про Первого, а потом, одернув пиджаки и поправив галстуки, с зажатыми под мышкой папками — мало ли какая понадобится справка — деловито заходят в кабинет, рассаживаются, и никаких больше вольностей, работа есть работа.

Все ждали доклада товарища Н. о переброске стока отдаленных рек в местные пруды. В целом вопрос был решен, согласован с ведомствами в центре, даже кое-какая документация подготовлена, однако остались непроработанными некоторые технические детали. Например, из каких именно отдаленных рек забирать воду. Тут мнения разошлись, можно сказать, поляризовались. Одна группа хозяйственников и ученых склонялась к бассейну реки Амур. Сторонники такого решения — их называли «восточниками» — оказались в большинстве, и в последнее время духовой оркестр Управления пожарной охраны все чаще играл в городском парке вальс «Амурские волны». Но, как нередко бывает, меньшинство, если в него входят сильные люди, может навязать и свою точку зрения. А она была такой: копать канал от реки Миссисипи, а там, где на его пути встретятся большие водные преграды, прокладывать трубы, чтобы пресная вода не смешивалась с соленой, океанской. Получалось несколько дороже, чем по

первому варианту, но были у «западников» и свои козыри, как-то: новые международные связи, обмен делегациями, поездки в города-побратимы, а со временем, может быть, и Н-ская зона свободной торговли. Сторонники миссисипского варианта, в пику духовому оркестру, протаскивали в эфир через областное радиовещание блюзы и совсем уж что-то непонятное в стиле «кантри», и вечерами в парке валторны и корнеты пожарников схлестывались с негритянскими (из громкоговорителей) саксофонами.

Товарищ Н. колебался, чью сторону принять, и все ждали его решения. Вот и сейчас он сидел, большой, лобастый, в массивных очках, и рассеянно крутил глобус, на котором красным цветом были прочерчены два канала: Амуро-Энский и Миссисипи-Энский. Каково же было удивление собравшихся, когда товарищ Н. заговорил совсем о другом. Какой же мелкой, даже ничтожной показалась собравшимся тема его доклада по сравнению со стройкой века. Но велик, ох велик был авторитет товарища Н. в городских и областных организациях! Вскоре актив настроился на деловую волну, а потом, когда доклад был окончен и отзвучали аплодисменты, выступавшие в прениях все как один поддержали положения и выводы товарища Н. о закреплении трудовых ресурсов области. И, покритиковав себя за недостаточное внимание к вопросу, стали вносить конкретные предложения. Была, в частности, высказана идея воздвигнуть за пределами городской застройки надувной шатер, километр на километр, а под ним разместить всех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Заводом промышленности высловив потаенную думку об удвоении производительности труда путем всеобщей и полной роботизации. Вирна думка, ничего не скажешь. Начальник Н-ского горпищеторга не ударил в грязь лицом и выложил на стол, как принято нынче говорить, целый пакет предложений. Некоторые из них мы просто обязаны предать гласности: первое — собрать силами пионеров и комсомольцев побольше макулатуры и поменять ее в Аргентине на мясо и в Уругвае на бананы; второе — побрататься с несколькими городами, каждый из которых славен и богат каким-то пищевым продуктом (он называл для примера Рокфор, Коньяк, Изюм, Кальмар и финский населенный пункт Салями — не уверены, что такой есть, но начальнику пищеторга виднее), и пусть делятся по-братски; третье — понастроить в области кроличьи и заячий фермы с тем, чтобы благодаря плодовитости этих малых животных на прилавках не переводились

крольчатина и зайчатина; четвертое — временно поднять розничные цены на все продукты, а то переедает народ, и нездорово это, и прилавки пустые...

Вот как бурлила творческая мысль. Интересные все предложения, нестандартные, многообещающие, но по ряду причин с ходу их не реализовать. А надо было с ходу.

Совещание зашло в тупик. Товарищ Н. хмурился, постукивал карандашом по столу, прерывал выступавших резкими нелицеприятными репликами. Все шло к тому, что совещание, по логике событий, с минуты на минуту превратится и, как не раз уже бывало, товарищ Н., посоветовавшись по телефону с Москвой, объявит волевое, но в данных обстоятельствах единственно правильное решение. Тут, однако, неожиданно для всех слово попросил секретарь областной писательской организации. Первый писатель области — человек читимый (хотя, к сожалению, не очень читаемый), к его совету не раз прибегал сам товарищ Н., когда ему надо было определить собственное отношение к тому или иному явлению областной культуры, будь то исторический роман на местные темы или эскизы праздничного оформления главной площади. В гуманитарной сфере командир писательского взвода слыл большим авторитетом; но зачем же он лезет в чужую епархию, в заповедную зону принятия решений?

Ох, как хозяйственники недооценивают порой духовное начало в экономике! Как неправы они, когда, ссылаясь на занятость, редко посещают филармонию и почти не заглядывают в краеведческий музей, где целых два зала отданы под картины энских художников...

Писатель тем временем пересказывал в общих чертах содержание какой-то старинной книги, нечто вроде записок греческого мореплавателя, не лишенных занятности, однако путанных, не всегда реалистических и далеких от задач сегодняшнего дня. Сциллы, Харибы, чертовщина какая-то.

Вполуха слушал актив, тихо болтал о своем, посмеивался. Надо ли осуждать его? Требуется государственный ум, чтобы в шелухе древнегреческой сказочки разглядеть рациональное народнохозяйственное зерно. Людей с таким умом у нас не так уж и много. И не дорожим мы такими умами. Лишь когда лежит человек средь красного кумача и елового лапника, доходит до нас, кого лишились, кто жил и работал рядом с нами...

Это не к тому, что товарищ Н. скончался. Слава Богу, жив и здоров, на повышение пошел, тянет государственную

лямку. Однако следовало бы нам быть повнимательнее к нашим руководителям, не орать на всех углах о казенных «Волгах», госдачах, спецполиклиниках и спецзаказах, а беречь старших товарищай, пушинки с них сдувать, брать с них~пример.

Товарищ Н. внимательно слушал писателя и не перебивал, что редко с ним бывало. А когда вожак энской литературы, скромно склонив голову, замолк, товарищ Н. обернулся к портрету, висевшему за его спиной, будто обратился за советом. И человек на портрете, такой же, как товарищ Н., основательный, крепкий, вроде бы кивнул головой одобрительно. «Сирены, говоришь?» И все смолкли, потому что в реплике этой были и заинтересованность, и требовательность, и доверие к человеку.

Здесь мы вынуждены опустить значительную часть истории, ибо, честно говоря, не располагаем достоверной информацией, а на предположениях да на слухах в нашу эпоху гласности далеко не уедешь — быстро попросят слезть. Огромный пласт государственной работы прячется в глубоких недрах аппарата. И правильно. Окажись он на поверхности, на виду у всех, первый же досужий наблюдатель, почесывая в затылке, станет вмешиваться, давать нелепые советы, писать пустое в газету, а там рады, печатают что ни попадя — как же, гласность наступила! Ну и пусть ее. Гласность делу не помеха. Все равно, государственный этот пласт разрабатывается в недрах, под сводами канцелярий и секретариатов; по штрекам и штолням согласований текут запросы и справки, твердыми, размашистыми подписями вгрызаются в исполнительские забои инструкции, директивные и рекомендательные письма. И только потом выдается на-гора то, что нам положено знать,— решения, постановления, указы. Нет, не всем быть шахтерами, а досужему наблюдателю нечего делать в забоях, штолнях и штреках государственной власти.

Доподлинно нам известно только одно: сразу же после совещания товарищ Н. лично прочитал (так хотелось сказать — собственноручно, но это слово вроде бы здесь не подходит, ибо собственноручно читают, как известно, лишь незрячие граждане) доставленную ему из городской библиотеки старинную греческую историю и — тут это слово, бесспорно, уместно — собственноручно сделал необходимые выписки. А затем дал аппарату распоряжения. Насколько внимательно, насколько вдумчиво и творчески прочитал товарищ Н. книгу зарубежного автора, мы осознаем гораздо позже, в критическую для области минуту.

Так выдающийся гроссмейстер, проанализировав творческое наследие и прощупав слабые места соперника, вдруг ни с того ни с сего выдвигает какую-то зачуханную пешку, тихо дремлющую вдалеке от поля боя. Недоумевают зрители, разводят руками комментаторы, строят догадки другие гроссмейстеры — на кой ляд он потерял драгоценный темп? А партия идет себе и идет, и давно забыта уже выдвинутая на шажок вперед сонная пешка, как вдруг она оказывается в центре событий, на том самом месте, где ей надлежит быть, чтобы сорвать коварный замысел противника.

Товарищ Н. в своем деле был гроссмейстером из гроссмейстеров, да простится нам это сомнительно звучавшее слово в применении к такому значительному уму. Но, впрочем, может быть, ввести подобные титулы и для руководящих работников? А что, совсем не плохо: заслуженный гроссмейстер управляющего аппарата товарищ Незнайло...

Надо же, проговорились, зарапортовались. Будем считать, что вы настоящую фамилию товарища Н. не прочитали, а мы ее не написали. Все.

Итак, аппарат получил указания, закрутился маховик, подпитываемый неуемной энергией товарища Н., набрал обороты и выработал документ под названием «Экономическое и техническое обоснование необходимости привлечения импортных сирен для дальнейшего улучшения работы с кадрами на предприятиях и организациях Н-ской области и предложения по выделению валютных средств в указанных целях». Документ пригладили, вылизали и направили в Москву.

Москва, как мы знаем, слезам не верит. Не верит она и легковесным, непродуманным, тяп-ляп составленным бумагам. Она, надо вам сказать, при всей своей отзывчивости, сердечности и известном всему миру гостеприимстве, довольно недоверчива.

Наше беглое упоминание тяп-ляп составленных бумаг не имеет никакого отношения к «Обоснованию», под которым стояла подпись товарища Н. Никогда в жизни не позволял он себе подписать что-либо сомнительное. Тем не менее пришедший из Москвы ответ был сух и категоричен: «Звуковоспроизводящая и звукоусилительная аппаратура строго фондирована... соответствующие устройства поставляются в специальных целях по установленным правилам... изыскать до конца пятилетки не представляется возможным...» — и все в том же духе.

От досады товарищ Н. стукнул кулаком по столу и привстал в своем кресле. Он так и остался стоять, потому что зазвонил телефон, да не простой, а для самых крупных руководящих товарищ, его номер из автомата или из частной квартиры не наберешь, да из какого-нибудь собеса или облздрава тоже. Некоторые называют его вертушкой — согласитесь, излишне фамильярно. Из этой вертушки и раздался властный голос, и то же самое лицо, что поставило свою подпись под ответом Москвы, пожурило область за недовыполнение и за недопонимание требований момента. На сей раз товарищ Н. кулаком по столу не стучал и досады вслух не высказывал — что он, враг себе, что ли? — и только несколько раз повторил, что все понял и будет исполнено, и еще поблагодарил собеседника за внимание к нуждам области. «Не подкачаешь? — спросило лицо. — А то, вишь ты, по гудкам фабричным соскучился!» «Шутит», — догадался товарищ Н., но свою ответную шутку сдержал, не к месту она и не ко времени, а сказал только: «Сделаем». Сам же, хитрец, велел супруге собрать вещички и ближайшим же рейсом махнул в столицу. И пошел, пошел по кабинетам, забирая все выше, пока не был принят совсем наверху.

От спекуляций по сему поводу воздержимся, не тот случай, чтобы гипотезы строить, а скажем только, что после этого визита предложение области было тщательно изучено с привлечением специалистов по балканским странам, МИДа, Внешторга, Комитета по радиовещанию и телевидению и еще двух-трех серьезных комитетов, которым до всех мало-мальски важных государственных вопросов есть дело. Не верит Москва слезам, а инициативе с мест верит, поддержит перспективные предложения. И пошел опять товарищ Н. по кабинетам, теперь уже сверху вниз, и как же приятен был этот путь! Вот уже написаны запросы и справки, вот уже получены согласующие подписи, вот уже посланы бумаги в надлежащие страны и прямо посреди пятилетки найдены валютные средства. И чего это в газетах долдонят — нет валюты, нет валюты; для настоящего дела она всегда найдется: здесь сэконо-мим, там одолжим, тут клюквы с нефтью продадим — сколько-нибудь да наскребем. Это и есть государственный подход.

Вернулся товарищ Н. в Н. окрыленный.

Город бурлил. По чьей-то безответственности словечко «сирены» выпорхнуло из недр аппарата, где должно было храниться в пухлых папках для служебного пользования,

в несгораемых шкафах и в курьерских портфелях, выпорхнуло и пошло себе гулять. Старушки в очередях судачили о новой океанической рыбе, что должны со дня на день завезти, оно конечно, не бельдюга и не макруус, но, говорят, питательная, а если варить подольше, то бульончик — пальчики оближешь. Отчаянный директор гастронома, из молодых, вывесил плакат: «Добро пожаловать, гостья из Средиземноморья!» — и на всякий случай велел написать рядом норму отпуска гости в одни руки. Прошел слух, что «западники» утерли «восточникам» нос, раздобыли где-то валюту и теперь воду будут перебрасывать все-таки из Миссисипи, однако заокеанские правители потребовали идеологическую уступку: по всей области установить единый политчас, о котором будут оповещать сиренами греческого производства, потому что Греция входит в состав НАТО, а пропагандистов пришлют из штаб-квартиры в Брюсселе. Доходило до нелепостей: мол, промторг получил партию моющихся обоев из Одессы, сиреневых в цветочек.

В местной газете появилась редакционная статья, выдержанная в спокойном, взвешенном тоне. Океаническая рыба новых сортов, сообщала газета со ссылкой на информированные круги, ожидается в следующем квартале и будет распределяться по предприятиям, пока же диетологи рекомендуют гражданам минтая и маргарин «Очарование» — продукты, содержащие полный набор незаменимых веществ. Обоев в городе не предвидится из-за отсутствия заявок торгующих организаций, и это только к лучшему, потому что обои, даже моющиеся, негигиеничны, и гораздо лучше покрывать стены масляной краской, которая в достаточном ассортименте — черная, коричневая, серая — всегда в наличии. Кроме того, газета строго и справедливо намекала, кому на руку непроверенные слухи.

В аппарате над городскими слухами посмеивались и привычно ожидали, что будет дальше. По правде говоря, и здесь не все было известно до конца, однако наверху слухи гуляют свои, не пустые, обычательские, а масштабные. Поговаривали, что валютных средств, выделенных на сиренизацию области, заведомо не хватит, да к тому же часть их уже потрачена на отдых (тут называлась фамилия) в Греции по высшему разряду, с семьей. Вот уж нелепость — для этого есть совсем другая смета, идейно зрелым кадрам надо бы это знать. Другая версия представлялась более интересной — вроде бы одна средиземноморская

страна предложила провернуть дело по безвалютному обмену: сирены едут к нам, а мы посылаем туда разных наших специалистов — по сельскому хозяйству или по заготовкам. И хотя мысль по зрелом размышлении оказалась небогатой — и в самом деле, на хрена им наши зоотехники, — так хотелось верить в поездку к теплому морю! За курсом драхмы следили внимательно, и, встречаясь в коридорах, работники аппарата перемигивались и спрашивали друг у друга: «Ну, как там на Эгейщине?»

Лишь товарищ Н. был полностью в курсе дела. А оно двигалось медленно. Шла какая-то вялая переписка, Греция темнила, предлагала вместо сирен то сандалии, то оливковое масло — девать им его, что ли, некуда. Шут с ними, с сандалиями, думал товарищ Н., почесывая авторучкой «паркер» за ухом, а вот оливковое масло сгодилось бы, не прокисло; однако, понимал он, стоит дать слабину, как вопрос с сиренами сам собой исчезнет. Знал, ох, знал товарищ Н. тонкие экономические механизмы!

Пришлось супруге вновь собирать товарищу Н. чемодан. И на сей раз поездка оказалась незряшной — кому следует дано было указание срочно послать в Грецию торгово-экономическую делегацию. В самую последнюю минуту, можно сказать, уже в тронувшийся поезд товарищ Н. воткнул в ее состав своего единственного сына Климентия. Были по этому поводу ненужные толки, мы же считаем поступок руководителя и отца политически оправданным. Как раз в то время сын Климентий готовился к поступлению в Институт международных отношений, а будущему дипломату зарубежная поездка только на пользу. Мария Афанасьевна, супруга товарища Н. и соответственно мать Климентия, считала к тому же, что лучше помыкаться недельку-другую на чужбине, чем гонять н-ских собак — того и гляди попадешь в дурную компанию.

Климентий вернулся в город месяц спустя. Вытянулся, загорел, привез видеомагнитофон и кучу обклеенных яркими наклейками кассет. Вечером в палевокирпичном доме собирались мальчишки и девчонки, крутили кассеты. Мария Афанасьевна заглянула в комнату сына, но тут же вылетела как ошпаренная: вот уж непотребство! А сам товарищ Н., когда ребятки разошлись по домам, посмотрел один фильм и нашел его занимательным, хотя, конечно, по идеологии он здорово недотягивал. Впрочем, куда больше, чем голые красотки, прёдающиеся сомнительным среди-земноморским забавам, его интересовало, с каким багажом

вернулась на родину делегация. И, твердой рукой выключив аппарат, товарищ Н. обратился к сыну:

— Ты, сынок, совсем уже взрослый мужик, оказывается. Так давай поговорим как мужчина с мужчиной, как руководитель со своим младшим товарищем, которому доверили... Ты хоть помнишь, что тебе доверили?

— Опять ты за свое, батя... — отмахнулся Климентий.

— А за чье же еще? Расскажешь ты мне, как отцу родному, что у вас там было с этими сиренами проклятыми? Гляди, Клим, определю в ракетную академию, век заграницы не увидишь!

— Да не знаю я никаких сирен! Что я, виноват, что их там сроду не было? И вообще Иван Максимович и Сурен Оникович меня с собой не брали...

Убедившись, что из балбеса ничего больше не вытянуть, товарищ Н. на следующее же утро связался по вертушке с Москвой. Ему сообщили, что делегация моталась в Афины зазря, накладка вышла: оказывается, никаких сирен в Греции сроду не было, их местожительство находится, согласно мифологии, где-то между Сциллой и Харидой, а это, по нынешнему административному делению, район Сицилии, где, как известно, на каждом шагу мафия, крестные отцы и беззащитные комиссары полиции. «Ух ты! — присвистнул мысленно товарищ Н. — Эк дело-то поворачивается». Но присвистнул, повторяя, мысленно, поскольку свистеть по вертушке так же неуместно, как в церкви.

Из дальнейшего разговора товарищу Н. стало известно, что вопрос передан для проработки из балканских отделов в южноевропейские и что надо ждать, потому что быстро только кошки рожают.

Грубоватое выражение, но справедливое. К нашей истории оно тоже имеет отношение. Намеревались мы сделать эту главу короткой, и так старались, и этак — не выходит. Сложны государственные дела! Склонные жаловаться на нехватку того и отсутствие этого, поймите вы, наконец, сколь труден путь к конечной цели, к нашему, то есть, всеобщему и полному благосостоянию.

Двинемся, однако, дальше.

Много воды утекло в великих реках Амуре и Миссисипи с того памятного дня, когда товарищ Н. вник в суть вопроса и произнес свое вещее «Сирены, говоришь?». Не меньше утекло кадров с предприятий города и области. Очень большая была у них текучесть. Произошли и другие события. Климентий поступил в Институт международных отноше-

ний, но был отчислен после первой сессии; в кабинете товарища Н. поменяли портреты; вопрос о переброске рек оставался до конца не решенным, но подготовительные работы уже начались — пруды стали расчищать в ожидании большой воды; область торжественно отметила юбилей товарища Н., по случаю которого он был удостоен высокой награды; Мария Афанасьевна спрвила новую норковую шубу; в торговую сеть дважды поступало вымя говяжье; Степан Сильвестрович Рейсмус защитил кандидатскую диссертацию; цех ширпотреба предприятия АГ-518 освоил выпуск набора «Землекоп-любитель» (лопата штыковая, лопата совковая, кайло, тачка); опять не уродились зерновые — впрочем, это событие касалось всего Несуглинья, в которое органично входит Н-ская область...

Останавливаться подробно на этих событиях нет никакого смысла, ибо наша повесть — не «Война и мир», а мы, как ни горько это признавать, не ясонополянские старцы. Так пусть бегло перечисленные факты из жизни города Н. служат фоном, этаким театральным задником для тех удивительных сцен, которые мы вам покажем. Свет на сцену! — как говорит в таких случаях еще не известный вам актер Борис Взгорский.

На исходе лета товарищу Н. позвонило из Москвы то самое лицо, которое, если помните, поначалу подшучивало над смелой инициативой области. Порасспросив о ходе уборочных работ, о подготовке к зиме и прочем, лицо напоследок сказали товарищу Н. буквально следующее:

— Тут у нас сложилось мнение, что пора провести широкий эксперимент по сиренизации Несуглинья. У тебя, помнится, были соображения на этот счет, тебе и карты в руки. На днях жди гостей. Смотри не подведи нас.

А кого «нас» — не сказал.

Товарищу Н. достало ума, чтобы и полсловом не напомнить, что не соображения какие-то были у него, а готовую идею положил он на стол и всю подготовительную работу провернул. Вы думаете, он славы не хотел? Еще как хотел. Но если сиренизация себя не оправдывает, рассуждал товарищ Н., то зачем подставляться?

Вот государственный ум, вот тактик! Не случайно настоящая его фамилия Невылезайло. Как говорили древние римляне, имя — это предзнаменование. Или это говорили древние греки?

Ждать пришлось недолго. На следующей неделе пришел телекс: завтра спецвагоном на станцию Н.-пассажирская прибывают в распоряжение области сирены среди-

земноморские стандартные. Так и было напечатано, слово в слово: средиземноморские стандартные. И о чём они там в Москве себе думают? Если стандартные, так хоть номер стандарта сообщи.

В назначенный час товарищ Н. и сопровождающие его оживленные лица вошли под своды горвокзала.

От рядовой публики перрон был очищен, состав подали на дальний путь, а спецвагон отцепили и подогнали точно к зданию вокзала. Вагон был не наш, с какими-то ступенечками и поручнями, с бронзовыми накладками и разными финтифлюшками, даже цвета не нашего. Духовой оркестр вскинул трубы, дирижер в фуражке и кителе взмахнул рукой, и томительные звуки «Амурских волн» полились над перроном. Весь цвет областного аппарата древнегреческим хором выстроился перед спецвагоном — все люди статные, горделивые, в светло-серых летних шляпах, товарищ Н. посередине и чуть впереди, остальные на полшага сзади.

Появился микрофон. Товарищ Н. привычно шагнул к нему и нацепил очки, помощник протянул аккуратные четвертушки бумаги с напечатанной речью. По мановению дирижера смолк оркестр. Но вагонная дверь оставалась закрытой, выступать было не перед кем. Товарищ Н. нахмурился и подозвал жестом растерянного распорядителя с красной повязкой на рукаве. Выслушав указания, распорядитель бросился к вагону — и в этот момент двери распахнулись. Все затаили дыхание, распорядитель застыл на месте, товарищ Н. опять надел очки и придинулся к микрофону. Однако вместо сирен из двери, держась за бронзовый поручень, вышел хорошо одетый молодой человек. Небрежно, как может позволить себе только стиличный чайонник, да и то не всякий, он кивнул встречающим и коротко спросил:

— Где насест?

Вот те на! Так все продумали, последние мелочи учли и расписали, даже хлеб-соль на жостовском подносе под рушником держали наготове во втором ряду, а о насесте забыли...

Общеобразовательный уровень нынче настолько высок, что мы не сочли нужным знакомить читателя с приключениями древнегреческого путешественника, полагая, что о них всяк знает сам, если не по подлиннику, то хотя бы понаслышке. А потом спросили одного собрата-литератора, и не какого-нибудь, а из кругов, близких к секретариату союза, дачу в Тарусе имеет, — кто это такие, сирены?

А он усмехнулся презрительно и отвечает — вы что, ребята, сами не знаете? Это такие полубабы-полурыбы, с хвостом от пупка и с грудями.

Насчет грудей — это он попал в самую точку, но случайно. Он сирен с русалками спутал. Сирены же, да вы и сами знаете, вовсе не рыбы, а полуженщины-полупутицы, иными словами, голова и верхняя часть тела у них женская, а нижняя — птичья. Всякий читатель, достигший шестнадцатилетнего возраста, способен, независимо от своего пола, представить в общих чертах, как сирены выглядят.

Теперь вам понятна растерянность встречающих? Если нижняя часть тела птичья, без насеста не обойтись.

— Начальника вокзала ко мне,— шепотом приказал товарищ Н.

Через минуту запыхавшийся начальник вокзала, распорядитель с повязкой и несколько носильщиков приволокли на перрон железные барьеры, какими в случае чего закрывают проходы туда, где посторонним делать нечего. Пока барьеры тащили, в вагонном окне мелькнуло любопытное женское лицо, к стеклу прижался изящный носик, а потом видение исчезло. Да на окно никто и не смотрел. В дверях появились одна за другой три сирены и, взмахнув крыльями, перепорхнули на свои временные насесты. Собравшиеся на перроне уставились на них, разинув рты.

Одна из сирен была молоденькая, совсем девочка, лет восемнадцати. Простое и милое, чуть не сказали русское, конечно же античное лицо: прямой носик, чистый, без единой морщинки, лоб, редкой белизны кожа, легкий румянец на щеках, золотистые, падающие на плечи волосы. «Елена, дочь Ипполита», — представил ее сопровождающий. Елена улыбнулась так доверчиво, что даже товарищ Н. ощущил под галстуком неожиданный приток тепла, словно от горчичников. А сын его, непутевой Климентий, прошедший на церемонию в качестве члена семьи, не мог оторвать взора от огромных серых глаз Елены, от стройной ее шейки, от маленькой, прекрасно очерченной груди, на которой спелыми ягодами алели соски.

Кстати, о грудях. Кроме голубой ленты в волосах, на Елене, так же, как на ее спутницах, ничего не было. Да и есть ли надобность в одежде по теплому времени года, если почти все тело покрыто нежным, но плотным пухом, вроде гагачьего, а кое-где и нарядным светлым пером? Однако руки, однако плечи, однако грудь...

Впрочем, если грудь Елены нельзя было не признать

совершенной — на чем позже, пусть и со скрипом, сошлись даже жены аппарата, — то у двух других сирен, постарше, эти атрибуты женственности оказались вполне заурядными. Дорида, дочь Вакха, и Гегемона, дочь Гефеста, оказались дамами в возрасте и в условиях нездорового, жаркого климата Средиземноморья, а может, и по каким-то другим причинам, не сумели сохранить свежесть и красоту грудей. Впрочем, если разобраться, приехали они в город Н. дело делать, а не стати свои показывать. Наша держава, в конце концов, тоже посыпает за рубеж прежде всего опытных и морально устойчивых специалистов, а какая там у них грудь и все прочее, это никого не касается.

Представленные публике Елена, Дорида и Гегемона приветливо улыбались, перебирая по настесту крепкими птичьими лапами. Елена кокетливо расправляла крылья, а старшие сирены, черниявые и довольно носатые, изредка произносили гортанные слова на непонятном языке. Не верилось, что с такими голосами они могут петь не то что сладостно, как отмечено в первоисточнике, но и вообще как бы то ни было.

— Молодуха вроде бы ничего, — сказал завотделом промышленности директору завода ЖБИ. — Эх, чому я не сокил! А те, что постарше, на евреек смахивают.

— Дурят нашего брата! — согласился директор. — А мы и берем что дают. — Он имел веские основания так говорить, ибо последние годы получал такой цемент, что рассказать — не поверите.

— Своих евреек не хватает, что ли? — продолжал завотделом. — Да зайди в любую поликлинику... — Но тут на них зашикали: товарищ Н. прокашлялся и начал читать приветственную речь.

Речь ему готовили Рейсмус и заведующий промышленным отделом — тот самый, который усомнился в национальности Дориды и Гегемоны. Естественно, первый уделил большое внимание гуманитарным проблемам, позволил себе вкрапить в текст стихотворные строки, второй же налегал на текущие проблемы города и области. Прочитать речь загодя товарищу Н. по занятости не удалось, так что он на ходу ужимал часть гуманитарную в пользу хозяйственной и сбился всего лишь раз-другой, да и то по вине Рейсмуса, который натыкал в текст непонятных слов, вроде Сциллы и Харибы. Вот и заявил товарищ Н., что руководство области умело прокладывает курс между Цилями и Говбиндерами. (Говбиндером звали бывшего начальника санэпидемстанции, человека склонного, неуживчивого, не

раз портившего своими придирками кровь руководству н-ских предприятий,— ну, подумаешь, выброс аммиака, нарочно, что ли, с кем не бывает. Потом Говбиндера сняли, и дышать стало легче — в фигуральном смысле, конечно.) Но в общем речь удалась. Особенно то место — о животворном потоке вод, что потекут в область из далеких речных бассейнов под звуки прославленного трио, имелись в виду Елена, Дорида и Гегемона. И вообще: добро пожаловать, дорогие зарубежные гости! Вот вам наши хлеб да соль, как говорится, не побрезгуйте...

Вынесли-таки хлеб да соль. Сирены, должно быть, привыкшие к иной пище, с недоумением глядели на расписной поднос с караваем и солонкой. Сопровождающий шепнул им что-то по-английски, те откусили от каравая по крошке и брезгливо сжевали. Потом они стали кланяться, крылом слали публике воздушные поцелуи, но от ответного слова воздержались.

Оркестр грязнул «Прощание славянки», и товарищ Н. со свитой направился к машине. По дороге он бросил заму по идеологии:

— Распорядись, чтобы им срам прикрыли. Неудобно все-таки. Молодежь смотреть будет, дети.

Весь товарищ Н. в этом: ничего не упустит, все лично проконтролирует. Потому и высока в области исполнительская дисциплина.

В тот же день в городском универмаге были закуплены розовые бюстгальтеры н-ской галантерейной фабрики, их отвезли в профилакторий химкомбината, где временно разместили сирен, заблаговременно выселив надышавшихся аммиаком химиков. Сопровождающий разъяснил гостям, как мог, что ношение бюстгальтеров такого типа есть местный обычай, сложившийся исторически. Елене и Дориде обнова пришлась впору, с полногрудой Гегемоной вышла промашка. Поскольку купленное белье не обменивают, принесли иголки, нитки и какую-то тесьму; лифчик, и без того не маленький, расставили, и Гегемона, дочь Гефеста, поворчав себе что-то под крючковатый нос, смирилась.

Товарищ же Н., вернувшись в свой кабинет, вызвал к себе ближайших подчиненных и устроил им выволочку. За этих сирен народные средства плачены, причем инвалидные, так что же мы резину тянем, товарищи? Пусть начинают деньги отрабатывать, то есть петь, то есть закреплять кадры на предприятиях города и области. Вы что, запамятали, для чего все это затянуто? Нет, товарищи

ничего не забыли, но наперед надо решить ряд вопросов. Как-то: определить первоочередные объекты, утвердить места для пения, наладить акустическую аппаратуру, подготовить тексты и соответствующую музыку, подключив для этого, наряду с отделом культуры, лучших областных поэтов и композиторов, провести тексты через художественные советы, получить где надо разрешение на их публичное исполнение, в том числе по радио и телевидению, и прочее, и прочее, включая смету расходов и технико-экономическое обоснование.

— Столько времени прошло, а вопросы не подготовлены! — бушевал товарищ Н. Крут он был, но справедлив.— Нам такое дело доверено! Все Несуглины на нас смотрят, вся страна! Не возражать! Для начала создаем управление по сиренизации. Да, так и назвать, потом уточним название в рабочем порядке. Возглавишь ты, это твой вопрос. Ставок у тебя нет? У всех нет! По заводам людей оформишь. Для них же все делается.

Умел товарищ Н. поднять людей, повести за собой. И поднялись люди, и пошли, и горы бы свернули, но встало на их пути непреодолимое препятствие, почище всякой горы — языковой барьера.

Это только говорится, что весь мир изучает наш язык. В мире-то вон еще сколько лености и косности. Ни бельмеса не понимали по-русски ни прекрасная Елена, ни ее старшие подруги Дорида и Гегемона. Говорили они на каком-то сицилийском диалекте, древнегреческого, на котором с грехом пополам мог объясняться кандидат наук Рейсмус, сроду не знали. Понимали немножко птичий английский, купить-продать-поесть-попить, но не больше. Как же петь им свои сладкие песни? «Твоя-моя-работай-надо»? Или по-сицилийски? Да кто поймет этот сицилийский! Уж на что японские острова крупнее Сицилии, так недавно японская делегация приезжала — и никто без переводчика ничего понять не мог.

Сирен засадили за изучение русского языка. А это работенка не на день и не на неделю. Одних падежей сколько у нас — помните? Верно, шесть.

О чём же, спрашивается, при таком количестве падежей вы раньше думали, товарищи энчане?

Мы нередко покупаем за рубежом то, чего у нас нет и не предвидится или есть, но лучше бы не было. Привозят это, закупленное, в красивой упаковке, липучкой обмотано, ленточкой перевязано. Разворачивают, расколачивают — мать моя родная! Ручки, кнопочки, стрелочки, и возле

каждой надпись на чужеземном языке. Даже инструкция приложена — что, куда и зачем вставлять, и одна только незадача: язык-то чужеземный.

Конечно, из-за того же зарубежья, где эту штуку с кнопками смастерили, можно выписать специалиста. Многое можно, да кто денег даст? Вот и кличут умельца Петровича из ремонтно-механического. Он и блоху может подковать, и первую главу «Капитала» недавно на фасоли выгравировал — если есть под рукой очень сильный микроскоп, можно взять и прочитать. Однако дело это сколь удивительное, столь же и бесполезное. Упаси Бог, не подумайте, будто последнее наше замечание касается великой книги. И мысли такой никогда бы себе не позволили. Говоря о бесполезности, мы имеем в виду совсем другое: зачем расходовать зерна на непищевые цели, когда в стране и так нехватка зерна, зачем ускорять износ дорогостоящего микроскопа и портить глаза, читая мелкий шрифт, когда можно зайти в городскую библиотеку, взять книгу и прочесть хоть первую главу, хоть весь том, от корки до корки. Что не умаляет редкого таланта Петровича, коим мы искренне восхищены.

Так вот, приходит наш ковец блохи, наш гравировщик по фасоли, крутит так и этак зарубежную штучку и в толк не может взять, зачем она и для чего. А тут еще голова после вчерашнего арбузом колется. Однако нельзя Петровичу срамиться перед миром. Глаза боятся, а руки делают — берет умелец одну деталь, сует в другую, ан не лезет, тогда он бормочет: «Где наша не пропадала, едрена рашипиль» — и загоняет «папу» в «маму» с хрустом и скрежетом. А выучился бы Петрович английскому или японскому, прочел бы, куда вставлять и как поворачивать, и вошла бы деталь в деталь, как нож в масло.

Какое, спросите, имеет отношение эта вставная история к событиям в городе Н.? Да самое прямое. Можно было все продумать заранее и выписать сирен со знанием русского языка. А если бы вдруг таких не нашлось или заломили бы за них несусветную цену, то послали бы туда нашего человека пожить месяц-другой между Сциллой и Харибдой, подучить Елену, Дориду и Гегемону русскому языку.

Но теперь не было этого месяца у товарища Н. и его аппарата. В любой момент Москва могла спросить — а как там у вас идет сиренизация области? как окупаются валютные средства? и не пора ли раздвигать рамки эксперимента, сделать его, так сказать, достоянием всего Не-

суглинья, а то и сопредельных областей? Не ответишь же, что-де сирены пока не задействованы, не поют — не телятся, зурбят, как школьницы, падежи и спряжения, а валютные средства тем временем заморожены.

Каждый день начинался с пятиминутки по сиренам. Вел ее лично товарищ Н. Вопросы решались оперативно. Прежде всего наладили быт Елены, Дориды и Гегемоны. Поначалу их хотели перевести в гостиницу, разумеется, не в городскую, где теснился забитый командированный люд, а в маленькую, тихую, без вывески, которая почему-то называлась общежитием. В небольшом доме, позади драмтеатра, отдыхали после государственных дел посланцы столицы и союзных республик; холодильники таили в себе благородные напитки, в вазах стояли свежие цветы, на блюдах лежали спелые фрукты — что твоя Сицилия. Но, подумав, отказались от этой затеи. Во-первых, сирены своим внешним видом не вписывались в строгую обстановку общежития, а во-вторых, они имели обыкновение время от времени затягивать в полный голос что-то заунывное на своем родном наречии, что вряд ли пришлось бы по вкусу обитателям скромного общежития.

А что, если оставить Елену, Дориду и Гегемону там, где они есть, — в профилактории химиков? Славная мысль! А чтобы не было пересудов, объявили, будто профилакторий закрыт на реконструкцию и что временно там будут проживать приезжие специалисты по эстетике и дизайну.

Проблема питания тоже худо-бедно решилась. Приписать сирен к городскому общепиту или кормить их продуктами из магазинов не рискнули — потравились бы и расторгли контракт. На н-ском же колхозном рынке цены несусветные, да и кто даст наличные на закупки съестного? Кончилось тем, что прикрепили сирен к одному буфету, поставили их на лечебное питание — так это называется. Продукты там всегда свежие и совсем дешевые. Почему так — понять не можем, там проводится, должно быть, какой-то эксперимент в области ценообразования; но мы, увы, не экономисты, а скромные бытописатели.

Надо ли перечислять продукты, которые выдавались в том буфете для лечебного питания заслуженных граждан города Н.? Может, и надо, но, составив короткий список, мы поняли, что многое знаем лишь по наименованию, а кое-что — всякие там балычки, паштетики и нежнейшие сосисочки, стоящие в банках одна к одной, как на митинге, — помним, но неотчетливо. А браться за образ, который ты можешь создать только в своем воображении,

да и то лишь приблизительно, хорошо еще, если по памяти,— занятие для художника пустое. Сколько талантов потерпело неудачи из-за безрассудного желания рассказать о том, чего не видели своими глазами!

Елена ела совсем немного: орехи, апельсины, свежую зелень, иногда немножко бульону и ножку цыпленка на обед. Дорида и Гегемона, дамы дородные, предпочитали еду поплотнее — отбивные, поросенка с хреном, судака в тесте, кулебяку. Но все три обнаружили общую гастро-номическую страсть. Первым словом, которое они произнесли по-нашему, было короткое и гордое слово — икра. Как только приближалось время трапезы, сирены взлетали на насест и выкрикивали с нетерпением и тревогой — Елена нежно и напевно, Дорида и Гегемона будто каркали: «Ик-кра-а, ик-кра-а!»

Вскоре к этому слову прибавилось много других. Пожалуй, что у себя на родине сирены привыкли честно отрабатывать свой хлеб. Вот и русский язык они изучали в поте лица, и не как-нибудь, а по самой прогрессивной методе — в непринужденных беседах, играх, музенировании и застолье. По счастливому стечению обстоятельств, в Н-ском пединституте на кафедре германских языков отыскалась энтузиастка и знаток прогрессивных педагогических течений Пелагея Артуровна Коноплева-Ланкастер, женщина большой интеллигентности, потомок двух знатных родов — нашего, российского, и тамошнего, английского, сильно обветшавших в прошлом веке, а еще сильнее в тридцатые годы нынешнего, когда и одного знатного рода для обветшания хватало с головой.

В помощь Пелагее Артуровне откомандированы были Степан Сильвестрович Рейсмус и сынок товарища Н. недоросль Климентий. Насчет недоросля это мы так, для красного словца. На самом деле Климентий был не чужд педагогической науке: чтоб собак не гонял (это выражение его уважаемого отца), одаренного юношу приставили лаборантом к кафедре, где доцентствовал Рейсмус. Вот как переплетаются человеческие судьбы, и зря критики бранятся, что авторы распоряжаются своими героями как хотят. Сама жизнь, знаете, подбрасывает такие сюжеты!

К слову сказать, собак Климентий вовсе и не гонял, а проводил время в компании хорошеных девиц и воспитанных юношей. Помимо просмотров зарубежной видеопродукции, компания потанцовывала, выпивала и закусывала, а также покурировала разное и предавалась другим приятным занятиям — дело молодое. А собак и в помине

не было, это товарищ Н., опытный оратор, вставлял их в речь для образности. Собак и кошек в городе Н. перевели: в городские инстанции поступали письма трудящихся, что, дескать, из-за них, из-за кошек и собак то есть, людям есть стало нечего, и продовольственную программу нам не решить, пока эти твари будут поедать мясо тоннами. А если их передавить, то заодно можно решить проблему острого дефицита меховых изделий. На пожелания трудящихся положено откликаться, в городе Н. так заведено, и собак сохранили лишь редкие вольнодумцы, вроде упоминавшегося (и отнюдь не добрым словом) диссидента Говбиндера.

Климентий, вступив на педагогическое поприще, не баловал кафедру частыми посещениями, но, к удивлению Рейсмуса, вызвался помочь ему и почтенней Коноплевой-Ланкастер.

Как жаль, что занятия в профилактории остались в прошлом и вы, уважаемый читатель, даже одним глазком не можете заглянуть в спортивный зал, где блестательный режиссер, несравненная Пелагея Артуровна ставила свой педагогический спектакль!

— Сегодня мы с вами, дорогие друзья, на ткацкой фабрике,— громко и внятно говорила Пелагея Артуровна, наигрывая на фортепиано «Марш энтузиастов».— Вы, Гегемона Гефестовна, знатная молодая ткачиха, не правда ли?

— Я есть ткачиха,— мрачно соглашалась Гегемона. Она сидела нахолившись на гимнастической перекладине, облаченная в полюбившийся ей розовый шелковый лифчик.— Я сверхвыполнила государственный приказ на значительное число процентов.

— Перевыполнила, милочка, перевыполнила,— поправляла доброжелательно Коноплеву-Ланкастер.— И не приказ. Мы говорим «план».

— Хочу быть передовичка! Передовуха? — капризно кричала, раскачиваясь на кольцах, Елена и хлопала белоснежными, под стать плечам и шее, крыльями.

— Я намерена быть начальник месткома, лидер рабочего движения,— вступала в игру Дорида.— Мне указано отправлять передовую работницу во здравницу. Каждый владеет правом отдыхать, не так ли?

Потом хором пели «Марш энтузиастов». И Климентий, нёмного циничный, как вся нынешняя молодежь, но это напускное, это от застенчивости, Климентий тоже подпевал, не спуская глаз с прекрасной Елены.

Еще была сцена сватовства: Пелагея Артуровна исполняла марш Мендельсона, а Климентий с букетом роз объяснялся в своих чувствах Елене.

— Вы противный мальчишка! — кричала она в ответ.— Молотовоз... нет, молоконос! Я хочу пожениться на солидный мужчина.

— Выйти замуж, милочка! — задыхалась от смеха Пелагея Артуровна.

Гегемона Гефестовна и Дорида Вакховна презрительно улыбались.

Климентий, надо отдать ему должное, никаким молотовозом, а тем более молоконосом, не был. Обращаясь с девицами он умел и порою в этой невинной игре позволял себе лишнее. Тогда Елена хлопала его крылом, приговаривая: «Противник такой!» Климентий краснел, отдергивал руку и бормотал: «Ну, Ленка...»

Спора двигалось изучение языка. И другие дела на месте не стояли. Написаны были тексты, положены на музыку. Облгорлит в трехдневный срок рассмотрел песни сирен и предложил изъять из них названия некоторых предприятий, наименования некоторых видов продукции и объемы производства, а также рекомендовал, ни на чем не настаивая, смягчить определенные формулировки, чтобы не заострять внимания слушателей на отдельных негативных явлениях жизни города и области. Формулировки смягчили, жалко, что ли.

Наконец все было готово. Прямо скажем, вовремя, потому что по городу вновь поползли слухи.

Повинен в них был все тот же бывший начальник санэпидемстанции Евсей Савельевич Говбиндер, заслуженно пострадавший за свою настырность и страсть быть всякой бочке затычкой. «Ишь, природоборец, чистого воздуха ему захотелось! — приговаривал товарищ Н. уже после того, как Говбиндера отправили на пенсию.— Экология, видишь ли, страдает. И слово-то какое выдумали: эко-логия! Русских слов им мало... Иди-ка, друг, на заслуженный отдых и размышляй там о своей экологии».

И Евсей Савельевич размышлял. Особенно во время прогулок с фокстерьером Выбросом — собаку он так называл исключительно для того, чтобы досадить руководству городской промышленности. Он и письма писал в разные инстанции. Когда в Энку шарахнули по нерасторопности цистерну мазута, по сигналу правдолюбца приехала из Москвы комиссия. Факт подтвердился, но решено было мер не принимать, поскольку вскоре, после переброски то

ли амурских, то ли миссисипских вод, это уж как решат, вода в Энке так разбавится живительной влагой, что в нее хоть цианистый калий сыпь ведрами.

Такие жалобы товарищу Н. что тебе булавочные уколы. Не опасно, но надоедливо. В лечебницу бы таких отправлять, да вышло уже из моды. На учет в психдиспансер Говбиндера все же поставили — на всякий случай.

В один прекрасный день Выброс затащил Евсея Савельевича на окраину города к профилакторию химиков. И там он ни с того ни с сего залился лаем, вылез из ошейника, мерзавец, и, найдя дыру в ограде, рванул что есть мочи на территорию, где выгул собак запрещен категорически. Говбиндер кряхтя тоже полез в дыру и остолбенел: меж акаций разгуливали три гигантские, не меньше страуса, птицы и время от времени издавали гортанные звуки: ик-крана-а!

Тут Евсею Савельевичу все стало ясно: прикрываясь липовой реконструкцией, превратили, значит, оздоровительное учреждение в закрытое откормочное хозяйство. Причем наверняка после забоя птица в торговую сеть не попадет, а разойдется по буфетам.

В праведном гневе Евсей Савельевич позвонил из уличного автомата в газету. С редактором его, конечно, не соединили, он вылил свой гнев на секретаршу, та шепнула словечко подруге, и весть об откормленных спецптицах пошла гулять по городу.

Никакого воображения не хватит, чтобы описать, какие громы и молнии метал товарищ Н., когда ему доложили об этих нелепых слухах. Отбушевав же, он начал действовать. Прежде всего связался с компетентными органами и попросил проследить происхождение слухов. (Нелишне заметить, что в городе Н. и одноименной области некомпетентных органов нет и быть не может, мы просто отдаем дань традиции.) Компетентные без труда вышли на пенсионера Говбиндера и провели с ним беседу, которой оказалось достаточно, чтобы он с той поры выгуливал Выброса исключительно на своем дворе, а в чужие дворы и дела больше не совался.

Далее товарищ Н. вызвал к себе редактора городской газеты и поручил ему подготовить публикацию, что тот и выполнил лично, не доверяясь даже лучшим перьям области.

Статья получилась как игрушка. В разделе новостей искусства под изящным заголовком «Все музы — в гости к нам» сообщалось, что по приглашению областной фи-

лармонии в городе гостит вокальное трио из Сицилии, которое в скором времени выступит перед энчанами с исполнением старинных и современных сицилийских народных песен, и что выступают певицы, согласно национальной традиции, в особых костюмах, стилизованных под птичье оперение, а для репетиций им передан временно профилакторий химиков, реконструкция которого вот-вот начнется. Еще редактор хотел в конце статьи пошутить и написал — хороши бы мы были, если бы, подобно туземцам-каннибалам, замахнулись ножом и вилкой на наших дорогих зарубежных гостей.

Шутка в газету не попала, вы ее там не ищите: товарищ Н. решительно вычеркнул ее в гранках остро отточенным синим карандашом. Государственный ум проявляется не столько в словах, сколько в действиях.

5

Как же распухла, однако, четвертая глава! Но короче нельзя. Не имеем права. Сколько раз бывало такое, что с водой выплескивали ребенка. Нет уж, пусть воды поболе, зато ребенок останется.

Теперь наконец мы подошли вплотную к тому погожему летнему утру, когда над городом Н. и его окрестностями впервые полилась сладкая сиренья песнь.

В этот день ответственные работники заняли свои рабочие места не в девять утра, как им положено, а с первыми петухами. Это так говорится — с петухами, где их возьмешь, разве что мороженых венгерских из Москвы с проводником или с оказией. Не все аппаратчики знали, для чего велено им явиться на службу так рано (вот вам еще языковая закавыка — совсем недавно аппаратчиками называли лиц скромной рабочей профессии, а ныне так именуют и людей высокого полета, которые в своих кабинетах размышляют о наших с вами судьбах и решают, что нам с вами нужно и полезно, — метаморфоза покруче, чем с первыми петухами). Но и те, кто не знал, точно так же, как посвященные в курс дела, дисциплинированно выполняли свои функции, с вопросами к начальству не лезли, разъяснений не требовали. Каждый знал свой маневр.

Хорошо отлаженный аппарат создал товарищ Н. в городе и области! Пользуясь случаем, сообщим сугубо конфиденциально то, что упорно скрывали прежде, более того, пытались то и дело повести читателя по ложному

следу. На этом, ключевом этапе повествования наш читатель вправе знать настоящую фамилию товарища Н.: Нехватайло.

Вам приходилось бывать когда-нибудь на командном пункте фронта или хотя бы армии за час-другой до генерального наступления? Нет? Нам тоже. Однако, начавшись мемуарной литературы и насмотревшись военных фильмов, мы живо представляем себе эти КП — в филевской ли избе, в фамильном ли средневековом замке или в блиндаже на лесной опушке.

За столом сидит немолодой человек с волевым подбородком, его полевой маршальский мундир скромно увенчан рядами орденских планок. Нет, скорее, он расхаживает по комнате, мельком бросая взгляд на карту, расстеленную на большом столе. В комнату то и дело вбегают бойкие штабные офицеры, порученцы и ординарцы, заходят и вытягиваются перед командующим бритоголовые генералы. Они в который раз склоняются над картой будущего сражения, перебрасываются короткими репликами и поглядывают на часы. Последние указания — командующим артиллерией, связью, авиацией, бронетанковыми войсками. И вот уже самое время, скрывая напряжение, размять пальцами папиросу, глубоко затянувшись, бросить мужскую, соленую, солдатскую шутку, всем вместе хохотнуть над нею и вновь отдернуть левый рукав кителя, чтобы глянуть на часы...

Нечто подобное происходило в кабинете товарища Н. Один за другим по его вызову входили заместители и помощники, заведующие отделами и начальники управлений, руководители предприятий.

— Проверить! Об исполнении доложить! Идите. У вас все готово? Хорошо. Люди расставлены? Техника не подведет? Идите...

В круговороти последних проверок товарищ Н. не забыл вызвать к себе начальника горпромторга. Если продолжить наши, не знаем уж, уместные ли, аналогии с КП, этого не последнего в городе Н. человека следует сравнить с командующим тылом — есть такая военная должность. Ничего не имеет права упускать полководец, всякое упущение может обернуться разгромом: потому что в кузнице не было гвоздя... Но зачем же в такие напряженнейшие минуты вызвал товарищ Н. начальника промторга, человека, повторяем, влиятельного, но не имеющего вроде бы никакого отношения к предстоящей операции?

Когда торговый руководитель вошел в кабинет, товарищ

Н. поманил его пальцем и велел приблизиться. Чеканя шаг по ковровой дорожке, начальник горпромторга приблизился. Товарищ Н. велел ему наклониться. Тот наклонился. И только тогда товарищ Н., чуть приподнявшись в кресле, шепнул на ухо распоряжение. Кроме них, в кабинете не было в ту минуту ни единой живой души; надо понимать, какой секретности было это распоряжение, если товарищ Н. дал его шепотом!

Теперь, по прошествии времени, можно, наверное, рассказать, что же шепнул товарищ Н. на ухо своему подчиненному. По прошествии времени и не такие государственные тайны раскрываются.

Помните ли вы наше рассуждение о тихом гроссмейстерском ходе, который скажется еще не скоро, но в конце концов решит шахматную партию? Товарищ Н., гроссмейстер управления, хотел лично убедиться в том, что этот тихий ход уже сделан.

Чтобы не томить читателей, скажем прямо: товарищ Н. распорядился изъять из продажи некоторые промтовары, не очень-то ходовые, из числа тех, что и при известных издержках нашей торговли почти всегда можно найти в хозяйственных... Пст! Ни слова больше. Мы и так слишком много выболтали — беда всех литераторов, творящих в соавторстве: один, может, и промолчал бы, а вдвоем никак не удержаться. За примерами ходить недалеко, всевозможные братья эвон как расписались: Гонкуры, Гриммы, Стругацкие, Вайнеры. И мы не исключение. Впрочем, нашему читателю мы доверяем полностью, зная, что любой сообщенный ему факт дальше никуда не пойдет.

Под ветром шелестела листва, чирикали воробыи, солнце поднималось в небо. Приближался час «икс».

Товарищ Н., отогнув белоснежную манжету, смотрел на циферблат наручных часов. Брови нахмурены, властные губы твердо сжаты, подбородок чуть приподнят. Рядом — верные соратники, тоже смотрят на часы, каждый на свои. Бегут круг за кругом секундные стрелки, ни одна не опережает и не отстает, все выверены по главной стрелке, той, что на часах «Сейко» товарища Н. Вот уже пошла она последний круг, и товарищ Н. разомкнул сжатые губы, начал считать.

Будто отпуская в просторы Вселенной космический корабль, товарищ Н. вел обратный счет: десять... девять... восемь... И соратники его, не отводя глаз от своих циферблатов, согласно кивали головами и шептали про себя: семь... шесть... пять... В унисон, простите за штамп, но

иначе не скажешь, бились их руководящие сердца: четыре... три... два... один...

Товарищ Н. поднял от часов тяжелую лобастую голову, откинулся в кресле, улыбнулся доброй, неповторимой своей улыбкой и сказал простое, душевное «поехали». И махнул рукой.

6

Настоящая фамилия товарища Н.: Невидайло, Неслыхайло, Несказайло (нужное подчеркнуть).

7

И только товарищ Н. махнул рукой, как над городом понеслась песнь:

Путник усталый, скажи мне, куда и зачем ты стремишься?
Гонит тебя и терзает странствий могучая сила...

Диспозиция была продумана загодя. Сирен разместили не в студии, а более демократично — на виду у народа, с тем, однако, чтобы вести прямые репортажи и по местному радио и телевидению. Дориде доверили важнейший пост у желдорвокзала, где ее одним из первых услышал и увидел Семен Семенович, путник не столько усталый, сколько проголодавшийся, а также студент молочного техникума Алеша, который, скажем это сразу, так и не повидался со своей теткой и ничегошеньки не купил в Н-ской торговой сети. Гегемона разместилась поближе к окраине города, на колхозном рынке. И это место, если вдуматься, надо признать удачным. Во-первых, на рынок съезжались со своим недешевым товаром труженики села из других областей и даже республик; во-вторых, поблизости находился городской автовокзал, сюда приходили и отсюда уходили вдаль усталые автобусы, связывающие город с населенными пунктами Несуглинья; в-третьих, и это, быть может, важнее всего, рядом проходила окружная автодорога, по которой день и ночь мчались мимо города Н. чужие, незакрепленные трудовые ресурсы.

Соблазнительно было устроить сиренний пункт и в аэропорту Калиновка-2, где частенько по метеоусловиям далеких и близких портов, по неприбытию самолетов и еще черт знает почему, по причинам, неведомым самому Аэрофлоту, всегда томились представители всех слоев и прослоек нашего общества. Но в наличии были только три

сирены. Мало, конечно, но какому еще областному руководителю удалось бы выбить и столько? В аэропорту поставили репродуктор, и сладкая сиренья песнь пошла в межзвездный эфир, а заодно и местную радиосеть, заполняя паузы между сообщениями о задержанных, неприбывших и заблудившихся рейсах.

Поставив на фланги Дориду и Гегемону, товарищ Н. принял стратегическое решение бросить основные силы в центр. Там, на острие удара, находилась прекрасная Елена, дочь Ипполита. У нас и в мыслях нет кинуть тень на выдающиеся вокальные данные Дориды и Гегемоны, но женская привлекательность Елены — ее глаза, белоснежные зубы, атласная (там, где нет перьев) кожа, лебединые перья (там, где они прикрывают атласную кожу), мраморные плечи, наконец, безукоризненная грудь, да, грудь, мы не побоимся этого слова — ее женская привлекательность, дополненная сладостным голосом, должна была как магнитом тянуть к себе мужские трудовые ресурсы. О, как сексапильна Елена, дочь Ипполита, что подтвердит и Климентий, сын товарища Н.!

На площади, спиной к главному дому города и области и лицом к пожарной каланче, охраняемой обществом «Пращур», поставили добротно сколоченную, солидно выкрашенную деревянную трибуну, ту самую, на которую по праздничным дням выходили самые уважаемые руководители во главе с товарищем Н. Нескончаемым потоком (такой образ несколько раз использовала городская газета) шли мимо трибуны трудящиеся, несли разные портреты и картинки, изображающие изобилие, а также лозунги — дадим! выполним! реализуем! повернем! (это о реках) и прочие категорические обещания неизвестно кому. Еще несли по площади образцы продукции своих прославленных предприятий — мешки с удобрениями, огромные молочные бутылки, пустые, конечно, декоративные, снаружи, по картону, крашенные белилами, везли на грузовиках тяжеленные квартирные блоки, катили на серебристых тележках штуки сукна и драпа — все выставляли на обозрение, исключая, разумеется, ту продукцию, которую не то что показывать, но и называть не везде дозволяется. Поэтому колонну предприятия АГ-518 украшали плакаты и лозунги общеполитического характера, а в тележках на дутых, от автомобиля «Москвич», шинах лучшие люди завода везли в качестве образцов продукции не... надо же, чуть не проговорились, словом, везли любовно отполированные лопаты из набора «Землекоп-любитель». Из вися-

ших по углам площади репродукторов неслись, поддерживая ритм, бодрые призывы, а трудящиеся каждый из них завершали раскатистым «ур-рр-pal», будто собирались отбить у французов батарею Раевского или на худой конец занять трибуну, захваченную товарищем Н. и его приближенными. Конечно же, мирным горожанам и в голову не приходило брать батареи и трибуны, кричали они отчасти по привычке, отчасти из опасения быть неверно понятыми. Тем более что лозунги были правильные, понятные.

Поддерживали люди линию, которую проводил в Н-ской области товарищ Н. (Окончательно и бесповоротно назовем в этом месте повествования его верное имя: Нехлебайло.) А товарищ Н., строгий и добрый, стоял на трибуне,— то подымал руку в легионерском приветствии, то прикладывал ее, как бы отдавая воинскую честь — все мы солдаты,— к головному убору, серой мягкой шляпе или серой же каракулевой шапке, по сезону.

Великий, переломный для города Н. день, день начала сиренизации Несуглинья — может быть, когда-нибудь станут писать его с большой буквы? — не пришелся ни на один из больших праздников. Тем не менее трибуна сверкала на солнце, и прямо на ней, уцепившись крашеными коготками за верхнюю доску, где крепятся микрофоны, восседала Прекрасная Елена. Кумач по ее требованию сняли — скользит под когтями.

Как она была хороша! Нежные щечки, едва тронутые румянами, золотистые локоны... Лучшие перья человечества бессильны, когда речь заходит о женской красоте: куда уж нам, грешным. Даже бюстгальтер, выданный Елена по распоряжению товарища Н., лишь подчеркивал изящество ее юной груди, заставляя думать о том, что же там, под розовым шелком. Прекрасное отличается от обыденного тем, что его ничем не испортишь, даже лифчиком или какой другой деталью туалета.

Устремив взор куда-то вдаль, Елена воздушным сопрано вела свою партию:

Вечный скиталец, неужто в ложной гордыне отринешь
Тихую пристань, обитель, ложе и мирный очаг?

А с желдорвокзала и колхозного рынка ей вторили переданные по радио и усиленные громкоговорителями более низкие, глубокие, грудные (простите, что слова с этим корнем часто вплетаются в ткань нашего повествования) голоса Дориды и Гегемоны. Они тоже пели о скитальце, об усталом путнике, которому надо бы бросить

наконец долгие свои странствия и обрести приют на заводе ЖБИ, молокозаводе или номерном предприятии, где так нужны конструкторы всех категорий, старший бухгалтер и меткие ВОХРа стрелки.

Все три голоса звали, все три манили и приковывали. Но если в устах Дориды и Гегемоны строка о ложе и мирном очаге звучала просто обещанием отдохновения в конце пути или, к примеру, после трудового дня на молокозаводе, то в пении Елены слышался едва уловимый намек и на иные радости, которые путник найдет на означенном ложе.

Кстати, о ложах. По распоряжению товарища Н. в город загодя завезли раскладушки и никелированные кровати с панцирными сетками.

Хотя и можно было послушать сирен по радио и посмотреть по телевизору, уже через минуту после того, как Елена, Дорида и Гегемона по сигналу товарища Н. взяли первые ноты, возле каждой сирены собралась толпа. Самая большая возле Елены. Опустели людные улицы, лишь несколько тугих на ухо энчан недоуменно оглядывались, силясь понять, куда подевались их сограждане, только что спешившие по своим делам, толкавшие друг друга на узких тротуарах и, не извинившись, убегавшие прочь.

Заметили, сколько в предыдущей фразе собралось всех этих «ивших» и «авших», от употребления которых предостерегают студентов уже на первом курсе литинститута? Дорого обходится нам неумелость, неуклюжесть наших перьев, точнее сказать, пишущих машинок. Какими сочными красками можно бы нарисовать и кабинет товарища Н., и цеха предприятия АГ-518, и перышки Елены, и чувства, которые снедали Климентия, и коварство пенсионера Говбиндера. Стоят перед глазами живые картины, но только заправишь в машинку «Башкирия» белый лист, как блекнут краски, расплываются контуры, теряют объемность фигуры. Так и тянет бросить начатое, так и хочется сжечь написанное, как поступил некогда один взыскательный художник... Хочется, да нельзя. Кто еще может оставить свидетельство о незабываемых событиях в городе Н.? Вот и приходится нести непосильную ношу, печатать страницу за страницей, зачеркивать, восстанавливать и опять зачеркивать, а машинистки знаете сколько набавляют за грязную рукопись? Это только больших писателей печатают, что они там ни напишут, да еще преданные жены перебеляют их перемаранные черновики...

Будет ныть. Перечитали написанное, кое-что поправи-

ли, ничего получается. Бывает и поплоше, да еще выдумано от первого слова до последнего, а глядишь — и напечатано массовым тиражом. У нас же каждое слово правда.

До сих пор в событиях, нами очерченных, участвовал ограниченный контингент лиц, а в подобных случаях — это вам всякий оперативник скажет — за каждым фигурантом можно без труда проследить, что мы и делали в меру своего таланта. А о товарище Н. и говорить не приходится, он весь на виду, в перекрестье прожекторов, каждый шаг его известен. Смотри и записывай. Фамилия же его — на сей раз святая правда, ей-ей — Непринимайло. Странно даже, как иной раз расходятся фамилия и характер человека — товарищ Н. охотно принимал все новое, передовое, да и граждан принимал, вторую пятницу каждого месяца, с шестнадцати до семнадцати тридцати.

Теперь нам предстоит перенести действие в народную гущу, от крупного плана перейти к массовкам. Многим ли великим драматургам и выдающимся режиссерам удавались массовые сцены, движения толпы? Это вам не монолог какой-нибудь, это бери повыше.

За многочисленными персонажами этой истории нам все едино не уследить, а уследили бы — так жизни не хватило бы обо всех написать. Да и есть ли в том надобность? Собрались мы было взять по-научному социологические срезы, отобрать репрезентативных героев, выявить типичное и типическое, а потом умелой рукой вылепить обобщенные образы. Но поди разберись, где типичное, а где типическое, что есть частное, а что обобщенное. Один из нас позвонил сгоряча в Институт мировой литературы, пробился к самому директору, который, поговаривают, типичное от типического за три версты отличает, да толку что? Одни любезности и пожелания больших творческих успехов. Отстали наши гуманитарии от требований времени, мало дают практических, зрелых советов простым труженикам. Зарплату между тем требуют из народных денег.

Не получив квалифицированного совета от флагмана советской и мировой литературы, мы на собственный страх и риск решили поступить так: из тысяч людей, которые в качестве трудовых ресурсов были втянуты сиренами в орбиту городской промышленности, взяли наугад нескольких. Семена Семеновича со студентом Алешей, что прибыли поездом на н-ский желдорвокзал и были завлечены Доридой; столичного актера Взгорского; молодоженов Верочки и Сережу, только что закончивших мединститут;

Клавдию Михайловну, которую пение застало на колхозном рынке, где она торговала молодой картошкой; бухгалтера-ревизора Вилниса; жителя города Н. конструктора третьей категории Вячеслава. Смотрите, как удачно получается: есть рабочий — Семен Семенович, есть колхозница, есть служащий, есть представители интеллигенции — научной, технической и творческой — и даже наша прекрасная молодежь имеет своего представителя в лице Алеша.

Надо же, брали случайно, на глазок, ан вот тебе, получилось как на подбор — что твоя социология.

До чего же сильная штука, эта литература, до чего независимая!

8

Столичный актер Борис Взгорский, премьер театра-студии «У Ильинских ворот», ехал на периферийную киностудию сниматься в острожетном фильме, где он получил роль чекиста. Сценарий ему понравился. Он уже видел себя человеком с горячим сердцем и чистыми руками, погруженным в раздумья под строгим портретом человека с бородкой. Борис Взгорский умел привнести в роль нечто свое, интимное, не предусмотренное драматургом, и сейчас, когда он мчался в собственных «Жигулях» (пятая модель, двигатель от «шестерки») по трассе Север — Юг, обгоняя «Запорожцы» с ручным управлением, запыленные местные автобусы, грузовики, в трясущихся кузовах которых парни в мятых кепках ухитрялись щупать грудастых — вот привязалось, будь оно неладно, — девок, дымящие по-черному трайлеры и самосвалы, тракторы и зерновые комбайны, прущие по шоссе, словно по полю, обгоняя всю эту гримящую, тарахтящую, изношенную, обдающую нездоровым выхлопом технику, смаковал только что придуманную деталь: простенькая ромашка в нагрудном кармане пиджака, пробитого бандитской пулей и грубо заштопанного неумелой мужской рукой. И еще он шлифовал реплику, что пришла в голову минуту назад, когда мелькнул за окном пост ГАИ: «Пока вина не доказана, человек — наш, а нашему человеку надо верить!» Хорошая реплика. Актер Борис Взгорский бросит ее усталым от бессонных ночей голосом, когда прокурор, вздорный, всех подозревающий высокочка, предложит ему взять под стражу честного, оклеветанного человека...

Взгорский был опытным водителем, можно сказать, профессионалом, ибо в свободные от спектаклей дни к негустым своим актерским заработкам добавлял доходы от

частного извоза. Такой приработок, да еще в столице, недоступен тем, кто чувствует себя за рулем неуверенно. Обдумывая свою роль, Взгорский конечно же не упускал ни одной детали дорожной обстановки. Он своевременно воспринял информацию о том, что трасса покидает Л-скую область и вливается в Н-скую, хотя это обстоятельство не представляло для него ни малейшего интереса.

В Н-ской области вдоль обочины были обильно расставлены раскрашенные фанерные щиты, сообщающие путнику о внешнеэкономических связях области (тридцать семь стрелок), о том, сколько цемента, мяса, молока и яиц даст область стране в нынешней пятилетке. Конкретная информация перемежалась лозунгами, которые уверяли проезжего человека, что все планы будут выполнены, или просто, без вывертов, славили наши государственные и общественные институты. Надо отдать должное товаришу Н.— он никогда не упускал из виду такой важный вопрос, как наглядная агитация.

Агитация эта легла на сердце путнику в «Жигулях». Не вся, конечно, но касательно мяса, молока и яиц — это без сомнений. Взгорскому смертельно захотелось есть. Но и дальше мелькали вдоль дорог призывы и лозунги, а долгожданного дорожного знака с ножом и вилкой все не было и не было. Борис Взгорский выругался и слготнул слюну.

Трасса сделала плавный изгиб, и взору открылся монументальный придорожный камень с выбитым на нем и раскрашенным геральдическим изображением. Снизив из любопытства скорость, Борис Взгорский успел рассмотреть на щите колосья, кузничную наковальню, радиолампу, коровье вымя, гору яиц, напоминающих артиллерийские ядра, а также уходящую вдаль голубую ленту, должно быть, водную артерию. Надо вам сказать, что товарищ Н. лично инструктировал художника, которому поручили создать новый, соответствующий эпохе, герб города, его, так сказать, визитную карточку. Товарищ Н. распорядился, чтобы ничто значительное в энской жизни из герба не выпало. А уж художник, артистично интерпретируя указание, искусно вплел в изображение символы молочного изобилия (вымя), грядущей переброски рек (голубая артерия) и прочее, деликатно намекнув и на сугубо закрытые отрасли экономики (наковальня и радиолампа). Товарищ Н. затвердил эскиз с одной поправкой, подсказанной ему супругой Марией Афанасьевной: Мария Афанасьевна с детства обожала куриные яйца.

Пищевая символика на гербе усилила аппетит Бориса Взгорского, однако он решил не задерживаться (и правильно, наверное, решил — особых разносолов в городе Н. в то время не водилось, впрочем, как и сейчас). Сверившись с картой, на которой километров через двадцать значились долгожданные нож с вилкой, он глубже вдавил педаль газа. Машина послушно прибавила скорость, и через опущенное окно ворвалось:

Правую ногу, о путник, затекшую в долгой дороге,
Сбрось без раздумий с педали, что газ прибавляет мотору,
Перенеси ее влево и тотчас начни торможенье,
Свой автотранспорт приблизив к бордюрному камню дороги...

Неведомая сила сняла ногу Бориса Взгорского с педали акселератора («что газ прибавляет мотору») и перенесла стопу, обутую в добротную кроссовку, на педаль тормоза. Она же, эта сила, придала рукам вращательное движение, руль повернулся вправо, машина вылетела на обочину, выбрасывая гравий из-под колес, и остановилась.

Много времени спустя, вернувшись в родной театр, с неизменным успехом играя Гамлета и Дон Жуана, Борис Взгорский размышлял о случившемся в областном центре Н., но так и не смог понять, что заставило его остановить машину, вытолкнуло из нее и потянуло прямиком к автовокзалу и колхозному рынку. Неужто он, солидный мужчина, которого знают по имени-отчеству все официанты ресторана «Актер», потерял голову, как мальчишка, и опрометью бросился за позвавшей его бабой? Да ни в коем случае! Взгорский отлично помнил, как, быстрым шагом пересекая шоссе, он думал об оставленной дома жене, тоже актрисе, которая вот уже пятнадцать лет играла вместе с ним в «Гамлете» — понятное дело, Офелию, а не королеву-мать, думал с любовью и чувством вины. Но и это воспоминание не заставило его вернуться к машине, хотя бы для того, чтобы запереть ее на ключ.

Так и остались его «Жигули» на обочине, с ключами в замке зажигания. В другое время не прошло бы и получаса, как кто-нибудь влез бы в брошенную машину и угнал, если не из корыстных побуждений, так из чистого озорства, и не видать бы актеру Взгорскому своей пятой модели, разве что нашли бы ее через месяц-другой раскуроченную в дальнем овраге. Но это в другое время, а в то, о котором наш рассказ, все от мала до велика, включая угонщиков-профессионалов и хулиганов-любителей, обрывали свои дела и тянулись на сладкие голоса сирен.

Машина же... нет, мы не бросим ее на обочине, она еще возникнет самым неожиданным образом, но после, после...

Актер Взгорский скорым шагом, почти бегом, двинулся на чарующий голос в сторону рынка. Несмотря на свои сорок пять лет и склонность к полноте, он держался в форме и в случае надобности мог сделать на сцене кувырок через голову и, пожалуй, шпагат, коли потребуется. Взгорский уверенно продвигался вперед в людском потоке, стоявшем по преимуществу из молодых мужчин, надо полагать, шоферов и дорожных рабочих. В иное время его непременно заметили бы и узнали — в телевизионных спектаклях Взгорский добывал толику славы, и его крупное, слегка порочное лицо — внешность, как всегда, обманчива — было памятно многим.

Одним из первых Борис Взгорский вынырнул из заросшего сорной травой переулка, пересек плохо выметенную площадь и вбежал в ворота рынка. Прямо у входа, в рядах, где торговали когда-то битой птицей, на первом же прилавке сидела взъерошенная, немало напоминающая огромную ворону, Гегемона, дочь Гефеста, и тщательно выводила слова своей сладкой песни. Высокие ноты давались ей с трудом — она закатывала выпуклые темно-карие глаза и картино заламывала руки, сложенные на пышном, не сиреньего образца бюсте. «Какие формы, — уважительно подумал Взгорский, — и какой голос!» — но тут же забыл о формах, ибо песнь Гегемоны полностью захватила его.

Переведем стрелки часов, отсчитывающие время нашего повествования, минут этак на двадцать назад, к тому моменту, когда актер Борис Взгорский, томимый голодом, гнал свой автомобиль мимо средств наглядной агитации, столь же характерных для всего Несуглиня и, в частности, для полей и перелесков Н-ской области, как придорожные мотели и рестораны для некоторых других регионов нашего континента. Нам необходимо вернуться назад, чтобы представить остальных, наугад выбранных героев.

...Не забывая поглядывать на стоящие подле нее мешки с товаром, Клавдия Михайловна бойко расторговывала розовые крепкие клубни.

— Почем картошечка, хозяюшка? — спрашивали ее покупатели. Неужели они надеялись, что уменьшительно-ласкательные суффиксы могут как-то повлиять на цену? Вот вам наглядный пример привнесения внеэкономических методов и категорий в товарно-денежные отношения.

— Два рубля кило. Бери, не пожалеешь,— вкусная, рассыпчатая!

— А не дороговато ли? Государственная-то вон почем...

— Где же она, государственная? Ты ее сначала найди у государства, а потом почисти и погляди, что останется,— резонно отвечала Клавдия Михайловна. И была абсолютно права. Мы как-то купили пакет в овощном за каланчой — вспоминать не хочется.

Тут нам придется отвлечься ненадолго, чтобы самым решительным образом отмежеваться от вольного, в корне неправильного употребления слова «государственный» применительно к продуктам питания. Давайте рассуждать логически. Пища, независимо от ее происхождения, потребляется гражданами более или менее равномерно. В самом деле, и молодой, тратящий много энергии Климентий, не испытывающий трудностей в поиске и выборе пищи, и, скажем, пенсионер Говбиндер, который добывает свое скучное пропитание в боях местного значения на колхозном рынке и в магазинах горпищеторга,— так вот, и тот и другой, взятые в качестве потребительских полюсов, нуждаются для поддержания жизнедеятельности примерно в одном и том же количестве питательных веществ. А коль скоро они живут, то есть осуществляют жизнедеятельность, значит, получают все-таки положенные им по законам природы питательные вещества! Откуда? Да какая разница. Будь то распределитель, пардон, буфет, к которому прикреплен вместе с семьей товарищ Н., или магазин «Продукты», куда хаживает Говбиндер и иже с ним, или пыльный мешок Клавдии Михайловны — все это источники государственные. Ибо, как справедливо сказал кто-то из знаменитых, государство — это мы. Так что и икра зернистая осетровая, и колбаса ливерная растительная, которую Говбиндер тщетно пытается скормить привередливому фокстерьеру Выбросу, и картошка Клавдии Михайловны суть продукты государственные. Они, как говорили в старину, дары Божьи, а кто их передает людям, организация или частное лицо,— какое это имеет значение?

Хорошо, споро шла торговля у частного лица Клавдии Михайловны. Как права была она, что не послушала супруга своего Алевтина Ивановича, который полагал, что картошку следовало бы немного попридержать. Алевтин Иванович, отдадим ему должное, был хозяин бережливый, рачительный, но без полета воображения. Скажем прямо,

прижимистый. Из своего Ефимьева без особой надобности выезжать не любил: в городе, понятно, заработка, но и траты немалые, неизвестно еще, найдешь или потеряешь. Клавдия Михайловна, напротив, на подъем была легка, любила рискнуть. А кто не рискует, как приговаривает актер Взгорский, объявляя мизер при сомнительном раскладе, тот не выигрывает. Клавдия Михайловна настояла на своем, попутным «КАМАЗом» добралась до рынка с полными мешками, и сейчас смятые бумажки одна за другой сами лезут в карман ватной ее фуфайки — хоть и тепло, в телогрейке торговать сподручнее.

Энчане, конечно, жались поначалу, но деваться им было некуда, так что выкладывали они свои трешки и пятерки как миленькие и, наполнив картошкой авоськи и пластиковые сумки, говорили Клавдии Михайловне: «Спасибо, хозяйушка», — а она отвечала им, как в пищеторге никогда не ответят, хоть что с ними делай: «Кушайте на здоровье». Но с другой стороны, если вдуматься, какое же здоровье от пищеторговской картошки?

Клавдия Михайловна развязывала уже последний свой мешок, как услышала женский голос:

Щедрый Меркурия дар, покровителя вольной торговли,
Да не оставит тебя, торговец дарами Природы.
Но не прельщайся, молю тебя, звоном монет полновесных:
Молота звон и серпа еще более городу нужен.
Пусть же приезжий купец, владелец сокровищ несметных,
Равно как тот, кто плоды у него приобрел для вкушенья,
За руки взявшись, как братья, внимают словам Гегемоны,—
Коим и боги с Олимпа порой благосклонно внимают.

При этих словах товарищ Н., внимательно слушавший репортаж в своем кабинете, недовольно поморщился и черкнул в настольном календаре: «Куда см. Глвлт? Богов к едр. матери». А Клавдия Михайловна так и застыла над мешком. Она не знала, кто такой Меркурий, но чуяла, что в песне поется и про нее тоже. А когда посмотрела вокруг, то увидела, что очередей нигде нет, что все бегут куда-то к воротам. И она, немолодая грузная женщина, неуклюже побежала куда все, на ходу перепрятывая наторгованные деньги из кармана телогрейки в абсолютно надежное, как швейцарские банки, место, где женщины всех сословий испокон веку хранят сокровища и жалкие гроши.

...Конструктор третьей категории Вячеслав, обладатель выданного престижным московским вузом красного диплома, распределенный в город Н. пять лет назад, взял у маши-

нистки лист белой бумаги и написал давно вынашиваемое заявление об уходе. Пять лет он проработал в почтовом ящике АГ-518—предприятии сугубо секретном, настолько секретном, что автобусный кондуктор, объявляя остановку, понижал голос. «Следующая остановка,— говорил он доверительным шепотом, словно близкому другу на ушко,— следующая остановка «Военный завод». И помятые в автобусной давке, намаявшиеся в тесноте. работники предприятия спрашивали друг у друга таким же шепотом, но почему-то на южный манер, будто они тоже каждое лето отыхали в санатории «Донбасс»: «Вы встаете на следующей?» — хотя знали отлично, что на следующей встают все.

В городе Н., отадим должное кому следует, тщательно охранялась государственная тайна.

Итак, конструктор Вячеслав. Пять лет житья в общаге для молодых специалистов, пять лет пустого ожидания в неподвижной, как воды Великих Н-ских прудов, очереди на комнату, пять лет каждого дня стояния в очередях за кефиром и плавленым сырком, пять лет вычерчивания на ватмане одной и той же цапфы (какой именно, сказать по известным соображениям не можем), пять лет посещений по субботам кинотеатра имени Ворошилова, пять лет платонического (за отсутствием комнаты) ухаживания за копировщицей из отдела главного механика. К черту! Хоть на БАМ, хоть на целинные и залежные земли, если та-ковые остались в наличии. Нет, не дрогнула рука Вячеслава, когда он вывел на белом листе: «Прошу освободить меня...» Отнес лист куда следует — и ни слова об этом больше, дабы не раскрыть случайно хорошо продуманную структуру оборонного предприятия,— тьфу ты, опять проговорились, это нечаянно. Честное слово. Передав заявление в нужные руки, Вячеслав вышел на заводской двор, прошел за корпус № 17 и через дыру в высоком бетонном заборе выбрался на улицу, вернее, в тихий переулок, застроенный жестяными гаражами. Конечно, удобнее было бы через проходную, но там бы его не выпустили до восемнадцати ноль-ноль.

Территорию завода Вячеслав покинул не насовсем, а проветриться, перевести дух после отчаянного решения. Выйдя из проулка на улицу, он увидел бегущую толпу. Не понимая зачем, побежал он вместе со всеми, и толпа вынесла его на площадь, на которой акустически безупречно, будто в миланской опере, разливался неслыханной красоты женский голос:

Если, влекомый соблазном, тягою к дальним скитаньям,
С просьбою ты обратился к старшим и власть предержащим
Дать тебе полный расчет,— осознай же, о нетерпеливый,
Шаг неразумный ты сделал. Возьми заявленье обратно,
Не уезжай на чужбину, о коей ты знаешь так мало,—
Льготы и выплаты там, мне поверь, далеко не обильны...

Вячеслав поднял голову и встретился с лучезарными глазами Елены. «Может, забрать заявление?» — мелькнула у него мысль и тут же уступила место удивительному, безотчетному восторгу. «Чего уставился, козел? — грубо сказал ему стоявший рядом Климентий и ткнул кулаком под ребро.— Сирен не видел? Я тебе попялюсь!» Но Вячеслав не почувствовал боли и не услышал угрозы. Он растворился в голосе, в глазах Елены, дочери Ипполита.

«...Наш полет протекает на высоте одиннадцать тысяч метров со скоростью девятьсот пятьдесят километров в час. Температура за бортом минус пятьдесят градусов», — сахарным голосом стюардессы рассказывал репродуктор. Верочка повернула лицо к мужу, взгляд ее говорил: как славно, что за бортом мороз, а здесь тепло и мы вместе. Сережа провел пальцами по щечке жены, большого он не мог себе позволить — рядом сидел полковник инженерной службы.

«Через несколько минут наш самолет будет пролетать над городом Н., — продолжала стюардесса. — Город Н. связан экономическими связями с тридцатью семью зарубежными странами, здесь развита промышленность, есть пединститут, драматический театр, краеведческий музей, ряд величественных памятников. А сейчас, — сказал репродуктор без всякой связи с предыдущим, — вам будут предложены прохладительные на...»

В репродукторе что-то щелкнуло, зашипело, зашелестело, и прерываемый атмосферными помехами голос запел:

Вам я пою, пассажиры, летящие в сумрачном чреве
Птицы могучей и гордой, которую лайпером кличу...

По рядам пассажиров, как рябь по воде, пробежало беспокойное шевеление. Быстрым шагом прошла стюардесса, задевая крутыми бедрами кресла и плечи пассажиров.

Скорость гаси и берись за штурвал, командир экипажа,
Первого класса пилот, машину веди на снижение,
Ей уготовано место в нашей Калиновке-два...

Сережа почувствовал, что самолет куда-то проваливается, и, чтобы не потерять в этом страшном падении Верочку, крепко ухватил ее за тонкое запястье. Заложило уши, он не слышал, что кричала ему жена, и по шевелящимся ее губам пытался угадать смысл слов.

За несколько секунд самолет прорубил толстые ватные облака, и пассажиры с ужасом увидели в иллюминаторы падающую на них землю. Кругобедрая стюардесса бегала по проходу, умоляя людей пристегнуться. Сережа крепко стиснул Верочкину руку и закрыл глаза.

Ах, что за прелесть эти стюардессы! Машина только коснулась земли, затряслась на бетонной полосе, а из репродуктора полилась спокойная, будто записанная на магнитофон речь: «Наш самолет совершил посадку в аэропорту Калиновка-два. Просим всех оставаться на своих местах до полной остановки двигателей. Вы будете приглашены к выходу. Командир и экипаж...» Но стюардессу опять перебили:

Трап подают к самолету. Спустись же на землю по трапу.
Славная Н-ская область ждет не дождется тебя...

Самолет качнуло — это подали трап. Но никто к выходу не приглашал. Не обращая внимания на растерянных пассажиров, мимо них пробежали к выходу мужчины в синих костюмах с золотыми позументами, а вслед за ними и стюардессы. Оставленные на произвол судьбы пассажиры молча и остервенело бросились к трапу, чтобы как можно скорее добраться до ждущей их неведомой н-ской земли. Измятые, забыв про багаж и ручную кладь, они шли к зданию аэровокзала, влекомые волшебными звуками.

Уже на трапе, прижимая к себе онемевшую от ужаса Верочку, Сережа вновь услышал пение, которое ворвалось в эфир во время полета, оно неслось из громкоговорителей и, со всей очевидностью оставляя Верочку равнодушной, тянуло Сережу, как звуки волшебной флейты. Сережу и Верочку куда-то понесла толпа, неизвестно как они очутились в такси с чужими людьми, потными и измятыми, из приемника лилась та же песнь, и таксист гнал как сумасшедший, презрев дорожные знаки и сигналы светофоров. Они затормозили у вокзала, и все, вместе с шофером, вылезли из машины и двинулись на голос. Полуженщина-полуптица пела в микрофон, установленный в кузове грузовика. Мы-то знаем, что это была Дорида, дочь Вакха. С другой стороны, от вокзального перрона, к тому

же грузовику в тот же час шли завороженные пением Дориды Семен Семенович и его юный попутчик Алеша.

Бухгалтер-ревизор Вилнис проснулся в «полулюксе» городской гостиницы довольно поздно. Проснулся он от сильной головной боли, происхождение которой не вызывало бы сомнений даже у Верочки и Сережи, хотя дипломы врачей они получили лишь на прошлой неделе. Конечно, Вилниса они пока не знали, им еще предстоит познакомиться, мы это просто к тому, что поставить диагноз в данном случае было сущим пустяком.

Вчера очередной наш герой закончил финансовую ревизию на молокозаводе. Тот руководитель, который без греха, пусть первым бросит камень в бухгалтера-ревизора Вилниса или в скромных авторов этих строк. Вот и в данном случае руководство молокозавода камней не бросало, а, напротив, предприняло попытки сунуть нечто на ощупь совсем не твердое в карман его пиджака. Вилнис проявил твердость духа, даваемого не принял, руководству указал на преступное неприличие поступка, но вот за ужином, увы, не устоял — за день не выдалось времени перекусить, а на голодный желудок, сами знаете...

Постанывая от боли в висках и отвратительной тошноты, Вилнис опустил ноги с кровати и, пошатываясь, встал. Какая гадость эта местная водка! Из чего они ее гонят, злодеи, из нафталина, что ли? Встряхнуться, принять таблетку, взбодрить себя громкой музыкой, принять душ. Вилнис доковылял до письменного стола, на котором стоял гостиничный репродуктор, включил его, но ничего не услышал. С перепоя (он был безжалостен к себе и называл вещи своими именами) Вилнис совсем забыл, что с вечера по обыкновению сунул в уши особые тампоны — изобретение большого московского ученого, — дающие возможность отключиться от внешнего мира, забыться и заснуть.

Бухгалтер-ревизор Вилнис извлек затычки из своих крупных, заросших волосом ушей и услышал... Вы уже знаете, что услышал бухгалтер-ревизор Вилнис. И потому не удивитесь, что через несколько минут он уже стоял в безмолвной толпе и жадно впитывал в себя сладкую песнь. Вы спросите, где он очутился — на главной площади, у желдорвокзала, на колхозном рынке? Да какая разница!

Для нашего повествования это не имеет ровно никакого значения. Важно, что Вилнис прибежал сюда в чем спал, то есть в сатиновой пижаме — темно-коричневой в зеленую полоску; если бы она не была так измята беспокойной

минувшей ночью, ее, пожалуй, издалека можно было принять за пиджачную пару. Вы по-прежнему настаиваете? Хорошо. Бухгалтер-ревизор Вилнис находился на площади перед трибуной, с которой пела Елена. Сами бы могли догадаться: гостиница в городе Н. построена в самом центре, между каланчой и горсоветом.

9

Подровняв наших героев во времени, вернем стрелки часов на прежнее место. Но, прежде чем двинуться дальше, в который уже раз подивимся вместе поразительной прозорливости товарища Н., его умению концентрировать силы и средства на решении главной задачи. Однако не перегибаем ли мы палку, всякий раз превознося достоинства нашего главного героя? Увы, вопрос в духе времени, времени переменчивого и смутного, характернейшая особенность которого — во всем сомневаться, очернять наше прошлое и настоящее, расшатывать устои, мазать дегтем и вываливать в перьях достойнейших людей, единственная вина которых заключается в том, что они занимают руководящие кресла. Ну да ладно, не об этом здесь речь, просто вырвалось, что в душе наболело.

Если помните, в истории, которую поведал человечеству наш древнегреческий коллега-литератор (а не помните — перечитайте, а не читали — прочтите, любопытная вещица — на уровне своей эпохи, разумеется), сирены завлекали несчастных моряков на свой уютный островок и там делали с ними что хотели. Если говорить откровенно, такое удается и самим что ни на есть обычновенным женщинам, не то что без голоса и слуха, а и без многоного чего еще.

Задача же, поставленная товарищем Н. перед сиренами и всем городским активом, была качественно иной. Требовалось не просто завлечь, морально заинтересовать усталых путников, но и превратить их в трудовые ресурсы. То есть направить проснувшуюся мужскую энергию в производительное русло.

Больше часа уже пели сирены. Вокруг Елены, Дориды и Гегемоны собирались многотысячные толпы — там, будто притянутые магнитом, находились все путники, попавшие в зону звуковой досягаемости, независимо от избранного ими способа путешествия. Если бы переброска рек была к тому времени уже завершена, то нет сомнения, что и речные путешественники примкнули бы к трудовому воинству, собранному под энскими знаменами.

Говоря деловым языком, кадры были собраны. Осталось их закрепить.

Кто бывал в Н., тот не мог хоть раз не пройтись по проспекту, гордости и славе города. Он берет начало от главной площади и, оставляя слева краеведческий музей, а справа кинотеатр имени Ворошилова (трудно избавиться от старых привычек, «Иллюзион», конечно же, «Иллюзиона»), прошивает насквозь всю городскую застройку, строго держа курс на восток. Это очень широкий, не побоимся сказать, столичный проспект, засаженный молодыми, но уже далеко окрест разбрасывающими свой белоснежный пух тополями (и на это успел нажаловаться сующий во все свой нос пенсионер Говбиндер), застроенный современными зданиями — те, что постарше, с колоннами и богатой лепниной, со статуями трудящихся на крышах, а те, которые поновее, — без излишеств, бетонные блоки и окна без форточек; все как у людей. Когда-то, говорят, здесь была паутина старых улочек, торчали маковки церквей, уходили в землю замшелые стены лабазов и мещанских домов. Много потрудились местные зодчие и строители, чтобы снести весь этот хлам до основания, а затем — построить новую городскую артерию.

Вот только с названием проспекту не везло: устали вывески менять. То назовут в честь лица, чье имя год другой спустя и упоминать становится неприлично, то в честь события, о котором стараются забыть поскорее. Последний раз нарекли его проспектом Энтузиастов Переброски. Казалось бы, надолго, но уже к тому моменту, на котором мы задержали ваше внимание, пошли зловредные разговоры о том, что, дескать, Москва не согласна ни на Амур, ни на Миссисипи, так что, возможно, придется еще раз свинчивать с домов вывески. Надо ли говорить, что у истоков этих ненужных разговоров был все тот же Говбиндер?

В проспект Энтузиастов Переброски впадали в тот день три потока — с площади, вокзала и рынка. Слившись воедино, полноводная людская река катила свои волны под тополями. Впереди на автомобильной платформе, как на ладье, плыли Елена, Дорида и Гегемона. Их голоса соединились в безукоризненное трио:

Вспомни метанья свои, путь свой тернистый и тяжкий.
О, как ты был одинок, боги забыли тебя.
Ныне же ты в коллективе; каждый, кто рядом с тобою,
Это опора твоя, друг, товарищ и брат.

Товарищ Н. в своем кабинете прислушивался к льющейся из репродукторов песне. Он согласно кивал головой и лишь слегка поморщился и раздраженно потеребил депутатский значок на груди (простите, опять это слово, но никуда не денешься — депутатские значки только на груди и носят) при очередном упоминании о богах: не надо бы этого. А тысячам людей, которые неотступно следовали за платформой, было не до Бога и не до черта. Отталкивая друг друга, они стремились пробиться поближе к платформе; молодые и ловкие висли на бортах, протягивали руки к сиренам, но тщетно, тщетно...

Вся эта суэта в микромире толпы — непредсказуемое, броуновское движение ее частиц — не отражалась на целеустремленности макромира. Хорошо спланированный поток ровно катился по проспекту Энтузиастов Переброски, миновал последние городские строения, пересек полноводную Энку по мосту имени Энсовета и устремился по шоссе на восток. Полчаса спустя платформа с сиренами — и толпа вслед за нею — свернула на грунтовую дорогу и вскоре остановилась возле высокой бетонной ограды напротив двустворчатых ворот, крепко сработанных из толстых железных прутьев. Свежий пригородный ветер выгибал красный кумач, натянутый над воротами, с начертанными на нем словами:

«ОТВЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ НА ПЕНИЕ СИРЕН!»

Лозунг придумал лично товарищ Н. Сначала он поручил подготовку призывов редактору областной газеты, бросив ему на подмогу доцента Рейсмуса. Те насочиняли много всякого интеллигентского — фразы долгие, корявые, все в запятых и двоеточиях; пока доберешься до конца, забудешь начало. Товарищ Н. ознакомился, взял синий карандаш, перекрестил написанное и начертал свое, вам уже известное. Вызвал к себе завотделом промышленности — тот слыл большим докой по части подъема трудового энтузиазма — и сказал: «Твое мнение?» Завотделом прочел, перечитал, посмаковал немного, покатал на языке и одобрил: «О це дило!» И он был во всех отношениях прав, потому что слово и дело у нас никогда не расходятся.

На следующий день лозунг, гарно намалеванный лучшими специалистами художественного комбината, был натянут над воротами, уже известными вам, дорогой читатель.

Едва процессия с сиренами во главе появилась из-за

поворота дороги, ворота со скрипом отворились, и сирены, не прерывая пения, въехали за ограду. Толпа было хлынула за ними, но на ее пути появились неведомо откуда крепкие молодые мужчины в ладно сидящих костюмах, вроде бы все разные, но в то же время как будто все одинаковые. «Соблюдайте порядок, граждане! — призывали молодые мужчины. — На этой территории размещаются только приезжие! Просим предъявлять паспорт. У кого местная прописка — пожалуйста, по домам. Остальные проходите, не задерживайтесь...»

Быстро и решительно был наведен порядок. Сирены ненадолго смолкли, и тем временем местных жителей повернули назад, в город. Как ни хотелось послушать еще, сказано же было: по домам, — а исполнительская дисциплина поставлена была в городе Н. на значительную высоту. Итак, свои отбыли, а приезжих одного за другим всосали ворота. Всосали и захлопнулись. И снова запели сирены.

Потом всякое говорили и об этих воротах, и об ограде, и о порядках на территории. Всякое и ненужное. Про колючую проволоку, про вышку с часовыми, про караульных собак. Вздор все это.

Да, вышки были, не станем отрицать. При большом скоплении народа возможны разного рода нарушения общественного порядка, а за порядком лучше всего наблюдать именно с вышки: сверху виднее. Проволоки не было вовсе, не было в ней нужды, потому что вокруг мест, куда стягивались трудовые ресурсы, привлеченные пением сирен, заблаговременно возвели железобетонную ограду в два человеческих роста — завод ЖБИ ради этого встал на ударную вахту. Между прочим, и это было сделано по прозорливому распоряжению товарища Н., подлинная фамилия которого — тут мы вынуждены раскрыть все карты — Недремайло. Товарищ Н. и эскизы набросал, и высоту указал: 3,5 м. Так и начертал синим карандашом: «Высота 3,5 м».

Что же до караульных собак, тут вообще смех один. Это надо же принять за караульных собак фокстерьера Выброса! Спору нет, голос у него звонкий, но тембр совсем другой, пустой тембр, брех, а не лай. Так что и здесь имеется налицо массовое заблуждение, возможно, что и провокация. К тому же возникает вопрос: как попал вздорный пес в места сосредоточения трудовых ресурсов, столь удаленные от домовладения, в котором прописан его хозяин пенсионер Говбиндер? Может, фокстерьер потерялся?

сбежал из дома? Увлекся какой-то течной сучонкой и потерял голову? Нет и еще раз нет. Бывал он за железобетонным забором вместе с хозяином. А что там делал Говбиндер, как проникал за ограду — представить нетрудно: мы имели уже немало случаев убедиться в его настырности и неусыпном желании всюду совать свой длинный нос.

Мы отвлеклись единственно затем, чтобы решительным образом отмести нелепые слухи. Вернемся же к реальным событиям.

Всосав последнего усталого путника, ворота захлопнулись. Грузовик с сиренами остановился в дальнем конце обширного плаца, толпа рассыпалась, заколыхалась, деловитые молодые люди в костюмах быстренько превратили ее в правильное кафе. Живописность при этом исчезла, зато восторжествовал порядок. Извечная истина: для выигрыша в большом надо пожертвовать малым.

Быстро были переписаны имена и профессии, в считанные минуты тысячи людей были распределены по баракам. Не стоит морщиться, не стоит, слово как слово, типовые сборные дома, аккуратные, совсем новые, каждый на сотню обитателей, просторные помещения с трехэтажными спальными местами, крепко сколоченными, пахнущими свежей стружкой. На каждом спальном месте постельное белье и опрятное серое одеяло, все подровнено, все складочки параллельны. Удобства, сами понимаете, во дворе, но чисто, ладно, продуманно: алюминиевые умывальники в ряд, отверстия в отхожем месте как по линейке. В каждом доме — все-таки слово «барак» здесь не совсем уместно, скорее подходит «коттедж», разумеется, коттедж, как это мы раньше не сообразили! — в каждом коттедже свой красный уголок с соответствующими плакатами, шашками и домино, с особым окошечком, над которым написано: «Выдача письменных принадлежностей с 20 до 21 часа». Все предусмотрено, во всем полный порядок.

Колонной по четыре двинулись к столовой, получили ложки с мисками, расселись за длинными столами, а тут повара в белых халатах поверх полевой формы приволокли бачки с обжигающим супом. И не их, поваров, вина, что позже вошло в обиход обидное, кривым зеркалом отражающее действительность, название «баланда». Есть еще среди нас люди, которые тщатся принизить наши достижения, выпятить недостатки, облить все, вплоть до самого святого, грязью. Не выйдет! Питательный был суп, не лишенный некоторых вкусовых свойств, полностью удов-

летворяющий средние физиологические потребности. А они — баланда...

Организованно откушали суп, встали разом, ополоснули миски и ложки, построились. Конечно, не сами вдруг построились, а по команде — веселой, бодрой, но требовательной. Иной команда и быть не может, на то она и команда, не просьба, не приглашение.

За железобетонной оградой с вышками, кои необходимы для поддержания общественного порядка в местах массового сосредоточения трудовых ресурсов, по плану, утвержденному товарищем Н., в рекордно короткие, не ведомые ни одной стране мира сроки, было воздвигнуто немалое число коттеджей. Число это в точности нам не известно, поскольку и мы не ко всем документам допущены. По прикидкам же старика Говбиндера, который знает больше, чем ему положено, коттеджей было не меньше трех десятков. Однако и того не хватало: не каждому из тех, кто добровольно собрался за оградой по зову Елены, Дориды и Гегемоны, досталось свое спальное место. Пришлось выставить в проходах раскладушки и кровати с панцирными сетками — те, что завезли загодя по личному распоряжению, конечно же, всевидящего товарища Н., чье имя, простите авторам невинную ложь, к которой они то и дело прибегают из соображений высшего порядка, чье истинное имя Недоставайло.

Да и так ли уж важно в конце концов, сколько было коттеджей — тридцать или сорок? Во всех нам все равно не побывать, так давайте же прибегнем к старому как мир литературному приему: покажем общее через частное. То есть через типичное (или типическое? вот позор-то, ведь так и не удосужились разобраться, а дела-то всего на десять минут). Как там ни называй лопату, она лопатой и останется. В общем, будем вести наблюдения лишь за одним коттеджем, за тем, в котором по воле случая собрались наши герои. Или наоборот — они стали нашими героями как раз потому, что собрались в одном коттедже? Признаемся, что в нашем писательском досье заведены тысячи карточек на участников тех событий, но как этим бесценным материалом распорядиться — ума не приложим. До чего же нелегко управлять ладьей повествования в безбрежном море человеческого материала! Как непросто ярким штрихом вы светить характер героя, подноготную его поступков и всякое прочее, что отличает художественную прозу от свидетельских показаний! В который уже раз созревает в наших душах неотвязное желание отложить

перья и зачехлить машинки, бросить свое поганое ремесло и заняться какой-нибудь остродефицитной деятельностью — мыло, что ли, варить или пиво. Но нельзя, не дано нам такого права. История не простит. Так что продолжим, стиснув зубы, наш рассказ, а гигантский массив материалов, оставленный за бортом, скрепя сердце сдадим в архив.

Кстати, в какой? Куда нести исписанные мелким почерком блокноты, тщательно разложенные по папкам справки, письма, объяснительные записки, проездные билеты, авансовые отчеты, газетные вырезки, ресторанные счета, накладные, квитанции, доверенности и многое прочее? В ИМЛ или в ИМЛИ, в ЦПА или ЦА МО, в ЦГАЛИ или ЦГАНХ? Подскажите, читатель!

10

Трудовые ресурсы, привлеченные в зону сосредоточения¹, как уже говорилось, представляли собою по преимуществу мужские трудовые ресурсы. На то и был расчет: сирены древние и нынешние действуют на извечные, изначально заложенные в особых мужского пола психофизиологические механизмы, побуждающие нас тосковать вечерами, ходить на танцы и в дискотеки, подавать объявления в отделы знакомств местных газет, ежедневно бриться или аккуратно подстригать бороды, освежаться одеколоном «Шанс», покупать джинсы по несусветной цене и совершать иные, здравым смыслом не объяснимые поступки, а также испытывать томление от запаха сирени, пения Аллы Пугачевой и ритмических строк созвучными концевыми слогами. Одним словом, в зоне сосредоточения (в дальнейшем для краткости будем звать ее просто зоной) собрались в основном мужчины. В основном — но не исключительно.

В доставшемся нам волею судьбы коттедже женщин было двое. Верочка не могла бросить Сережу, а Клавдия Михайловна завлечена была в зону никак не физиологическими мотивами, скорее социальными: вдосталь наставшись в своей жизни в очередях, она привыкла двигаться куда все и оставаться где все. Пока не выйдут и не скажут: больше ничего не будет, можете расходиться.

Верочку и Клавдию Михайловну устроили на нарах за

¹ Полностью так: «Зона сосредоточения дополнительных трудовых ресурсов города Н. и одноименной области» (см. Сборник решений и постановлений н-ских организаций, т. VII, с. 18). — Авт.

цветастой занавеской. Неудивительно, что в их уголке, по-домашнему уютном, собирались после вечерней поверки наши герои. С утра им предстояло выйти на работы — кому куда, по состоявшемуся уже распределению. Алеша как студент молочного техникума был направлен на молокозавод; туда же, памятуя о своих недавних связях, напросился и бухгалтер-ревизор Вилнис. Семена Семеновича отрядили на завод ЖБИ, остальных — на земляные работы в район Великих Прудов. Вячеслава хотели вернуть в постылое КБ, но он признал, что Елена будет петь на прудах, и добился, чтобы его послали на земляные работы. Вот она, наша молодежь, она своего всегда добьется! Борис Взгорский, напротив, на пруды не рвался, он устроился заведующим красным уголком в своем коттедже с возложением обязанностей выдавать под расписку шашки и письменные принадлежности. Это было правильное решение, потому что Борис Взгорский находился ближе к вершинам культуры, чем его товарищи по спальным местам.

До отбоя еще оставалось время, свет в коттедже не гасили. Уютно сиделось нашим героям за занавесочкой. Борис Взгорский раздобыл картишки и показывал Верочке фокусы. Вилнис, человек бывалый, рассказывал потрясающие воображение истории, каких у каждого бухгалтера-ревизора найдется предостаточно. Клавдия Михайловна вздыхала: надо же, какие деньжищи по свету гуляют. Когда рассказчик делал паузу, откуда-то издалека доносился нежный голос:

Посох у входа оставь и сними свою обувь, о путник!
Ужин с нами вкусив, можешь на ложе возлечь.
Счастлив ли ты, наконец? Так расслабь же усталые члены
В зоне нашей уютной, прибежище мирном твоем...

Тут некоторые обитатели мирного прибежища, из тех, кто помоложе, вскакивали и рвались к дверям коттеджа, но вскоре по настоянию охраны и под ее надзором возвращались. И правильно: люди собрались здесь работать и расслаблять члены, а не шляться затемно.

Клавдия Михайловна, покидая окончательно рынок, прихватила с собой немного картошки. Она испекла ее на угольях, что тлели в железной печурке в дальнем конце коттеджа. Перекатывая в ладонях горячую картофелину, Семен Семенович поучал Алешу:

— Ничего, парень, теперь при деле будешь. Это тебе не по книжкам молочную технологию постигать. Всё рабочие руки создают. Вот такие руки, смотри. — И он совал Алеше под нос толстые пятерни. — А книжки — да зачем

они тебе? Что они знают, книжники эти? Толку от них чуть, один гонор да пыль в глаза...

Клавдия Михайловна согласно кивала головой и думала, что Семен Семенович мужик правильный, не то что ее прижимистый домосед Алевтин Иванович. Сережа с Верочкой не разделяли взглядов Семена Семеныча, но в спор не вступали, а Борис Взгорский и Вилнис даже не прислушивались, потому что затеяли свой интеллигентский разговор: ах, Дастин Хоффман! ах, Буба Кикабидзе!

Странное дело, всего несколько часов эти люди и еще несколько тысяч собранных в зоне строили какие-то планы, куда-то спешили, а тут словно забыли обо всем и зажили так, будто нет для них на свете другого места. Вот уж верно все рассчитал знаток человеческой души, дальновидный товарищ Н., чье истинное имя, право, теперь не лукавим, Ненюхайло. На слух и на вид не особенно благозвучно, потому и скрывали мы его до поры до времени. Но хватит, время такое, что и неказистую правду надобно в глаза говорить. Да, фамилия товарища Н.— Неплевайло. Так и запишите себе в блокнотик. Некрасиво, но как уж есть: Недоверяйло, и дело с концом.

Забыли трудовые ресурсы о своем, начисто забыли, а если кто-то из трудящихся, добровольно, просим заметить, добровольно взявшись помочь Н-ской области выйти из прорыва, вспоминал об отложенных делах, если на секунду отвлекался от действительности и уходил мыслями в прошлое, сразу же в его настороженные уши, словно воздух в прохудившуюся вакуумную камеру, проникала сладкая, успокаивающая душу песнь:

Прочь отгони от себя жизни минувшей виденья,
Праздные воспоминанья пусть не тревожат тебя.
В мирной обители сей успокоится дух твой мятежный,
И полноводной рекою тихая жизнь потечет.

Кто это пел? Елена, Дорида, Гегемона? Не разобрать уже в поздний вечерний час. Но касалась эта песнь по-таенной струны и уносила праздные воспоминанья, и угадал мятежный дух, и не вспоминалось более, кто куда держал путь и что кому было нужно, и хорошо становилось на душе и дремотно.

Вскоре в коттеджах притушили свет, все разбрелись по спальным местам и быстро заснули. Спали, как дети, без сновидений. Сирен тоже увезли на отдых — день выдался тяжелый, на ужин они получили в профилактории двойную порцию икры, взгромоздились на насесты, их жаркие в дневное время очи затуманились, головки склонились на-

бок, и задремали Елена, Дорида и Гегемона. Уснули в своих постелях работники аппарата, приняв кто таблетку радедорма, а кто рюмку-другую коньяка. Товарищ Н. надел шелковую пижаму и домашние очки, внимательно прочитал передовую областной газеты и тоже лег в постель. На соседней кровати, через полированную тумбочку светлого дерева, почти неслышно дышала во сне с легким посвистом супруга Мария Афанасьевна. С нежностью смотрел на нее товарищ Н., но усталость и дремота уже завладевали его крупным, сильным еще телом. Погружаясь в сон, он с сожалением и печалью подумал о том, как редко людям его круга по занятости и многообразию дел доводится ласкать своих верных подруг, как им, подругам, и, в частности, Марии Афанасьевне, нелегко жить обделенными супружеской лаской, но как твердо следуют они избранному пути, не жалуются, не ропщут, понимая высокое предназначение своих мужей и, в частности, его, товарища Н., высокое предназначение. Тут можно бы написать, что такой была последняя перед отходом ко сну мысль товарища Н., но тогда мы погрешили бы против истины ради красного словца. О подругах, о ласках предпоследняя была мысль, а последняя — о деле: надо с утра проконтролировать, создан ли на предприятиях города фронт работ для дополнительных трудовых ресурсов, выдан ли инструмент, какая ожидается по наметкам производительность... Слово «труда», неотъемлемую часть этой экономической категории, товарищ Н. не додумал. Он заснул. Последним из руководителей города и области.

Но не дремали часовые на вышках вокруг зоны со средоточения трудовых ресурсов, не смыкали глаз дежурные на областном радио. Выполняя приказ, они денно и нощно давали в эфир сладкие песни сирен, записанные на пленку. Жители города и области волны были на ночь выключать радио в своих квартирах, но в зоне сосредоточения и на несколько километров в округе репродукторы не отключались. Когда из коттеджа высакивал по своим делам сонный его обитатель, он непременно слышал негромкий нежный голос:

Отдых заслуженный твой да ничто не нарушит отныне.
На тюфяке полосатом спи, не зная забот.
Если ж возникнет нужда и настанет час облегчиться —
Сделай что надо скорей и в объятья Морфея вернись...

И обитатель коттеджа возвращался, ежась от ночной прохлады, к освещенной прожектором двери, на ощупь

находил не остывшее еще ложе и засыпал умиротворенный. Сны о прошедшем не мучили его. Хорошо потрудилась под руководством товарища Н. и его ближайших сотрудников группа спецназначения во главе со Степаном Сильвестровичем Рейсмусом, которому приданы были лучшие части местных писательских соединений. Можете не сомневаться: сирены пели не что попало, не с чьего-нибудь, а с их проверенного голоса. Творческой интеллигенции необходимо твердое идейное руководство, против этой истины не попрешь.

Поутру заколотило, зазвенело, забилось железо о рельс — побудка. Бодрые, отдохнувшие, умылись обитатели коттеджей, с аппетитом поели каши ячневой, дробленой, выпили чаю из алюминиевых кружек, построились в колонны и пошли на работу. Нежно пела им со своего настеста Прекрасная Елена, да так, что каждому казалось, будто ее песня — для него одного, не для кого-то еще. Так заворожила она конструктора третьей категории Вячеслава, что он как вкопанный встал на плацу, мешая движению колонны, и стоял там, пока распорядитель в костюме и с красной повязкой на рукаве не подтолкнул его энергично в спину. Вячеслав занял свое место в строю и двинулся вместе со всеми за ворота, но все оглядывался и оглядывался — и тогда даже, когда не было больше видно милой головки над автомобильной платформой и только слышался усиленный динамиками чарующий голос:

Друг мой! Лопату возьми или даже носилки ручные,
Илистый грунт подымай из глубин Великих Прудов.
К вечеру день подойдет, бригадир сочтет кубометры —
Кто хорошо поработал, тот и лучше поест.

Конструктор третьей категории, обладатель красного диплома Вячеслав шире расправил широкие спортивные плечи, надежнее примостили на одном из них лопату штыковую вверх штыком и твердо стал печатать шаг. Не пропитания ради, не за почет и славу, а только под чарами сиреных голосов — или только одного из них, голоса Елены, дочери Ипполита? Даже не оглядываясь по сторонам, он почувствовал, что справа от него и слева, впереди и сзади люди подтянулись, поступь их слилась в едином ритме, и не надо было никого тыкать под ребра. Быстрее пошла колонна, чтобы поскорее вонзить в податливый прудовый грунт заточенные клинки лихих черенковых лопат.

Нам часто доводилось слышать неумные, вредные разговоры о том, что, дескать, трудовой энтузиазм в чистом

виде, не подкрепленный жирными кусками материальной заинтересованности, есть выдумка, не имеющая отношения к экономическим реалиям. Вздор! Мы, с первого дня эксперимента находившиеся в самом его горниле, то есть в кабинете товарища Н. и прилегающих к нему служебных помещениях, мы свидетельствуем, что трудовой энтузиазм, разбуженный пением Елены, Дориды и Гегемоны, стал созидательной силой. В кабинет товарища Н., как на командный пункт наступающей армии, стали поступать донесения о кубометрах вынутого грунта, тоннах молока и молочных продуктов, о бетонных блоках и штуках текстиля, а также об изделиях номер семнадцать-эм, согласно номенклатуре предприятия АГ-518. И если ткани оказались линялыми, блоки — с недовложением цемента, а гектолитры разлитой по молочным бутылкам жидкости имели нездоровый синеватый оттенок, то это все следует отнести к издержкам первого шага. Знаете, сколько физики раскручивают свой циклотрон, чтобы вмазать наконец ядром по ядру? Но уж если вмажут, если предъявят документы и надежных свидетелей, то все: гром победы раздавайся.

Ах, этот радостный угар первых побед! Тут как на войне: противник смят и отброшен, на плечах неприятеля войска врываются в населенные пункты, с ходу форсируют водные преграды и, оставляя за собой рассеянные вражеские группировки, неумолимо движутся вперед. Растворены коммуникации? Потом подтянем. Давно не подвозили горячую пищу? Потом накормим. На каком-то участке фронта неприятель зубами вгрызся в землю и не хочет отходить? Потом уничтожим. А пока — только вперед!..

К середине дня поступила сводка с молокозавода: кончилось сырье. Коровы дали все что могли в конкретных, исторически сложившихся условиях. «Не сметь останавливать производство! — кричал в телефонную трубку товарищ Н.— Партибилет положишь на стол! Молока нет? Не маленький, сам знаешь, что делать. Не знаешь? Разбавляй! Чем разбавлять? Водой, мать твою так, водой... Люди ждут молока, дети ждут молока, а ты не знаешь, чем разбавлять? Какой еще, к матери, ГОСТ? Пиши временные условия. Вечером слушаем тебя на бюро...» И — хрясь телефонную трубку на рычаг.

После обеда позвонили с Великих Прудов: фронт земляных работ, с опережением графика продвигавшийся в заданном направлении, совершенно неожиданно и в полном противоречии с проектом вышел на скальный грунт.

«Рвать!» — приказал товарищ Неунывайло, и над Великими Прудами загрохотали взрывы. Кого-то засыпало. Раненых перевязывали на месте, и все, кто мог еще держать в руках носилки, возвращались в строй. Большие сражения не обходятся без жертв. Главное, что линия фронта, затормозившая было у скального грунта, вновь покатилась вперед.

Стоп. Нет, это мы не о фронте работ в районе Великих Прудов. Это мы по поводу собственных писаний. Увлекшись изложением героических событий, заразившись энтузиазмом их участников, мы потеряли бдительность и бездумно залепили в текст полную фамилию товарища Н., что, поверьте, не входило в планы, да и кто бы такое позволил нам, скромным бытописателям тех огненных дней? Но слово присненено, а такое — это совсем не воробей. Неунывайло — вы видите в этом имени хоть что-нибудь воробышко? Напротив, налицо редкостный этиологический феномен: товарищ Н. и впрямь никогда не поддавался унынию, ему были чужды пессимизм, нытье, колебания.

...Есть крохотные бытовые черточки, которыми жива настоящая литература: стакан крепчайшего чая на столе командарма, наполеоновская походная кровать; мягкие сапоги и короткая гнутая трубка — ну, вы знаете, что мы имеем в виду. Мы тоже нашли такую черточку и спешим познакомить с нею читателя: ни товарищ Н., ни ближайшие его сподвижники не обедали в первый день эксперимента. Миловидные девушки в белых фартучках разносили по кабинетам бутерброды с чем Бог послал, все кушали на своих рабочих местах, и никто не роптал, понимая необходимость жертвовать малым во имя великого. Кстати, о великом. На Великих Прудах тоже обедали прямо на рабочих местах. Подтянули походные кухни, раздали хлеб, плеснули каждому супу — по черпаку в миску. Поели люди, подкрепились — и за работу. Потому что в конечном счете самое главное для нас не что-то там этакое, не абстрактные посулы, не всякая разюли-малина, а производительность труда.

11

Теперь, когда наша история близится к концу, всякому читателю должно быть абсолютно ясно, что пишется она вовсе не как производственная проза — хотя и отвергаемый некоторыми, но объективно очень нужный литературный жанр,— а скорее как проза историческая, может

быть, даже нравственно-историческая или нравственно-бытописательная; трудно уложить полет мысли в прокрустово ложе жанра. Во всяком случае — ни слова больше о трудовых буднях и праздниках, о закрытии дневных норм, о передовиках и отстающих (были, увы, и такие), о технологии земляных работ, молокопродуктов и железобетона, не говоря уже о продукции предприятия АГ-518, о которой мы и сами имеем смутное представление,— нам бы только довершить начатое, доказать в общих чертах историю выдающегося эксперимента по сиренизации Несуглинья, одобренного супервой, но справедливой Москвой и блестяще проведенного аппаратом, который долгие годы возглавлял товарищ Н. Вон какая длинная фраза вышла — зато одним махом мы сформулировали стоящие перед нами задачи и отмели неоправданные ожидания некоторых представителей нашего, самого читающего в мире народа.

Вот уж действительно — самый читающий народ. Что для него ни издай, каким тиражом ни запузырь — все равно раскупят и прочтут. А не прочтут, так все равно раскупят — надо же на что-то деньги тратить, зря, что ли, их печатают (это равно относится как к деньгам, так и к книгам). Но справедливо и обратное: то, что не издают, все равно читают. Скажем, еще очень плохо и недостаточными тиражами издают у нас произведения авторов этих строк, однако куда ни приедешь — в тот же город Н. на читательскую конференцию или в Сочи на ежегодный слет любителей бытовой прозы, — всюду просят автографы. Или возьмем путевые заметки старого грека, который, говорят, к тому же был и слепым, но, несмотря на это, натолкнул товарища Н. на блестящую идею. Грека тоже плохо издают. Если бы мы его книгу увидели, то обязательно купили бы.

Наш самый читающий в мире народ в первые же дни эксперимента, узнав по кратким газетным сообщениям, а больше из быстро распространявшихся по Несуглинью слухов о сиренах, неведомо где раздобыл писания слепца и размножил каким-то способом, хотя все множительные аппараты в Н-ской области, как, впрочем, и во всех других, спрятаны были в комнатах за железными дверями и опечатаны пломбами.

А прочитав описанную греком историю, люди быстро смекнули, как уберечься от притягательной силы сиреневого пения.

Пилоты и штурманы-радисты, едва самолет входил в воздушное пространство Н-ской области, переходили на

запасные частоты, недоступные н-скому радиовещанию. На автотранспорте все оказалось еще проще: подними стекла в окнах да покрепче пристегнись сам и пристегни ремнями своих пассажиров, как это и предписано правилами Госавтоинспекции. Уже на второй день эксперимента на автодорогах города и области бились, извивались в привязных ремнях, силясь освободиться и броситься на зов Елены, Дориды и Гегемоны, тысячи людей. Но ремни были крепки, на все протяжение области хватало их запаса прочности. А уйдя за пределы слышимости, путники могли и отстегнуться. Сложнее обстояло дело на железнодорожном транспорте, где ремни пока не предусмотрены. Но и тут выход был найден в произведениях слепого старца: пассажиры стали затыкать и залеплять свои уши во время остановок на станции Н.-Пассажирская. Кто пользовался в этих целях пчелиным воском, кто приладил стеариновые свечи и лыжные мази, кто — аптечные затычки. А молодые люди нацепляли наушники и, цинично посмеиваясь, слушали совсем не сладкие, а грубые и вызывающие песни зарубежных и доморощенных горе-рок-певцов.

Ответственные лица, которым доверено у нас решать, что, когда и кому следует читать — а такое регулирование просто необходимо для самого читающего в мире народа, без него неизбежно наступят читательская анархия, вакханалия, разгул библиофильского вольнодумства, — эти ответственные лица приняли единственно верное в сложившихся обстоятельствах решение: ставшие объективно вредными произведения грека, место рождения которого оспаривают семь городов, изъяли в библиотеках из общего доступа и перевели в спецхран. Ну-ка, вслушайтесь: специальное хранение — это что-то расплывчатое, мягкотелое, а усеченные и соединенные вместе два эти слова звучат неумолимо и строго, как хруст сапог по брускатой мостовой. Спецхран — это такое место, где собраны книги, которые не то чтобы вообще нельзя читать, а не следует читать кому ни попадя. Чтобы проникнуть в спецхран, надо получить разрешение, однако если ты человек нелегкомысленный, надежный, проверенный, если спецхранимая книга требуется тебе не просто так, а для государственного дела, если ты не станешь пересказывать прочитанное каждому встречному и поперечному, ты непременно и в свой срок это разрешение получишь. И тогда читай — не хочу. Вот что такое спецхран, если кто не знает.

В городе Н. и во многих других городах Несуглиня сказочки слепого грека перевели в спецхран довольно

быстро, но, должно быть, все-таки опоздали на несколько часов. Сами понимаете, указания не на крыльях летают, пока передадут, примут, зарегистрируют, направят куда следует... И крохотное это опоздание, в другом деле ничего не значащее, обернулось политической ошибкой: самые читающие в мире граждане получили информацию о том, как уберечь себя от сиреневых песен.

Если же говорить начистоту — а мы с читателем другого разговора не признаем, — то не стоило и затевать всю эту волынку со спецхраном. И не такие секреты просачиваются. К тому же городу Н., как выяснилось, с головой хватило трудовых ресурсов, привлеченных в первый же день эксперимента. С сырьем на городских предприятиях дела все равно обстояли неважно, ткацкие станки ломались что ни день, для железобетона не завезли арматуру, так и не было решено, в каком направлении копать каналы, по которым потекут неизвестно чьи воды, и только предприятие АГ-518, худо-бедно, как ему и положено, получало свое довольствие. И если бы на приманку Елены, Дориды и Гегемоны клюнули новые проезжие ресурсы, это лишь прибавило бы товарищу Н. новую головную боль. А хватало и старой. Конечно, до безработицы не дошло бы, такой проблемы у нас нет, и для лишнего миллиона занятие придумают, но ведь придумывать надо...

Печатая эти строки в четыре пальца, авторы буквально ерзают на своих просиженных стульях. Отчего? От нетерпения, от чего же еще. Не терпится нам узнать, когда наконец искушенный читатель отложит в сторону книжку, когда он оторвет глаза от строчек, чтобы задать нам каверзные вопросы. Если тысячи проезжих быстренько сообразили, как избежать сиреневой ловушки, почему же тогда в эту ловушку угодившие не воспользовались древнегреческим приемом, столь хорошо себя зарекомендовавшим? Отчего не залили себе уши воском и не дунули, сверкая пятками, восвояси? Разве они не плоть от плоти читающего народа? Неужто среди них не нашлось ни одного, кто читал раньше эту самую греческую книжку?

Плоть от плоти. Нашлись и читавшие. Некоторые даже знали имя автора и краткую биографию героя — того самого, который велел команде залить уши воском, а себя привязать к корабельной мачте, чтобы все услышать, но не поддаться призывному пению.

А не нашлось бы таких умников, какой-нибудь Говбиндер обязательно бы пропрепался.

Бездесущий пенсионер Евсей Савельевич Говбиндер

зачастил в зону со своим фокстерьером Выбросом с первого же дня эксперимента. Делать ему там было абсолютно нечего, и никто бы его туда и не пустил: в пионерский лагерь — и то посторонних не пускают. Но хитроумный пенсионер придумал трюк почище греческого. Всем обитателям коттеджей выдали одинаковые, почти новые и, мы бы сказали, очень удобные ватные фуфайки и брюки, у которых есть официальное название «ватный трус» — емкий, запоминающийся термин. И на правый рукав каждой фуфайки был нашит особый знак — изящный голубой ромб с темным силуэтом полуженщины-полупутицы. Нашивочка эта и служила документом, по которому пропускали в зону. В конце концов, не давать же каждому служебное удостоверение в пухлых красных корочках или контрамарки, как в театре. Зона вам не театр.

И вот этот самый Говбиндер купил себе телогрейку, нашел на нее голубой ромб и стал шастать в зону, как к себе домой. Придет — и не уходит, пока его силой не выставят. Мало того, что он вечно путался под ногами — и на построениях, и во время отдыха в коттеджах, и на общих работах, — мало того, что фокстерьер Выброс без причины облавивал ни в чем не повинных работников, поддерживающих общественный порядок в зоне сосредоточения, и порвал одному из них форменные брюки от костюма, всего этого мало. Говбиндер собирал вокруг себя людей и нес всякую ахинею, наподобие того, что сосредоточенные трудовые ресурсы должны бороться за свои права и требовать улучшения бытовых условий. Чистейшей воды демагогия: условия в зоне, как мы знаем, были вполне приличными — чистое белье, раз в неделю помывка в бане, трехразовое питание. Конечно, определенная неустроенность имела место, но можно ли требовать каких-то особых, тепличных условий, когда решаются судьбы города и всей области?

А Говбиндер нес и нес свою околосицу; повторять неудобно. Деликатничали с этим человеком, ограничивались выдворением из зоны и устными предупреждениями, а зря. Именно он стал призывать жителей зоны сосредоточения, а также всех энчан, залеплять уши воском. То ли сам додумался, то ли был подучен доцентом Рейсмусом, прежде человеком неизменно лояльным, даже консультировавшим, если помните, самого товарища Н., но теперь впавшим чуть ли не в диссидентство, и все из-за того, что писания древнегреческого старца перевели, видите ли, в спецхран! Ох уж эти интеллигенты; сколько волка ни

корми, он все в лес смотрит — это о них сказано, не иначе.

Мы ждали от вас каверзного вопроса, не дождались, сами его задали, сами и ответили. Действительно, все знали, что для обретения свободы следует залепить уши воском. Но где он, этот воск? Вот в чем вопрос вопросов.

И тут — внимание, слушайте все! — мы открываем на конец жгучую тайну нашего повествования. Пожалуйста, вспомните, а не сможете, так не поленитесь перечитать, как товарищ Н. отдавал руководству энского промторга распоряжение изъять из продажи некий товар отнюдь не повышенного спроса. Мы еще сравнили это распоряжение с тихим гроссмейстерским ходом, который сначала вызывает недоумение зрителей и непонимание специалистов, но потом, в решающей стадии шахматной партии, на ее переломе, на переходе из запутанного миттельшпиля в кристально ясный эндшпиль решает ее судьбу.

Теперь, когда мы вплотную подошли к переломному моменту нашей хозяйственно-экономической партии, мы обязаны не общими словами, а предельно точно обозначить провидческий ход гроссмейстера Н. — простите за невольную оговорку, товарища Н. Что же велел он тогда изъять из небогатых запасов энских промтоварных магазинов? Совершенно верно: воск, а также свечи, пластилин и все прочее, чем можно затыкать уши, в том числе мастику для натирки полов — хотя и пахнет не очень приятно, но эта публика и не на такое пойдет, лишь бы уйти в бега.

И вот, когда противник был уже готов сделать спасительный, как ему казалось, ход — изолировать свои органы слуха от сладких песен Елены, Дориды и Гегемоны, — он обнаружил, что хода этого у него нет. И сдал безнадежную партию.

12

Потянулись долгие трудовые будни. Работы на объектах, в том числе и на самом важном, у Великих Прудов, шли ни шатко ни валко. Сладкие песни сирен закрепляли и держали в узде трудовые ресурсы, но не могли повысить ни на йоту производительность труда, фондотдачу и другие плановые показатели. Возникла легковесная идея прибегнуть к материальному стимулированию — скажем, давать передовикам талоны на право пользования ларьком. Но товарищ Н., посоветовавшись с ближайшими помощниками, отверг эту идею как противоречащую условиям эксперимента, а высказавшему ее работнику аппарата, из

столичных умников-экономистов, публично врезали на ближайшем партхозактиве.

Из столицы тем временем пришли новые, усовершенствованные формы отчетности, специально для инвалютного эксперимента. Москву интересовало все — и загрузка сирен, и отдача от пения в стоимостном и натуральном выражении. Последний пасаж при поверхностном чтении обнаруживает некоторую фривольную двусмысленность, однако авторы решительно протестуют против легковесного прочтения их повести; а намеки можно обнаружить где угодно, если очень постараться. Инстанции, наделенные правом контроля, требовали, чтобы за потраченную валюту и приличные порции икры на завтрак Елена, Дорида и Гегемона пели от восхода до заката, поддерживая трудовой порыв. Те в свою очередь заявляли, что ни одна девушка их профессии не допустит таких нагрузок на голосовые связки, и пригрозили забастовкой. Бастуйте, сказали им, сколько душе угодно, будем крутить ваши песни в записи на пленку. Крутите, сказали сирены, но с той поры, как вы подключились к Женевской конвенции, вам этот крутеж встанет в инвалютную копеечку. («Что еще за конвенция?» — поинтересовался товарищ Н. Ему объяснили — мол, с семьдесят третьего года просто так, без спросу, воровать у заграницы ничего нельзя, во всяком случае, в открытую — авторское право, международный суд и все такое. «Едрена карета», — сказал товарищ Н.)

Впрочем, ни та, ни другая сторона не были заинтересованы ни в расторжении договора, ни в международном суде. Наши руководящие организации планировали эксперимент расширять, для чего личное присутствие сирен — особенно Елены — было необходимо: российскому человеку если не потрогать, так хоть посмотреть. Сирены же привыкли к пайку и тихому житью в пансионате, им вовсе не светило возвращаться к скучным сицилийским рационам и постоянной угрозе безработицы. Сошлись на восьми часовом рабочем дне и пенье под фонограмму, как то принято у наших певцов и певиц, берегущих свой голос для нашего народа, самого слушающего в мире.

Поскольку и в городе, и на желдорвокзале дел больше не было, сирены пели только в зоне и на работах, пели по очереди, в три смены. Елена в свободное время читала книжки и брала уроки сольфеджио, а Дорида с Гегемоной ходили на колхозный рынок, как в клуб, и пели там для народа, задаром. К ним привыкли. Добрые колхозники из местных подкармливали их медом, творожком и чер-

неспелой рябиной, а приезжие южане — фруктами и греческим орехом. Но более всего Дорида и Гегемона пристрастились к семечкам. Вокруг их настествов все было засыпано лузгой. Директор рынка и дежурные милиционеры пытались сделать сиренам замечание, но те громко отвечали крепким словцом под шумное одобрение торгующего люда. Дорида и Гегемона заметно расширили свой лексикон в специфическом рыночном направлении. Так, Дорида спела однажды к случаю:

Если тебя, покупатель, цены пугают на рынке,
Не по карману тебе туши животных и злаки,—
Можешь катиться в горторг, где дермо продают по дёшевке,
Или же к матери той, каковую видали мы там-то и там-то.

Это единственная из цитированных нами строф, в которой пришлось сделать редакторскую правку для соблюдения литературных приличий.

Народу же бойкий язык Дориды и Гегемоны нравился. И когда представители экстремистского крыла объединения «Пращур» устроили возле настества митинг с антимасонскими лозунгами, требуя высказать сирен и иже с ними на их историческую родину и привлечь взамен отечественных жар-птиц, то получили от рыночной публики решительный отпор: ну и что с того, что внешность масонская, вы послушайте, как говорят — по-нашему говорят. Сирены в подтверждение произнесли нараспев несколько слов. С той поры их остались в покое, звали уважительно Дорида Вакховна и Гегемона Гефестовна. Пристыженные пращуровцы покинули поле сражения и перебазировались к кинотеатру «Иллюзион», требуя сорвать маски с тех, кто дал кинотеатру постыдное зарубежное имя.

Что же касается очаровательной Елены, дивной Елены, Прекрасной Елены, то даже самые подозрительные пращуровцы не смогли заподозрить ее в причастности к тайным или явным злокозненным организациям. Они смотрели на нее и, простите, балдали. И было от чего. Как хороша была она, как изысканна в выражениях! Елена тоже день ото дня совершенствовала свой русский язык, однако впитывала в себя слова и выражения только чистые, благородные; самому взыскательному редактору в слову бы не пришло поправить хоть что-нибудь в ее безукоризненных строфах. И семечек она в рот не брала.

Елена старалась попасть на работу в дневную смену, чтобы почаще бывать у Великих Прудов, на свежем воздухе. Ее лицико слегка загорело — и, надо признаться, загар ей шел не меньше, чем томная бледность. Конечно,

руководителям работ не очень-то нравилось, что рабочая сила, побросав лопаты и носилки, толпится вокруг насеста. Но, признаться, особой нужды в высоких темпах уже не было: грунта вынули вон сколько, пруды углубили, а куда копать дальше — к Амуру или к Миссисипи, — указаний не поступало. Да и поклонники, наглядевшись и наслушавшись, начали постепенно расходиться, потому что Елена была равно мила со всеми и никому не выказывала предпочтения. А в наш скоростной век на долгие ухаживания времени нету, и на короткие-то не всегда хватает.

Вскоре у насеста Елены остались два самых верных ее поклонника — Климентий и Вячеслав.

Линии их поведения разнились заметно. Климентий, истинный сын своего выдающегося отца, был храбр в словах и активен в действиях. Он говорил рискованные комплименты, делал недвусмысленные намеки и несколько раз пытался погладить нежные перья и то, что над перьями, за что, впрочем, немедленно получал увесистые шлепки крылом. Елена при этом не переставала кокетливо улыбаться, демонстрируя таким образом высокое профессиональное мастерство, но в то же время со всей определенностью давала понять, что руки распускать не позволит. Гордая была девушка, хотя родом из небогатых мест, что между Сциллой и Харибдой.

Вячеслав, напротив, был застенчив и робок. Нам было мучительно видеть, как он таит на глазах от неразделенной любви, и мы, вспоминая собственные юные годы, скромный опыт тех далеких и незабываемых лет, несколько раз порывались дать Вячеславу совет — набраться храбрости и, к примеру, в один прекрасный день обнять свою избранницу за плечи, не нахально как-нибудь, не облапить, что присуще скорее Климентию, а бережно заключить в объятия. Однако, поразмыслив, воздержались, ибо каждый должен ковать свое счастье самостоятельно, без подсказок.

Должно быть, на родине Елены, в Сцилло-Харибдском регионе, хватает своих, местных нахалов, охочих распускать руки, а таких, как Вячеслав, раз-два и обучелся. Оттого в его присутствии Елена становилась серьезной и задумчивой и бросала на Вячеслава долгие взгляды из-под своих средиземноморских ресниц. Заметив это, ходок Климентий взъярился и стал искать ссоры с соперником.

Как-то вечером, незадолго до отбоя, Климентий и Вячеслав ошивались возле Еленина насеста. Рабочий день у Елены закончился, за ней уже приехала из профилактория

машина, но юная сирена отчего-то медлила и задумчиво покачивалась на жердочке, напевая вполголоса что-то печальное на своем языке. Вдруг ни с того ни с сего она взъерошилась, резким движением выдернула большое перо из крыла и швырнула наземь.

— Вот что, мальчики,— сказала она раздраженно.— Не надоело вам тут кружить? Ни к чему все это. Прощайте. Бай-бай. ЧАО.

С этими словами Елена перепорхнула в кузов грузовика и уехала не оглядываясь. Едва за машиной закрылись ворота зоны, как Климентий и Вячеслав бросились к перу, лежавшему на вытоптанной земле, и стали ожесточенно за него сражаться. Наше неискушенное в спортивной тематике перо вряд ли даст представление об этой схватке, тут требуется настоящий, большой талант специального корреспондента газеты «Советский спорт». В калейдоскопе атак и защит мелькали приемы классической и вольной борьбы, дзюдо и каратэ, таиландского бокса и перуанской икувале, сенегальской комбу-гомбу и маорийской тити, эскимосской ыканарети и древнегреческой борьбы на перевязях. Климентий поначалу теснил соперника — благодаря лечебному питанию в отчим доме он был крепче и тяжелее, однако Вячеслав не уступал без боя ни пяди земли на подступах к перу. Вскоре выяснилось, что он подвижнее соперника и что несколько тяжеловесный Климентий запаздывает в постановке блоков ката-цуки в ответ на резкие тао-дзу Вячеслава.

Зрители обступили бойцов и ждали исхода поединка. Вячеслав только что провел серию резких тык-рубалов из тайного арсенала древней полинезийской мапуамапубу, которая в последние годы была особенно популярна в добровольной народной дружине города Н. (Вячеслав регулярно выходил на дежурства, хотя и без всякой к тому охоты, Климентий же взял освобождение по состоянию здоровья с диагнозом «вегетодистония».) Не поспевая за соперником, а может быть, из-за этой самой вегетодистонии, Климентий разорвал дистанцию и, угрюмо отдуваясь, готовился прямолинейно, как бык на корриде, броситься на ненавистного врага. И в этот момент Вячеслав неожиданно для всех в прыжке распластался на земле, дотянулся пальцами до заветного пера и крепко зажал его в левой ладони. Климентий уже мчался на него, набирая скорость, но Вячеслав сгруппировался, сделал кувырок и твердо встал в классическую кхмерскую стойку сувонг. С диким криком: «Ну, погоди, козел вонючий!» — Климентий сделал

выпад, но промахнулся и оказался спиной к неприятелю. Зрители затаили дыханье.

Выждав, когда противник повернется к нему лицом, Вячеслав разжал левую руку, бросил взгляд на перо своей избранницы и с протяжным, нарастающим по мости победным криком «гла-анц!» выбросил раскрытую ладонь правой руки в сторону Климентия.

Климентий рухнул наземь.

Среди зрителей, которые следили за поединком, были, конечно, сотрудники охраны общественного порядка в зоне сосредоточения трудовых ресурсов. Отчего же они не вмешивались в ход поединка? Оттого, что были уверены в конечной победе Климентия. Зная крутой нрав товарищей Н., как отца, так и сына, а также их боевой дух, они не сомневались в исходе схватки. И напрасно. Все, без исключения все, надо подвергать сомнению, кроме, быть может, самого главного, что сомнению не подлежит.

Сотрудники подняли Климентия, отряхнули пыль с джинсов и для видимости придерживали его, пока он, всхлипывая, кричал: «Отдай перо, не то хуже будет!» — и действительно, Вячеславу стало хуже, поскольку человек десять из охраны, мешая друг другу, навалились на него, потащили к коттеджу и затолкали в тамбур. Там он и лежал, обессиленный, пока о него не споткнулась ходившая с чайником по воду Клавдия Михайловна.

Вячеслава перенесли на нары. Семен Семенович сунул ему под голову свою телогрейку, Алеша сходил за иодом, Верочка с Сережей смазали его боевые царапины. Вячеслав лежал молча, он чувствовал себя никому не нужным, поглаживал тайком теплое пушистое перо и время от времени тихо вздыхал.

— Будет тебе, старик, — тяжелым актерским баритоном рокотал у него над ухом Борис Взгорский. — Было бы из-за чего! Претендента ты сделал, а на Елене твоей свет клином не сошелся. У нас в труппе, знаешь ли, есть одна штучка...

Вилнис же, напротив, выговаривал Вячеславу:

— Не могу понять, когда интеллигентные молодые люди бьются, как дикари, из-за какой-то юбки!

— Тем более что на даме, как я понимаю, никакой юбки и не было, — ерничал Борис Взгорский, привыкший в кругу столичных актеров и актрис нести и не такое.

— Оставьте мальца в покое! — сердилась Клавдия Михайловна. — Вот выберемся отсюда, поедем в Ефимьево, подыщем тебе девку — работящую, в теле, не чета этой

крайне в перьях. У меня есть одна на примете — гладкая и в хозяйстве понимает.

— Как же, выберешься отсюда, — возражал Клавдий Михайловна Семен Семенович и прислушивался к сладкой песне, которая, несмотря на поздний час, доносилась снаружи. Динамик не отключали и ночью, только малость приглушали звук.

— Что значит не выберемся? — раздражался Вилнис. — По-вашему, мне до конца жизни разбавленное молоко по бутылкам разливать? Я в Москву писать буду!

— Пиши, писатель, — отвечал ему Семен Семенович. — В Москве только твоих писем и ждут. Туда вся страна пишет, а оттуда песни одни, вроде этой.

— А правда, домой ужас как хочется, — сказал наивный мечтатель студент Алеша. — Придешь себе вечером из молочного техникума и делай что хочешь. И постель мягкая, и телевизор, и на танцы можно пойти:

Все помолчали, и каждый подумал, что бы он хотел делать, прия домой вечером.

— Только бы до машины моей добраться, — мечтательно сказал Борис Щзорский, — и двинули бы по домам. Знаешь что, поехали в Москву. Я бы с дороги позвонил Гуревичу, он сообразит насчет бани, мы тебя в момент на ноги поставим.

— Знаем мы эти бани московские, знаем ваших гуревичей-шмулевичей. В нашу ефимьевскую бы, попариться с кваском...

— Хватит вам о банях! — Это уже Вилнис. — Вы, Семен Семенович, среди нас, кажется, единственный представитель правящего класса. Неужели вы не можете найти выход из положения?

— Ну, ты даешь! — уклончиво ответил Семен Семенович и стал скручивать козью ножку.

— Пожалуйста, не курите при больном, — вступила в разговор Верочка. — Лучше все вместе подумаем, чем заткнуть уши. Если бы хоть вата была...

— Вата не годится, — сказал Сережа. — Я ставил на себе эксперимент. Вата не обеспечивает надежной звукоизоляции. Сирены прошибают любой материал из тех, которые мы можем достать.

— Кроме воска, ничто не годится, — вставил Алеша.

— А воск в торговле отсутствует, — сказал Вилнис, — следовательно, нечего травить душу себе и другим.

— Слушайте, родненькие! — встрепенулась Клавдия Михайловна. — Насчет души я совсем позабыла, вот па-

мять проклятая. Будто на торговле свет клином сошелся. Будет нам воск, завтра же будет.

— Говорите яснее,— попросил Взгорский.— Что это за намеки о душе и при чем здесь торговля?

Клавдия Михайловна сказала яснее, и Взгорский, профессионально раскрыв объятья, заключил в них бывшую огородницу и торговку картофелем, а ныне добровольную пленницу великого энского эксперимента.

Наутро Клавдия Михайловна, сославшись на ломоту в спине, осталась в зоне. Товарищи из охраны посмотрели на это сквозь пальцы. В последнее время они не проявляли былого рвения, ибо фронт работ в районе Великих Прудов сузился до таких пределов, что привлеченные трудовые ресурсы только мешали друг другу, толпясь с лопатами на глиняном пятаке, от которого — решения из центра так и не поступило — неизвестно было, куда двигаться: на восток или на запад.

Пошептав что-то на дорожку, Клавдия Михайловна повязала черный платок и тихо выскользнула из зоны. Полевой дорогой она пошла в направлении города Н. и полчаса спустя подошла к холму на окраине, где стояла старая церковь с колокольней, с которой по праздникам разносился по окрестностям однообразный звон, напоминавший энчанам о частичной потере музыкальных и некоторых прочих традиций.

В церкви было сумеречно и тихо. Батюшка не допустил трансляции в храме сиреневых песен. Перед началом эксперимента к нему приезжали наделенные полномочиями товарищи и предлагали установить радиоточки, но получили вежливый отказ на том основании, что церковь, во-первых, отделена от государства, а во-вторых, языческие песнопения несовместимы с верой, которую исповедуют прихожане. Не найдя аргументов, представители города отбыли ни с чем.

Клавдия Михайловна, памятуя о душе, перекрестилась раз и другой, купила тонких желтых свечей, одну поставила перед Николай-угодником, оберегающим в странствиях, остальные завернула в платочек и направилась в зону. К обеду как раз и обернулась.

О, неподчиненная правилам Минторга и командам местных властей вольная церковная купля и продажа! Как же не учел сего обстоятельства, малой этой малости товарищ Н., как прошел мимо! Ну, не мог, предположим, изъять из храма свечи, опасаясь плеснуть воды на мельницу наших идейных недругов — им только дай про

боду совести поболтать; но уж оцепление вокруг церкви достало бы ума выставить. Ах нет! Запамятовал, из головы вон. А ведь, казалось бы, должен помнить всякую мелочь, не зря его предки передали ему вместе с твердым характером и подсознательным чувством нового, передового, можно сказать, вручили ему по наследству свою гордую фамилию Незабывайло. А товарищ Н. взял да и забыл. Вот беда. С кем не бывает.

И никто теперь не мог помочь ему, ни главный писатель области, ни цикавый завотделом промышленности, ни родной сын Климентий, ни жена Мария Афанасьевна, ни директор завода **ЖБИ**. А раз так, то расстанемся с ними решительно и навсегда, все равно от них никакого толку.

13

После вечерней переклички и отбоя поплыл над нарами густой храп привлеченных трудовых ресурсов.

У женщин за занавесочкой Вилнис зажег одну из свечей, и в колышущемся язычке пламени Борис Взгорский оплавил наломанные из свечей ушные затычки, чтобы мягче садились в устье слухового прохода. Каждый приладил затычки себе по уху. Стараясь не шуметь, выбрались из коттеджа. Охрана, давно растерявшая бдительность, где-то дремала, песни сирен сквозь добротный церковный воск не пробивались. На бетонную стену накинули самодельную лестницу, нарезанную из свитого лозунгового кумача, и в наступившей лично для них тишине выбрались из зоны.

Как, однако, наблюдательны бывали древние авторы, в том числе греческой национальности! Подобно тому как Одиссею и его команде расхотелось причаливать к скалам, едва они перестали улавливать чутким матросским слухом нежное пенье, так и наших героев уже не тянуло оставаться в зоне, и ноги сами несли их к городу, через площадь, мимо темных домов, мимо каланчи и клумбы на главном газоне города — к колхозному рынку, к тому шоссе, где Борис Взгорский бросил свой автомобиль ВАЗ-2105 (с двигателем от «шестерки») и надеялся там же его найти. Они шли быстро, не оглядываясь, только Вячеслав время от времени останавливался, трепетной рукой лез в нагрудный карман, нащупывал перо и с тоской обращал взор в ту сторону, где в бывшем профилактории химиков располагалась тихая сиреня обитель. Борис Взгорский строго обличивался на отставшего товарища,

жестом как бы поправлял в ушах затычки и взмахом руки приказывал Вячеславу следовать за собой.

Вот и освещенная луной жемчужно-серая лента дороги, вот и одинокое транспортное средство на обочине. Взгорский бросился к своей машине.

Если бы рядом находился человек, способный воспринимать звуки внешнего мира, он услышал бы достаточно громкие восклицания, едва ли проводимые даже через нынешнюю, излишне мягкую цензуру. Это Борис Взгорский обнаруживал пропажи. Исчезли: дорожный саквояж, стереофонический магнитофон, две бутыли чачи, журнал «Дружба народов» № 7 и сценарий про чекистов, расписанный по ролям. Но — уймитесь, Борис! — машина была на ходу и завелась без хлопот. Пока прогревался, мирно урча, двигатель «шестерки», Борис Взгорский распихивал пассажиров в тесном салоне: тучного Вилниса вперед, рядом с собой, на заднее сиденье — Семена Семеновича, Алешу и Сережу, к ним на колени — Верочку и Клавдию Михайловну.

Постойте, однако, все ли в машине? Так и есть, недоглядили.

— Ах! — закричала Верочка, тыча пальцем в заднее стекло. — Вячеслав! Где Вячеслав?

Все обернулись. Устремив взор куда-то вдаль — можно предположить, что к громкоговорителю на фонарном столбе, — Вячеслав выковыривал из ушей кусочки воска.

— Остановись, сынок! — закричала Клавдия Михайловна, не слыша собственного голоса. Алеша и Взгорский выскочили из машины и бросились к Вячеславу.

Но было поздно. Сирены голоса вновь поймали его в свои сети. Вячеслав извивался, пытаясь ухватиться за багажник и задние крылья легковушки, его рот был раскрыт в мучительном крике. Если бы они могли что-то услышать, то услышали бы душераздирающую мольбу:

— Привяжите меня к бамперу!

И тут же могучая сила оторвала его от машины, перебросила через обочину и погнала в сторону города. Растваял в придорожной тени, канул во тьму добровольный узник неразделенной любви.

Когда они отъехали от города на несколько километров, Взгорский показал что-то Вилнису. Тот понял, закивал головой и запустил себе в ухо довольно толстый мизинец, перетянутый серебрянным массивным перстнем. Поковырял в ухе, не без труда извлек затычку, повертел головой

влево и вправо, вынул вторую затычку, настороженно вслушался и, расплывшись в улыбке, кивнул головой — можно. Взгорский притормозил и жестом показал своим пассажирам, что странная полоса в их жизни завершилась, что отныне каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, и слушать то, что ему хочется слушать.

С обеих сторон дорогу обступал лес. Взгорский заглушил двигатель, все вытащили воск из ушей — и ничего, ровным счетом ничего в мире не изменилось.

В ночном лесу стояла тишина.

14

Вернемся в город и, дабы не обременять вас долгими описаниями, прибегнем к емкому сравнению.

Подобно тому как тоненький ручеек, нашедший щель в бетонном теле плотины, превращается вскоре в могучий поток, сметающий все на своем пути, так и бегство наших героев стало началом всеобщего бегства, массового исхода или, как называло это явление энское радио, — «коллективного оставления трудовыми ресурсами бывших районов их сосредоточения».

Чутко улавливающий веяния времени товарищ Н. устным распоряжением наложил вето на слово «зона». Вернее говоря, он произнес «налагаю эмбарго», но подчиненные поняли его как следует. Умеет товарищ Н. работать с кадрами, воспитывать в них самостоятельность!

Слово «зона» с той поры в городе Н. и его окрестностях не употребляется ни в каких смыслах, и когда товарищ Н. незадолго до отъезда в Центр открывал межобластной съезд землепашцев, он сказал в приветственном обращении: «В наших краях, товарищи, в нашей Несуглинной, так сказать, ограниченной территории...» И все его правильно поняли.

Эксперимент был завершен, итоги его, никем не подведенные, нам неизвестны.

На этом, выполнив свой гражданский и литературный долг, мы могли бы с чистой совестью поставить точку. Однако повременим немного и оттянем наше прощанье на несколько абзацев.

Мы достаточно скромны, чтобы не трубить о своем таланте, если таковой имеется; оставим это критикам, если таковые найдутся. Но начитанность наша, согласитесь, вне всяких сомнений. Из прочитанного мы вынесли, в частности, что историко-литературный труд, охватывающий ши-

рокий круг лиц и событий, должен быть завершен эпилогом. Например: судьба героев в дальнейшем сложилась счастливо. Или как-то иначе. Ведь каждому же интересно, что было потом, некоторые только ради этого и читают.

Эпилог

Перво-наперво, понятное дело, о судьбе товарища Н. Не раз и не два, отдавая ему должное, мы упоминали, что он пошел на повышение, хотя в первое время после завершения эксперимента были у него небольшие неприятности, но все обошлось, такими людьми у нас не бросаются, и теперь товарищ Н. залетел так высоко, что и задрав голову не увидишь. Тут самое время назвать истинное имя товарища Н., которое мы берегли до эпилога, лукаво подсовывая читателю всякие ложные и подложные имена, можно сказать, псевдонимы. Так вот, настоящая его фамилия Неумейло. Если бы наш рассказ не подходил к концу, вполне возможно, что пришлось бы рано или поздно назвать последнюю и единственную верную фамилию товарища Н., самую что ни на есть настоящую. Но поздно. Пусть все остается как есть.

Областной аппарат удалось сохранить в неприкосненности, а возглавил его твердый руководитель с широким кругозором и фамилией, которая, естественно, также начинается на букву «Н». Хороших традиций не так уж много, их надо бережно сохранять.

Само собой разумеется, что Мария Афанасьевна поехала в Москву вместе с супругом, такие женщины своих мужей не бросают ни в радости, ни в печали. Климентий тоже отправился в Москву, где закончил учебное заведение. Теперь он работает в аппарате экономического советника одной из развивающихся стран, названной в честь какой-то части тела экзотического животного — кажется, Берег Страусиного Яйца. Или нет, Земля Носорожьего Уха; надо бы заглянуть в географический атлас. Благодаря экономическим советам Климентия эта страна, населенная маленьkim, но свободолюбивым народом, развивается хорошими темпами в нужном направлении.

Евсей Савельевич Говбиндер по-прежнему полон энергии и суется не в свои дела, но времена меняются, и его побивают каменьями существенно реже, чем раньше.

Семен Семенович и Алеша... Вот напасть! Мы же с них, можно сказать, начали, вроде бы прочили их в главные

герои и потом, чтобы не совсем потерять их из виду, время от времени давали понять намеком, фразой, словечком, что помним о наших вагонных попутчиках, вот, мол, еще немного — и зайдемся ими вплотную. Не успели! Простите нас, люди! А теперь уже поздно, закругляться пора.

Поэтому скренько.

Доцент Рейсмус принял за новую и новейшую си-ренологию, опубликовал с дюжину статей и написал докторскую диссертацию.

Верочка и Сережа лечат больных и в диагнозах, по мере возможности, не ошибаются.

Бухгалтер-ревизор Вилнис в рот не берет спиртного.

Борис Взгорский недурно сыграл роль чекиста. За ее исполнение он получил именную премию республиканского комитета. А в театре-студии «У Ильинских ворот» он показал зрителям новую интерпретацию «Гамлета», не забыв, по своему обыкновению, внести в текст Принца Датского свое, личное, выстраданное. В известном вам, возможно, монологе он произносит: «Быть или ну его — вот, я вам доложу, проблема!» Его хорошо принимают зрители. Много цветов под занавес.

О сиренах. Оставшись не у дел, Дорида и Гегемона отправились домой и где-то на скале между бывшей Сциллой и бывшей Харибдой вернулись к прежнему занятию: пением завлекают к себе моряков. Дорида ходит по ста-ринке нагишом, а Гегемона так привыкла к розовому лифчику, что, уезжая на родину, прихватила с собой дюжину-другую и носит, не снимая. Там у них, говорят, с нижним бельем неплохо, но такого товара, как у нас, не съскать.

Обе дамы и до поездки в Н. были не первой молодости, а после нервотрепки на чужбине несколько сдали, погруз-нели, поблекли. Но когда месяц-другой поболтаешься в открытом море... Матросня во всем мире одинакова, и на-ша не исключение, как бы ни пыжились судовые зампо-литы. Это мы пишем с полной симпатией к советским и иностранным морякам, у которых сирены пользуются большой популярностью. Иногда Дорида Вакховна и Ге-гемона Гефестовна, завидев красный флаг на гюйсе, поют и на русском языке. Сами мы не слышали, но нам рас-сказывали наши туристы, совершившие круиз по Среди-земному морю.

А вот Елена, дочь Ипполита, навсегда связала свою судьбу с городом Н. Ее часто можно встретить на энском колхозном рынке, где она покупает картофель и другие

корнеплоды у Клавдии Михайловны или ее супруга Алевтина Ивановича. Работает Елена Ипполитовна в городской филармонии, выступает с сольными концертами на предприятиях. Пела она и на молокозаводе, и на заводе **ЖБИ**, и перед тружениками предприятия АГ-518. Голос у нее по-прежнему хорош, репертуар разнообразный — стаинные русские романсы, неаполитанские песни, произведения советских композиторов. Елена Ипполитовна замужем. Ее муж, Вячеслав, тоже прилично зарабатывает. Недавно у них родился первенец.

Вот вам единственная неразгаданная загадка в этой реалистической повести: как появился на свет малыш? Из яйца? Или обычным способом? Хорошо бы спросить, да, знаете, как-то неловко. В свое время не поинтересовались, а теперь ради такой пустяковины мотаться в Н. и обратно...

Когда попадете в город Н.— сами и спросите.

15

Нет такого закона, что за эпилогом больше ничего не должно следовать. Как правило — не должно. Но в отдельных случаях можно. А в исключительных — даже нужно.

Наш случай вы сразу и безоговорочно сочтете исключительным, как только узнаете о жгучей тайне, скрываемой нами до сей поры. Но время настало.

Знайте же: нет и не было никакого города Н.! И реки Энки не было! И н-ского завода **ЖБИ**! И товарища Н. не было! Не бы-ло ни-че-го! Все изменено до неузнаваемости из высших государственных соображений.

Но теперь, когда можно, а порой даже нужно, мы раскроем перед вами, а также перед всеми другими отечественными и зарубежными читателями самое сокровенное. Гласность — так до конца. Без изъятий и недоговоренностей.

Будь что будет.

Значит, так.

Не было и нет города Н., речки Энки, завода, тов. Н. и прочая, и прочая.

Был город М. на реке Эмке. И завод называли Эмским Краснознаменным заводом **ЖБИ**. И возглавлял Эмскую область не кто иной, как тов. М., чью подлинную фамилию мы, несмотря на гласность и отсутствие запретных тем,

раскрыть не смеем. И не Амур и Миссисипи значились на картах эмских землеустроителей, а Лена и Амазонка. И не «Иллюзион» называется там кинотеатр, который на главной площади возле пожарной каланчи, а «Синема». И не Климентием зовут сына тов. М., а Лаврентием. И не в Африке он работает, а в Латинской Америке. И хек в эмских магазинах бывает регулярно, и Вайнтраубова пуделя зовут не Выброс, а Выхлоп.

Но все остальное — чистая правда.

Михаил Успенский

КАК У НАС В НОМЕНКЛАТУРЕ

Былички конца XX века

*А вы на земле проживаете,
Как черви слепые живут.
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!*

М. Горький

Какие посетители бывают

Это еще давно было.

Был Дрянных Наум Евстигнеич такой большой начальник, что и не выговорить. Главнее его разве что в Москве найдутся, да и то не все, а через одного. И вот приходит к нему старичок. То ли ради жилплощади, то ли насчет пенсии, то ли песочницу во дворе деткам построить — секретарша и не помнит уже. Он разогнался, старишок-то, а секретарша ему окорот дала:

— Наум Евстигнеича нету и не скоро будет. На барабанном заводе новый почин открыли — он ленточку режет.

Старичок другим днем приходит, секретарша свое:

— Наум Евстигнеич нынче в полях, разрыв между косовицей и обмолотом ликвидирует, не велел ждать.

А на дворе февраль месяц. И вот неделя, другая, старишок все ходит, а секретарша ему:

— Наум Евстигнеич на своем самолетике в Африку удалился. Там главному африканскому принцу переходящую медаль вручают, Наум Евстигнеич — свидетелем.

А в это время Наум Евстигнеич у себя в кабинете крепко закашлялся. Наверное, коньяк не в то горло полез. Дохает, кряхтит. Старичок и побеги прямо в кабинет. А Дрянных Наум Евстигнеич прокашлялся и заревел:

— Для чего в неудобное трудящимся время старишков пускаете? Я не велел, чтобы в джинсах ходили!

(А был старишок в джинсах.)

Секретарша зяргалась, старишок выпроваживает. Наум Евстигнеич не побрезговал, самолично взашей пихает. Вдруг старишок огорчился, насупился и стал четыре метра

ростом! Под потолок. В этих-то домах потолки высокие. И старичок высокий. И говорит страшным голосом:

— НУ, ЛАДНО! ПОПОМНИТЕ МЕНЯ ТУТ!

Плюнул на пол — образовалась дыра. Старичок туда прыг, а секретарша кричит:

— Охранники, а охранники! Тут зловредный старичок проник и против Наума Евстигнеича акты планирует!

Охранники прибежали — куда там! Старичок-то знатной был, глаза им отвел, они только друг дружку зря перестреляли.

День прошел, другой, на третий у Наума Евстигнеича на голове лысины растет. Пригнали врачей, мажут лысину иностранными средствами, крокодильими яйцами, толченым тигриным усом. Травили кислотой, поливали жидким азотом — не возвращается волос, все равно как невозврашенец какой.

— Ладно,— говорит Наум Евстигнеич.— Вижу, что не врачи вы, а вредители одни. Переть далее некуда — стригите и брейте мне голову, как будто бы я маршал Конев.

Как Наум Евстигнеич икорки попросил

С голой головой прямо из кабинета на банкет отправился. Тогда такой порядок был: чуть что — банкет на шестьдесят четыре персоны. От процедур и бритья оголодал Наум Евстигнеич и позывает:

— Икорку передайте! Передайте мне икорку!

От него, видишь ли, икорку далеко поставили: среди официантов-то тоже дураков хватает. Он и шумит: передайте да передайте икорку!

А не в хороший час сказал, про старичка-то четыре метра ростом забыл. И вместе с икоркой, черной ли, красной, передали Наум Евстигнеичу икотку. Она обыкновенно у женщин встречается и по деревням, а тут у мужика и на ответственной должности. Икает Наум Евстигнеич, старается, а это старичок знаткой всего одну-то буковку поменял. Нашли в зале кто поближе по званию, поручили колотить по спине. Думают, подавился. Кое-как потыкался, ему фужерчик пихают:

— Наум Евстигнеич, вот минеральная-то — поле-езно!

А у Наум Евстигнеича внутри живота кто-то тоненьким голосом свиристит:

— Хозяина моего водой поить, такую-то мать? Наливай беленькой полный стакан!

Ох, ах, нашли беленькой, а свиристелка-то эта внутренняя все недовольна:

— Я сказала, стакан граненый, так вашу и перетак!

Сопровождающие лица смеются, на матерки-то думают — народный юмор. А это икотка бушует:

— Пусть Федор Кузьмич по залу на карачках ползет, старый хрен, а Матильда Семеновна на нем верхом кавалерийский рейд по тылам противника изображает.

Видят люди, что у начальника требования сильно повысились. Изобразили в лучшем виде, на то и банкет, чтобы вспоминать до следующего.

Как врачи икотку бороли

Проспался Наум Евстигнеич, хотел перед супругой за вчерашнее повиниться, да вместо того снова вы кликать начал:

— Разлеглась тут! Хозяину худо, а она ничем-ничего!

Жена-то умная была.

— Наум! — говорит.— Ты вспомни своей головой: у тебя же скоро заседание пленума президиума форума симпозиума! Ты же с высокой трибуны эту неправильную линию поведешь!

— И правда,— говорит Наум Евстигнеич своим голосом.— Ну-ка собирай всех врачей, какие есть, как бы на медицинскую конференцию...

— Не боюся врачей! — верещит икотка.— Перевидала их там-то и там-то!

Где бы ни видала, а съехались все, сколько было. Техники с собой притащили. Опутили Наума Евстигнеича проводами, подключили ему искусственное сердце, легкое, почку, печень, мало до мозгов не добрались. А икотка дразнится:

— Я-то уж с печени сбегла! Я вото где!

Врачи ее совсем в другое место загонят, а она:

— А сейчас-то я куда намылилась, срам сказать кому!

Врачи всем кагалом туда, а ее уж и след простили. Наконец главный профессор (он ни одного начальника не боится с тех пор, как самого Терентьева от стригущего лишая вылечил) говорит:

— Шабаш! Наука бессильна!

— Точно,— подтверждает икотка паскудным таким тоненьким голосом.

А Наум Евстигнеич пригрозил врачам постановлением, да что толку-то.

Как Наум Евстигнеич с боженькой кокетничал

Были-обитали при Наум Евстигнеиче двое, Сенофондов да Гаманок. Они ему заместителями приходились, один по общим вопросам, другой по все остальным. Поняли: кто икоту выведет, тому в большой чести пребывать. Гаманок говорит:

— Врачи ваши дураки, а вот привезу я сейчас батюшку попа со святой водой...

Наум-то Евстигнеич аж сбрасывает:

— Ты в уме ли? Мне, члену почетного президиума,— попа-мракобеса? Он же от меня декретом отделен!

Гаманок уверяет:

— Так я же ночью привезу!

— А-а, тогда ладно. Я сегодня не велю по городу фонари зажигать, как будто экономия электричества.

Икотка тоже провещилась:

— Боюсь, боюсь батюшку! Пусть святой воды поболее везет!

Как стемнело, Гаманок взял под святую воду целую поливальную машину — и к батюшке. А батюшка уже десятый сон смотрит. Интересный сон: как на Никейском соборе Николай Мирликийский Ария-отступника по мордасам возит. А на самом деле это Гаманок в дверь звонит, стучит, тарабанится. Проснулся батюшка, отворил дверь, хотел с Гаманком как во сне обойтись, да сдержался, помянул царя Давида и всю кротость его.

— Что ж ты, сынок, мне мой любимый десятый сон досмотреть не дал? — только и попенял.

Гаманок ему объяснил расстановку сил.

— Э,— говорит батюшка.— Да ведь если узнает кто — Наум Евстигнеича по шапке, а на меня епитимью наложут в десятикратном размере.

— Не узнают,— говорит Гаманок,— потому что мы по всему городу свет выключили. Святи воду да поехали!

— Куда столько-то?

— А разве Наум-то Евстигнеич мал человек?

Поехали. В темноте всю поливалку побили, весь город на уши поставили, но доехали.

Батюшка молитву читает, Гаманок начальника из машины водой поливает, икотка в начальнике криком исходит, а организма не покидает. Наконец батюшке надоело икоткины матерки слушать:

— Это ваше дело, мирское. Кабы в него легион бесов вселился, я бы с ними помужествовал, а то икота поганая.

И добавил неясно, по-церковнославянски вроде.

Наум Евстигнеич на Гаманка внимательно смотрит, вопрос о его соответствии занимаемой должности рассматривает...

— А! — говорит Гаманок. — Я же все перепутал! Надо муллу, а не батюшку-мракобеса! Аллах нынче в мире большую силу набрал...

Сбегал, привел муллу, а по дороге еще и за раввином заскочили на всякий случай. Толку чуть, только икотку пуще прогневили. Гаманок не сдается, умело борется за жизнь:

— Наум Евстигнеич, дайте вашего самолетика! Следую на Север — шаман знакомый есть в Суринде. Шаман на живого налима помочится, сбрызнет — все как рукой...

Заревели Наум Евстигнеич с икоткой на пару, схватили Гаманка, изо всех сил бросили в глухой район. Пусть там с шаманом своим дружбу водит!

У Сенофондова в душе оркестры играют, Мордасова частушки поет.

— Я давно в Гаманке этом тягу к идеализации темного прошлого замечал. Мы, Наум Евстигнеич, лучше сделаем, как материалисты: есть баушка Семеновна. Она самого Макеева в юности от рожи избавила...

Как Семеновна икотку одолела

Семеновна в бараке жила на улице имени Сорокалетия Переименования. К ней с утра хвост народу — головы ситом править после праздничка. Сенофондов вперед милицию послал, они стали очередь переписывать, она и разбежалась.

Сенофондов говорит:

— Вот, баушка Семеновна, до чего демократия досягнула: сам Наум Евстигнеич твои тяжкие жилищные условия пожалеть приехал. Кстати, к нему тут днями икотка привязалась в доброкачественной форме, ты глянь, старая, расстарайся.

Икотка этой Семеновны всерьез забоялась, ругается, Наум Евстигнеичу вежливого слова вставить не дает, потом даже частушку с критикой пропела:

Во деревне жизнь
Враз переинчили:
Свели Семеновну в сарай
Да и раскулачили!

На перегибы в период коллективизации недвусмысленно намекает. Семеновна губки поджала, стала ладить: спрыснула с уголька, пошептала. Потом говорит:

— Скоро полдень, дикий час. Тащите сюда живую воду: буду ее о полудне на окне давить...

Секретари, помощники, референты забегали... И в гипроводхоз бегали, и в потребсоюз, даже в филармонию — нигде нет...

— Распустили народишко,— ругается Наум Евстигнеич.— Надобно опять месяца на⁴ два по всему городу воду отключить — пусть разживутся...

Поздно: дикий час пробил. Икотка как начала Наум Евстигнеича об пол прикладывать, политически безграмотные слова выкрикивать! А милиционеры в оцеплении-то слушают! Тут бежит запоздалый референт. Расстарался, добыл на рынке у восточного человека за пятерку.

— Время ушло,— говорит Семеновна.— Теперь-то сади ее хоть к себе в пробор — это ей будет шаше Энтузиастов...

— Ученую степень получиши! За тебя уже три гаврика диссертацию пишут — я распорядился...

— Добро,— говорит Семеновна.— Гонять икотку можно еще так: выдернуть кол, да не из плетня, а из слова «заколебать», и тем колом вдоль спины семьдесят два раза...

Попытали вытянуть кол,— нет, нехорошо получается, неприлично.

— Оставьте,— говорит Семеновна.— Нет в вас того задору. Тогда одно остается: в полдень, в дикий час, разболокайся до трусов и беги вверх, на Афонтову гору. Только бегать надо каждый день целую неделю. Икотка замучается да плюнет на свои обязанности...

— Как же мне в трусах бегать? — испугался Наум Евстигнеич.— Разве что народ на полевые работы отправить из города? Или учения гражданской обороны объявить?

— Я придумал,— говорит Сенофондов.— Никуда никого угонять не надо. Наоборот, у нас массовое мероприятие будет!

Как словом, так и делом: объявили всеобщую Неделю бегуна. В полдень выходят изо всех учреждений, со всех заводов и бегом на Афонтову гору для здоровья. Впереди Наум Евстигнеич с личным примером, за ним помощники с транспарантом: «Беги, Емеля,— твоя неделя!»

И гляди ты: икотка-то сперва больше помалкивать стала, утомилась, а потом и вовсе на нет сошла.

На работе профилактические меры принял: пытаться стал в кабинете. Кроме того, Семеновна, доктор наук, предупредила:

— Опасайся по глинистой почве ходить. Неровен час, кто в след три иголки остриями вверх вставит — так будешь знать. А то еще хуже — след вынут да нашепчут...

С тех пор не видали Наум Евстигнеича на ударных стройках.

Как Наум Евстигнеичу подбросили кикимору

С икотой, не будь ладна, управились. Наум Евстигнеич на симпозиум по форуму пленума съездил, наградил жену ценным подарком из московской гостиницы.

Но вот новая беда. Любил Наум Евстигнеич после обеда вздремнуть часика два. Ему для этого диванчик поставили, а он по старой привычке за столом предпочитал. И вот как-то спит и видит: из-за сейфа японской ручной работы выходит мужичок невысокого ростика, в галифе, во френчике, с усиками, невзрачный, рябенький, изо рта трубочка торчит. И говорит Наум Евстигнеичу:

— Товарищ Дрянных! Вы мои «Вопросы языкоznания» законспектировали, нет ли? Ну, я тебя сейчас задавлю-ка!

И ручищи вытянул на три метра двадцать два сантиметра, добрался до шеи, давит Наум Евстигнеича, ругается по-нерусски. Наум Евстигнеич вырывается, кричит. Секретарша дверь открыла — он шмыг за сейф, как не бывши.

— Что такое, Наум Евстигнеич?

— Да так, скверно во сне видел...

— А что это у вас на шейке?

Стал Наум Евстигнеич в кабинете с охранником сидеть. Ну, пообедал, стал его сон долить. Снова выходит из-за сейфа рябенький с трубочкой. Охранник же, вместо того чтобы огонь открыть, встал по стойке смирно, ладошку к пустой голове прикладывает. Рябенький ухмыльнулся и спрашивает:

— Товарищ Дрянных, мы решили, что у вас головокружение от успехов. Поможем вам преодолеть: я тебя задавлю-ка!

И давит, старается. Охранник пистолет в зубах держит, а руками изображает бурные, продолжительные аплодисменты. Ну, секретарша в кабинет. А рябенький ее почтому-то стеснялся, снова за сейф оттянулся... Наум Евстиг-

неич глупого охранника присудил к высшей мере — с пайкового довольствия снял и говорит:

— Вы, это, мне после обеда спать-то не давайте — пусть в телефончик звонят, некоторые даже так заходят, анекдоты сказывают... А то еще задавит этот-то! Рябенький!

Неделю без дневного сна продержался — более не может.

А чуть задремлет — лезет из-за сейфа рябенький, дымит в лицо, угрожает, а под конец — давит. Позвали Семеновну, приехала с лаборантами.

— Кикимору тебе подложили, Наум Евстигнеич. Ищи!

— Ищите! — Наум Евстигнеич кричит. Все перерыли, стенки по кирпичику перебрали. Семеновна объясняет:

— Кикимору в дом под нехороший день подбрасывают: либо на Онуфрия-мужеложца, либо на Мелентия-мздоимца, либо на Лукьяна-спидоносца, либо на Варвару-валютчицу. Ее как найдешь, скорее швыряй наотмашь в огонь, притом левой рукой...

— Так нету же ничего!

— Плохо ищут! А не хочешь — в другой дом переезжай!

— Другой-то дом еще в той пятилетке намечен... Ищите кикимору, а нет — другое место работы!

Семеновна говорит:

— А под сундуком-то глядели?

(Это она на японский сейф.)

— Что ты! Его отродясь никто с места стронуть не мог!

— Так смогите!

Делать нечего. Принесли блоки, тросы, домкраты, лазер — кое-как приподняли сейф. Семеновна туда нырь рукой:

— Вот она, голубушка!

А в руке у нее куколка маленькая. Пригляделись — это простая папироска в тряпочку замотана. Называется папироска «Герцеговина Флор».

Наверное, так рябенького звали!

Как Наум Евстигнеич на ночь глядя катался

Начальство у нас не без греха, поскольку оно из нас же с вами в люди и выходит. Вот и Наум Евстигнеич. Завел помимо жены девицу по имени Виктория Перемога, украинскую подданную. А квартиру ей нашел подальше от центра.

Как Семеновна рябенького-то прогнала, Наум Евстигнеич снова себя человеком почувствовал. Решил домой сегодня не ехать. Звонит жене:

— Меня не жди. Мы новый стиль работы осваиваем: ночной совет застрельщиков авангарда.

Дальше звонит в гараж:

— Шофера Володю ко мне!

— Дак ведь Володю-то...

— Ни-ни у меня! Чтоб Володя был!

Через минуту и правда бибикает.

Сел Наум Евстигнеич в машину, видит — шофер Володя бледный какой-то. А этому шоферу он только и доверял.

— Ты, Володя, болеешь, что ли?

— Да нет, это я так...

Поехали. Вот уже коммунальный мост. Володя шофер бормочет:

— Месяц светит, покойник едет... Наум Евстигнеич, не страшно тебе?

— А чего страшиться-то? Бабе своей наплел всякого, дежурного проинструктировал...

Дальше едут. Наум Евстигнеич задремывать стал. А Володя ему опять приговаривает:

— Месяц светит, покойник едет... Наум Евстигнеич, не страшно тебе?

— Пошто страшно? Акты на передачу мы сожгли, Абрам Исаич в ходе следствия удавился, Никотин Прокорович на повышение пошел...

Подъезжают уже к самому Каменному кварталу. Шофер Володя снова свое спрашивает:

— Месяц светит, покойник едет... Наум Евстигнеич, не страшно тебе?

— Вот привязался! Да пока в столице дядя Коля сидит, ничего мне не страшно на всем белом свете!

А Володя улыбнулся — что за улыбка, в темноте-то не видать,— и негромко так говорит:

— Да я не к тому... Не страшно ли тебе, Наум Евстигнеич, с покойником-то по городу разъезжать?

И засмеялся ужасно: хыр-хыр-хыр...

Наум Евстигнеич сразу обретенное было мужество потерял, а с ним и сознание. А когда оклемался, оказалось, что сидит он в обломках своей персональной машины на штрафной площадке ГАИ. Кое-как встал, к людям пришел, от них и узнал, что шофер Володя еще прошлой ночью насмерть разбился, а ему до поры не говорили, чтобы не

расстраивать. Но ведь какой верный шофер был! Мертвый-мертвый, а ослушаться распоряжения не посмел!

Раньше-то, говорят, все люди такие были, это теперь пораспускались.

Наум Евстигнеич и финский баннушко

Как-то раз у Наум Евстигнеича приключилась беда: барабанный завод план завалил. Ни тебе тревогу пробить, ни о достижении отрапортовать. Наум Евстигнеичу из Москвы сам дядя Коля позвонил, ругается:

— Твою-то об угол да об косяк! Ты чем там у себя думаешь? Ну, будет тебе баня!

И точно: присыпает в особом ящике финскую баню. Наум Евстигнеич уразумел и в тайге, от глаз-то подальше, вокруг бани выстроил дом с оградой и всем, что положено. И даже с девицами, чтобы, гостей ожидая, томились. Ну, а для ревизоров-дураков написал, что отгрохали, мол, свинокомплекс. Так эту баню промеж собой и звали: свинокомплекс. И конспирация, и самокритика разом.

И вот пошли в эту баню париться Наум Евстигнеич с ближайшими друзьями. В предбаннике-то костюмов га-бардиновых, мундиров, орденов понавешали, один даже золотую шашку приволок — боялся, что дочка на барахолке загонит. Расстарались насчет кваску и покрепче. А про Семеновну-то не подумали. Что ей, старой ведьме, в соблазн входить? Парятся, вопросы решают: миллион туда, миллион сюда... Охолонут — и назад на полок. Наконец напарились, пошли в дом: показать, как им баня подействовала, все ли поправила, пусть-ка девицы проверят! А Наум Евстигнеич вздумал похвалиться банный крепостью, решил еще разок зайти. Семеновна была бы, так сказала:

— Ой, не ходи в третий пар, нехорошо там!

А нет Семеновны-то. Ждут-пождут — не выходит Наум Евстигнеич. Послали за ним девицу посмышленей. Она как завизжит! Охранники вспокошились — и туда! А там-то! Засунут лично Наум Евстигнеич промежу полком и каменкой, аж голова сплющилась! А на самом заднем тыле вся шкура ободрана...

Откачали Наум Евстигнеича, и поведал он, что вышел из-за полка безо всякого доклада неведомый человек, не по-нашему говорить стал, хватает Наум Евстигнеича, тащит к себе.

Это, понятное дело, баннушко был. Только финский. Не мог он понять-осознать все значение Наум Евстигнеича в

данном регионе, по-русски не соображал, вот и потянул куда не надо, да чуть шкуру всю не спустил — ладно, девица помешала, крикнула, матушку помянула. Баннушко мату побаивается. Да. А маленько-то шкуры содрал.

Недаром его еще банный обдерихой кличут.

Как Наум Евстигнеича сзади лечили

Наум Евстигнеич снова по врачей:

— Вы... так-то о здоровье народа заботитесь? На чем я теперь в почетном-то президиуме сидеть буду? На воздушной подушке, что ли?

Врачи говорят:

— Надо, извините за выражение, свинскую кожу подсадить.

— Да! Свинскую кожу! Вы на что намекаете, авторитет подорвать хотите? У нас патриотов полно, Сенофондова моего хотя бы взять того же...

Сенофондов сделал вид, что ремешок уже расстегивает, а врачам-то шепчет:

— Ну его совсем — живого человека драть! Найдите в морге бича без прописки, с него и требуйте, а я в долгу не останусь...

Врачи так и сделали: подсадили Наум Евстигнеичу кожу бича, а оформили, как будто Сенофондов добровольно сдал.

Шкура дубленая, хоть неделю подряд в президиуме сиди — не просидишь.

И все бы ничего, да только бич-то этот, посмертный донор, стал ночами приходить да шуметь на Наум Евстигнеича:

— Отдай мою кожу! Отдай мою кожу!

Он еще и похуже кричал. Семеновну позвали. Она его и крестом, и перстом, и матом, и динамитом — нет, не дает проклятый Наум Евстигнеичу осуществлять право трудящихся на заслуженный отдых, свое требует!

— Ладно,— говорит Наум Евстигнеич,— я тебе, шарлатанке престарелой, покажу, что административный метод покрепче твоих заговоров! Дело проверенное!

Вызывает мужика из коммунхоза:

— Что это у вас покойники гуляют, в работу аппарата вмешиваются! Развели, понимаешь, демократию...

Делать нечего, заровняли кладбище, понавтыкали саженцев — вышел парк культуры и Горького.

И про Сенофондова-подлеца не забыл:

— Так-то ты меня верно любишь! Пошел вон из нашей номенклатуры, и чтобы ноги твоей в ней не было!

Как Наум Евстигнеич дядю Колю встречал

Загодя упредили Наум Евстигнеича, что едет к нему в гости дядя Коля. Это он для товарища Дрянных дядя Коля, а для нас-то с вами — ого-го кто. Потому три дня в городе никто работу не работал, а дали всем в зубы по метелочке. Листопад был, вдруг дядя Коля заморщится: что это вы тут мне всяких листьев понакидали!

Приехал дядя Коля на двадцати семи «Чайках», а «Волгам» и вовсе счету нет. Встретил его Наум Евстигнеич на полдороге, едут в город. И вот на том самом месте, где древле Мстислав Редедю зарезал, заглохли моторы у всех машин! Будто и не бензин внутри, а совковое масло!

Охранники шоферов-то взяли в пинки, в тычки, а те не понимают. Шум, стук, дядя Коля сопит носом, сейчас ругаться начнет. Два генерала застрелились, у третьего патрон поперек ствола пошел, так он убежал в лесок и повесился тихонечко на портупее.

Наум Евстигнеич трясется — «Чайка» аж ходуном ходит, но виду не подает, только зубами золотыми гремит. Опомнился, достает из багажника бабушку Семеновну:

— Ладь, старая! Карабун пришел!

Семеновна поглядела и велит:

— Копайте там-то и там-то.

Не то что лопату искать — пальцами копали! И выкопали полосатую милицейскую палку, узлом завязанную. Сожгли палку и поехали дальше беспрепятственно.

Как дядю Колю по тайге водило

Дядя Коля и говорит:

— Наум, а Наум! А как тут у вас охота?

— Так точно, все готово!

И едут в тайгу. А там уже егерей! А дичи, которую дядя Коля убил! Дядя Коля возмечтал:

— Хорошо бы лесного хозяина уложить!

А хозяин-то услышал. Дядя Коля шаг-другой сделал и пропал. Что началось! Наум Евстигнеича за грудки трясут: почему не обеспечил? Сорок полков солдат лес прочесывают — нету! Вертолетами летают, лазером светят, по радио вернуться уговаривают — нету! Скоро неделя

пройдет, как нету! Наум Евстигнеич хотел враз поседеть, да вспомнил, что лысый... Семеновна еще тут гундит:

— Сами-де виноваты... Лесного изобидели...

— Дискредитируешь, ведьма! Сгинь!

На восьмой день выходит дядя Коля: вот он я! В чем душа, обремкался весь, комарам ведра два крови выпоил, но бравый:

— Знатная охота!

Ближние-то спрашивают:

— Вы это... где так долго-то?

— Дак меня Наум Евстигнеич водил: сейчас-де берлогу покажу!

— Какой Наум? Он же на глазах был, ответственность нес...

— Да вот Наум Евстигнеич. Он меня всю дорогу орешками кедровыми питал. Хотите?

И вынимает из карманов орешков горсть, но только не от кедра, а от дикой козы — это его лесной хозяин водил да угощал. Ближние сокрушаются:

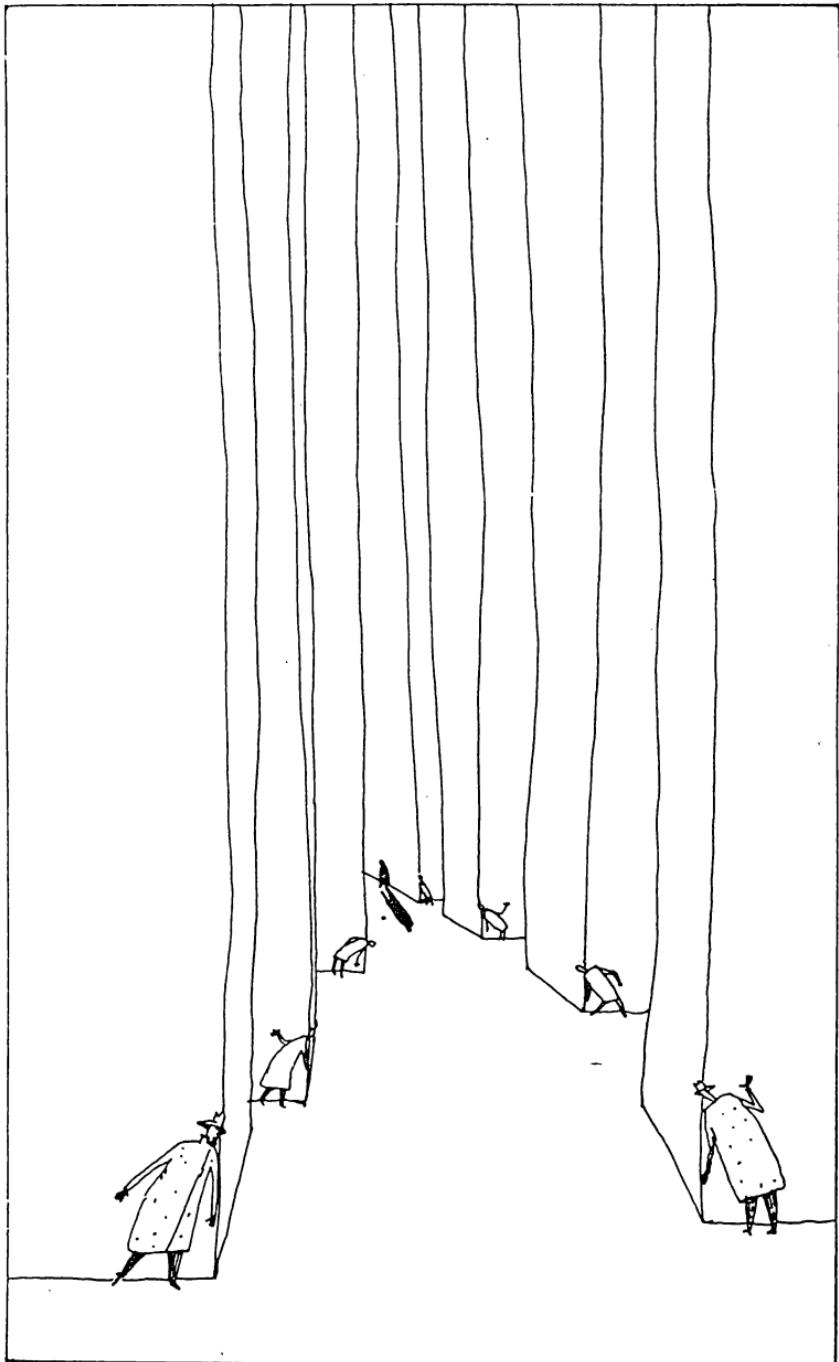
— Перенапряжение на службе народу... Срочно отываем на лечение...

Наум Евстигнеич:

— А меня-то куда?

— А ты, проходимец, к африканскому принцу поедешь! У него тамтамная фабрика что-то плохо работает — укрепиши...

Уехал, и с концами. Этот принц впоследствии людоедом оказался. То ли он съел Наум Евстигнеича, то ли наоборот — никому в точности не известно. Потому что это еще давно было. То ли при царе, то ли еще раньше.



И

О

В

Ы

И

Часть
вторая

З

А

В

О

Д

— Вообще я предлагаю такую формулировку,— добавил конопатенький,— советская власть плюс уважение к личности равняется обыкновенная светлая жизнь. Поэтому-то и народ у нас покладистый, добродушный и работает исключительно для души.

— Знаете что, ребята,— сказал Комнатов,— это, может быть, и хорошо, но преждевременно.

— Конечно, преждевременно! — согласился с ним конопатенький.— Только уж больно пожить охота!..

В. Пьецух. Новый Завод.

Михаил Успенский

В НОЧЬ С ПЯТОГО НА ДЕСЯТОЕ

И пусть, как я сказал, учиться трудно, но еще труднее переучиваться, и особенно если ложь слушали многие годы и обманывались не только сами, но и отцы, и деды, и почитай все прежние поколения.

Дион Хризостом

Ложь предков не нужна потомкам. Вот именно то, что ложно, но не разоблачено, действительно «кошмаром довлеет» (Маркс) над умами и душой грядущих поколений.

Г. Куницын. Общечеловеческое в литературе

Говорение правды вслух

Честное слово, никого не трогал, просто включил телевизор. А оттуда и слышу:

— Сегодня по многочисленным просьбам зрителей и неоднократным требованиям времени наш традиционный сеанс ритмической гимнастики решительно отменяется. Вместо него предлагаем вашему вниманию новый комплекс упражнений по говорению правды вслух. Занятия ведет заслуженный комментатор по общим вопросам Сигизмунд Пытько.

Появился на экране Сигизмунд Пытько — да вы его знаете. Если у него спросить, почему в городе Костроме общественный транспорт недружно ходит, он тотчас ответит, что по производству обувных изделий мы занимаем первое место в мире. А чтобы не был слишком резким переход от аэробики, надел Сигизмунд Пытько поверх брюк полосатые гетры.

— Добрый вечер, дорогие телезрители, — сказал он. — Сегодня мы разучим вводную часть нашего комплекса, которая называется «Начни с себя». Сядьте напротив зеркала и внимательно посмотрите себе в глаза. Сосредотачиваемся... Дайте своему лицу очень короткую характеристику. Нет, не физиономия, еще короче... Так, уже лучше. Побольше неприятности. Самомнение резким

движением мысли отбрасываем в сторону. Не выходит? Сосредотачиваемся и делаем еще раз. И два. И три. И четыре. Так, еще лучше, еще объективнее... Теперь расслабимся, помотаем головой...

Я помотал.

— Хорошо,— похвалил Пытко.— А сейчас переходим к деловым качествам. Сколько рабочего времени вы отдаете работе? Только честно! Час? Два? Три? Четыре? Пять? Шесть? Не увлекайтесь, не лгите себе. Три — четыре. Три — четыре. Будьте объективны. А сколько надо, не забыли? Семь — восемь, семь — восемь... Быстрее, еще быстрее. Темп ударный, рывков старайтесь не делать, побольше ритмичности... Семь — восемь, семь — восемь... Так, достаточно, отдохнули, потрясли плечами...

Я потряс.

— Следующее упражнение — самооценка по отношению к спиртным напиткам. Непринужденней, друзья! Не стесняйтесь, кого стесняться — все свои. Сколько раз в неделю употребляете? Раз? Два? Три? Четыре? Смелее, смелее! Пять! Шесть! Семь! Понедельник! Вторник! Среда! Четверг! Пятница! Суббота! Воскресенье! Ну и кто вы после этого? Говорите, говорите! Так, теперь вместе с вашими домашними! Не обижаться! А сейчас быстро соразмерьте частоту употребления с вашим бюджетом! Девять — десять! Девять — десять! Ужас какой-то! Так, пошли к таксисту! Пятнадцать! Фигу! Два чирика! Два чирика! Хватит? Я тоже думаю — достаточно. Расслабились, вытянули руки, подрожали пальцами...

Я подрожал.

Следующее упражнение меня не касалось, а было про женатых людей и личную интимную жизнь. Потом Сигизмунд Пытко посоветовал каждому определить причину своего недовольства жизнью внутри дома и устраниТЬ ее. На следующем занятии он обещал расширить границы говорения правды до соседей, попрощался и сгинул, а я призадумался.

Полжизни, считай, прожил, а так ничего и не понял, брожу, как в лесу... Здоровье есть, квартира есть... Семьи нет... Ага, и причина есть, устранения требующая!

Дело в том, что я не переношу, когда по мне ползают. В доме предостаточно места помимо меня. Еще больше не глянется мне, что ползают ночью. Я хочу спать. Спать и высыпаться. И уж совсем я не терплю, чтобы пили мою кровь.

Если их не будет, я смогу наконец жениться. Стыдно

сказать, из-за них-то я и холостяжничаю. А то представьте себе: свадьба, шампанское, цветы, первая брачная ночь.. И тут они выползают: вы нас не ждали, ну, а мы уже пришли! Из-за этого ведь интимная жизнь может черт знает как сложиться.

Ну, допустим, я женился. Допустим. Допустим, не удалось этим тварям помешать нам завести детей. И они этих невинных малюток... Сыпь по всему телу... Врачи не могут признать такой простой причины и лечат от неизвестных науке болезней, после чего у ребенка определяется аллергия на все лекарства разом... Слуга покорный!

Дуст — пройденный этап. Привыкли. Кипяток — переносят. Ну, ладно. Давно пора. Хватит либеральничать. Кончилась эпоха попустительства и развитого алкоголизма. Я на вас найду управу!

У подножия

Управу я нашел не сразу. Искал по телефонным справочникам, звонил в различные родственные учреждения. Никто не хотел брать на себя ответственность, говорили, что это не их профиль. Потом верные люди за пятитомник Берды Кербабаева назвали мне адрес.

Раньше, говорят легенды, Управа вся как есть умещалась в купеческом особняке стиля модерн. А сейчас для нее на том же месте выстроили восемнадцатиэтажную башню прогрессивным методом. Я глядел на башню и думал — тоскливо, поди, работникам Управы, сидят по два-три человека на этаже, в одном кабинете висит пальто, в другом шляпа, третий сам занимает. С тоской вспоминает свой особнячок и шар-бабу, которая стерла его с лица земли. Потом-то я узнал, что все не так.

Дверей было многое множество, а открыта одна: угадай, какая. Угадал, перебравши все, но ходу мне в Управу не дали. Внизу на вахте сидели целых трое: бабушка из военизированной охраны, милиционер и солдатик. Они играли в карты. Бабушка налупила солдатику по носу колодой, а потом спросила, какого хрена я здесь шляюсь. Я как мог объяснил свое дело. Бабушка несколько смягчилась, но отметила, что бичам всяkim и богоодулам тут нечего делать. Я показал документы. Бабушка сказала, что паспорт — не документ, а хреношина. Я выразил удивление. Милиционер и солдатик полезли из-за стола. Я поспешно вышел, встал на крыльце, закурил. Задрал голову и поглядел, какую машину собрался одолеть...

...Вдруг от стены отделился дяденька в ярко-оранжевом стеганом пальто. Такие пальтушки надевают на детей и альпинистов, чтобы не потерялись. Дяденька был взрослый, лицо же такое, что сразу видно: ни на какую гору он не полезет, а, наоборот, сам кого хочешь туда загонит. Дяденька курил трубку в виде своей же собственной головы, но запах дыма был вовсе не табачный.

— Колесников Геннадий Илларионович? — спросил дяденька.

— Да,— сказал я.— А откуда вы знаете?

— Я всех знаю,— устало сказал дяденька.

— А вы кто будете? — спросил я.

— Я-то? — сказал дяденька.— Я вообще какой-то странный: затеешься, бывало, подляну сотворить, ан все это ко благу и обернется... А вы небось очень хотите туда попасть?

Я кивнул.

— Небось думаете — хорошо бы обежать все инстанции за один день?

— Отгул взял,— сказал я.— Конечно, не худо бы.

— А вам действительно ОЧЕНЬ этого хочется?

— ОЧЕНЬ! — сказал я.

Дяденька с грохотом выколотил трубку об ступеньки. Потом достал коробок хозяйственных спичек, стал обламывать им головки и этими головками снова набивать трубку.

— Хорошо,— наконец сказал он.— Даю вам слово, что вы ни секунды не потратите на ожидание, никаких справок с вас не спросят. Все нужные вам люди будут на месте. Все часы будут для вас приемными.

— Вы, наверное, руководитель Управы? — обрадовался я и подумал: повезло, как в кино.

— Я-то? Нет,— засмеялся он.— Мои масштабы покрупнее, хотя структура, в сущности, та же, да и задачи... Но время вы некоторым образом сэкономите, и, смею вас уверить, это будет весьма солидное время, весьма...

— Да уж,— сказал я, поглядев на верхние этажи.

— Еще раз — вам ОЧЕНЬ этого хочется?

— ОЧЕНЬ! — вскричал я.

— Тогда говорите всем, что вы от Страмцова.

— И этого будет достаточно?

— Более чем. На бабушку не обращайте внимания. Она такая злая, потому что заведовала детским домом для детей врагов народа. Двое в форме — ее внуки. А вообще тут никакой охраны не положено. Итак, дерзайте. К со-

жалению, никак не могу быть вашим Вергилием в грядущем странствии — это было бы по меньшей мере смешно и даже бесстактно. Да, кстати... В своем заявлении непременно укажите, что дело было В НОЧЬ С ПЯТОГО НА ДЕСЯТОЕ, иначе рассматривать не будут...

— Какое дело?

— Ваше дело. Да и любое дело. Ступайте, голубчик.

Дяденька похлопал меня по плечу горячей рукой и легонько подтолкнул к дверям. Очень хотелось посмотреть, как курят спичечные головки, но он отвернулся и быстро заковылял по ступеням.

На вахте продолжался картеж. Бабушка лупила по носам обоим внукам зараз — полуколодой каждому.

— Воротился, хрен моржовый! — обрадовалась она мне.

— Я от Страмцова, — представился я. Все трое бросили карты и встали навытяжку.

— Сердечный ты мой! — закричала бабушка. — Так ты от Страмцова и помалкиваешь! Дорогой ты мой человек! Не забыл, выходит, меня Страмцов! Помнит, поди-тко, как за порядком вместе доглядывали! Передай ему, что Груньюшка-дубачка тоже его помнит, и ждет, и за конфискованным крепко присматривает!

Я обещал передать и пошел по коридору.

Общий отдел

Пол в коридоре был какой-то странный. Приглядевшись, я с удивлением и негодованием увидел, что он составлен из могильных плит, искусно друг к другу подогнанных. «Прохожий, не топчи мой прах — я дома здесь, а ты в гостях», — значилось на одной. Я наклонился, чтобы как следует рассмотреть соседнюю эпитафию, и тут же получил хорошего пинка сзади. Оглянулся в гневе и увидел пожилую техничку, копию вахтерши Груньюшки. В руках у технички было пожарное ведро и багор с намотанной на крюк мокрой тряпкой.

— Ты чего на них уставился? — спросила техничка. — Или ты мою работу проверять пришел? Тебе положено их топтать — ты и топчи, а глядеть на них нечего. Их уже не воротишь, а ты молоденький, вся жизнь впереди... Да иди, чего встал-то, расщепился!

И она больно ткнула меня багром. Вы эту пожилую техничку тоже знаете. Она, старенькая, соображает, что

стареньkim за хамство ничего не будет, вот и старается, чтобы посетители не забывали, где находятся.

— А я от Страмцова,— пригрозил я в ответ.

Техничка попыталась поставить ведро на пол, но пожарное ведро ведь конусом, оно свалилось и залило мне ботинки грязной водой.

— Нашли! — завыла техничка.— И здесь нашли, сволочи! Я ни в чем не виновата, заставили меня бумагу эту подписать. Сам Страмцов и заставил, герр оберст... А деточек я жалела, вам всякий скажет!

Она бухнулась в лужу на колени и поползла прочь по коридору, крестясь и божась.

Так страшно и громко выла кающаяся техничка, что мне захотелось куда-то укрыться. Увидел дверь с табличкой «Общий отдел» и юркнул туда.

В кабинете было страшно пусто — ни дорожки на полу, ни стола, ни стула, ни лозунга, ни портретика — только в углу примостился на корточках человек в волчьей дохе и белых бурках. Лицо его было покрыто резкими морщинами, тонкие губы как бы сучили невидимую нить. Голова человека украшалась прической полубокс. На нечистом полу перед ним были разложены карточки.

— Только быстро,— сказал он.— Сами видите — реорганизация идет, перестраиваемся. И не вдавайтесь в частности — здесь общий отдел, а не хухры-мухры.

Я в общих чертах изложил суть дела.

Человек в бурках поморщился.

— Да нам дела нет до того, как вас зовут, где вы живете и что вас беспокоит. Я же русским языком сказал — без подробностей. Отдельный, мол, гражданин... Вы ведь, надеюсь, не группу представляете?

— Только самого себя,— сказал я.

— Ну и короче.

— Короче — никакой жизни от них нет.

Человек в бурках злобно смешал карточки и поднялся.

— Вы куда пришли в таком состоянии? Здесь вам общий отдел, а не хухры-мухры!

— А где же, в таком случае, хухры-мухры? — спросил я.

— Хухры — вторая дверь налево, а мухры — пятнадцатый этаж, там спросите,— не растерялся человек в бурках.

— Между прочим, я от Страмцова,— бросил я.

Вместо ответа человек в бурках стал сильно подпрыгивать на месте. Из-под волчьей шубы во множестве

полетели такие же карточки, что и на полу. Вдоволь напрыгавшись, человек в бурках пал на пол и принялся стремительно перебирать карточки.

— Ага! — закричал он, выпрямляясь и потрясая карточкой. — Вот он и Страмцов! Отыскался след Тарасов! Ведь мы с ним, гражданин хороший, в незабвенном году решением коллегии были брошены на ликвидацию задолженности! Какие были времена, какие люди! Не то что вы! Жигнул вас гад-другой, а вы и на дыбки...

— Понимаете, — сказал я. — Я просто не хочу, чтобы пили мою кровь без моего согласия...

— А нашего со Страмцовым согласия кто-нибудь спрашивал, когда посыпали на прорыв, в узкое место? Кто вообще тогда согласия спрашивал? Сколько я на этих вот пальцах (он показал, на каких именно) торфо-перегнойных горшочков одних пересчитал!

— Знаете, — сказал я. — Я бы, например, и сейчас с удовольствием послал бы вас... в узкое место.

— А вот этого не надо! — отказался человек в бурках. — Это, мол, избиение кадров. Пусть он там не думает, у меня тоже на него матерьялу предостаточно... Что там у вас? Ах, эта мелочь... И дело, наверное, было в ночь с пятого на десятое?

— Т-точно так, — поколебался, но сказал я.

— Я думаю — человек вы видный, серьезный, Страмцов кого попало не пошлет. Ступайте-ка лучше прямо в оперативный отдел. Только мой вам добрый совет — сами ничего не предпринимайте. Никакой самодеятельности, никакого самосуда!

— А почему, собственно, нельзя? — спросил я с вызовом.

Человек в бурках устало опустился на корточки и без прежней поспешности стал собирать картотеку. Наконец он поднял голову и сказал задушевно:

— Как же вы через кровь-то переступите? А?

«Ты один мне поддержка и опора...»

В оперативном отделе мной занялся парень в штатском, но с форменными пуговицами, представился старшим оператором Басмановым. Выяснилось, что мое заявление написано никак не по форме. Как положено писать, Басманов объяснить затруднился и наладил меня к двери, на которой висела табличка:

УПРАВЛЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЫ

Филиал Одесского базового центра родной речи

Здесь было как в добродушной библиотеке: стояли книжные полки и висели портреты классиков. За столами скучали три девицы и пожилой человек с табличкой «Дежурный языковед» на груди. Девицы вели неспешный разговор.

— Умела бы я ткать,— говорила одна,— я бы за этой марлевкой в очередях не толкалась...

— Нет, лучше готовить уметь,— сказала другая.— Вот окончить бы такие специальные курсы, чтобы готовить.

— Ребеночка бы родить,— мечтала третья.— Я бы его откормила, одела всем на зависть...

Дверь за мной тихонько заскрипела. Девицы встрепенулись и уставились на меня, но, словно бы разочаровавшись, продолжили прежний разговор.

— Вы чего хотите, молодой человек? — сказал Дежурный языковед.— Вы пришли с чем? Ах, заявление? Ну так и пишите! «Заявление о том...» и далее излагайте суть, а я буду исправлять ошибок по мере надобности...

— Так же не пишут — «Заявление о том...»,— сказал я.

— Вы не читаете газеты? Нужно читать газет. Там неоднократно разработан настоящий оборот речи, как-то: «Глава Белого дома недвусмысленно дал понять о том, что...» и так дальше.

— Ладно,— сказал я.— Положено так положено.

Поднапрягся и написал все как есть.

Дежурный прочитал мою писанину и побелел:

— Разве можно вот так и писать? И кто же теперь пишет так вот прямо? Широко используйте иносказания, эвфемизмы, тропы, синекдохи — всего языкового запаса. Вы читали рассказ Бабеля «Любка Казак»?

— Читал.

— Так Бабель написал его тридцать раз, чтобы вы это знали...

Зазвонил телефон. Одна из девиц послушала и сказала:

— Опять этот писатель звонит. Интересуется узнать, как пишут правильнее: еслиВ или еслиФ?

Дежурный прикинул и проконсультировал:

— Согласно Галкиной-Федорук, рассматривается как наречие и пишется с буквой В, как «напротив». С другой стороны, согласно Валгиной-Розенталь, происходит от английского слова «if» того же значения и является англо-русским сращением — «еслиФ»... Лично я бы посоветовал писать его совершенно без согласной на конце...

Я подал ему переписанное заявление, а сам по привычке вытащил с полки толстый том и хотел полистать, но не смог — книга была заклеена бандеролькой с надписью:

ОБЩЕСТВО КНИГОЛЮБОВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧТЕНИЕ КНИГ ВРЕДНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗРЕНИЯ!

— Вы опять занимаетесь употреблением этого отвратительного слова? — рассердился на меня и заявление дежурный. — У нас не принято употреблять этим словом. В доме у повешенного не говорят даже о хоре имени Григория Веревки, хе-хе... Употребляйте лучше термина «кровососущие». А в конце не забудьте обязательно поставить «В просьбе прошу не отказать», иначе не поимеет силу...

— И не откажут? — спросил я с надеждой.

— Когда нет фондов, то и откажут... Эта формулировка символизирует глубочайшее уважение заявителя и одновременно — питание в нем надежды... Ведь для чего мы все здесь трудимся? В принципе любое заявление может пойти ого куда! И если в нем не будет соблюдено грамматики и синтаксиса, там могут подумать, что мы их держим за совсем неграмотных людей...

Он углубился в заявление и стал бурно вычеркивать неполюбившиеся слова и обороты. Вдруг захрипело радио на стене: «В городе Среднехамске и его окрестностях возможны осадки, а возможны и нет...» Я рассматривал портрет Тургенева. Что-то в нем было не так. Я пригляделся и ахнул: портрет был прибит не по-людски. Вернее сказать, приколотили прямо через холстину, загнав Ивану Сергеевичу гвоздь точно в лоб.

Дежурный перехватил мой взгляд и сказал многозначительно:

— За интимную связь с Мариной Виардо!

— С Мариной Влади, — поправила одна из девиц.

Льва Николаевича Толстого по причине толстовства прибили за уши. Горькому за богоискательство вколотили гвоздь в широкополую шляпу. Пушкина повесили наперекосяк — может быть, за то, что арап? А о том, как поступили в этом кабинете с портретом Федора Михайловича Достоевского, я и говорить не буду, чтобы не надрывать русского сердца. Дежурный увидел, что лицо у меня изменилось, сунул мне бумагу, ручку и копирку.

Разиков пять еще пришлось переписать, пока не догадался я вспомнить Страмцова — тогда оказалось, что заявление в самый раз. Напоследок я еще поглядел с

содроганием на Федора Михайловича и пошел к Басманову.

Оперативная работа по Брэму

В кабинете был Басманов не один, за столом у него примостилась крашенная в седину девица с размазанной по лицу привлекательностью. От девицы пахло перегорелым вином и ночным вокзалом.

— Ты лучше скажи, Мария Георгиевна, зачем ты не-законно депутатский значок нацепила? — донимал ее Басманов.

— Мужчинам нравится, когда депутат,— отвечала девица.

Я кашлянул. Басманов глянул и вспомнил, от кого я.

— Ступай, Мария Георгиевна, фотографироваться для доски позора, вестей из вытрезвителя,— велел он девице.

— Мальчики, а слышали анекдот про Рюрика и Марика? — спросила, девица и немедленно рассказала этот анекдот. Басманов покраснел, замахал руками, выпер ее и взял заявление. Новая редакция, судя по лицу, его устраивала. Красным карандашом сделал пометки, потом сказал:

— Значит, в ночь с пятого на десятое... Да, дела... Точно не скажу, но, по почерку судя, цимексы шурют.

— Какие цимексы? — испугался я.

— Да уж цимексы,— зловеще сказал Басманов.— Сейчас я подробнее узнаю...

Он вышел в соседнюю комнату, и тотчас же там раздались выстрелы, выкрики, шум падающих тел. Запахло порохом. Наконец Басманов вернулся, держа левую руку несколько на отлете, мизинец на ней был перевязан. Басманов упал в кресло, минут пять отдыхивался. Потом напился газировки из графина и сказал:

— Кликух у них много, а по совести они — цимекс летулярия. Мне на них сейчас представление сделали. Вот оно, слушайте: «Отдельно от всего вида стоит имеющий такую плохую славу цимекс корис (полтораста лет назад писано!). Особенности его следующие: он сосет кровь человека, у него нет крыльев, имеются щетинистые четырехчленистые усики и трехчленистый хоботок, лежащий в желобке на шее...» Совпадает?

— Я его не разглядывал,— сказал я,— а так вроде точно.

— Наконец,— сказал Басманов,— «у него нет присосковых лопастей на коготках»,— ваше счастье! «Необык-

новенно плоское тело, имеющее по меньшей мере четыре миллиметра длины, коричнево-красного цвета и покрыто густыми желтоватыми волосками». Блондин, блин собачий! «Кругленькие лопасти по обеим сторонам маленького щитка нужно считать зачатками надкрыльев...» Ну, что ж, нужно — значит, будем считать... «Самка кладет в марте, мае, июне и сентябре каждый раз около 50 белых цилиндрических яичек в 1,12 миллиметра длины; самое противное в этих насекомых — это их хитрое, потайное нападение на человека и высасывание его крови по ночам...»

— Это я знаю, — сказал я.

— Теперь быстренько на экспертизу, — велел Басманов. — Где они вас накусали? Везде? Пусть так и напишут.

Он нажал на кнопку, и в кабинет вкатился столик, ведомый женщиной в белом халате.

— Она вас осмотрит, — сказал Басманов, — а я пошел за дополнительными сведениями.

В соседней комнате зашумели моторы, завизжали тормоза, завыла сирена. Снова загремели выстрелы. Чей-то голос закричал: «Обманул — заполучи!»

Женщина посмотрела на мои руки, покрытые множеством красных точек.

— Давно ширяешься? — спросила она.

— Давно чего? — спросил я.

— Да ладно горбатого-то лепить! — рассердилась женщина. — Трясет ведь всего. Сдай банкира — ширану масть, а нет — сам отходи...

Тут явился Басманов с заклеенной щекой, и недоразумение быстро выяснилось. Женщина выписала справку и укатила вместе со столиком. Басманов изучил справку и сказал со вздохом:

— Нашлись смягчающие обстоятельства... «Несмотря на кровожадность, цимексы могут долго голодать. Лейнис посадил самку в закрытую коробку...» Хорошо ему было, Лейнису, — взял и посадил! Кто такой Лейнис — не написано, но, видно, мужик был третий, не нам чета. И вот, «когда он открыл коробку шесть месяцев спустя, то нашел ее не только живую, но окруженную многочисленным потомством...».

— Ну, мне от этого не легче, — сказал я.

— Вот беда, — сокрушился Басманов. — «Благодаря сильной плодовитости и легкости, с которою их можно занести в другое место, они принадлежат к самым несносным и вредным насекомым, особенно в больших го-

родах, где населенность домов затрудняет основательное истребление их. Поэтому нет недостатка в средствах для уничтожения, но все они мало действенны, так что, по-видимому, лучше всего избегать помещений, где они поселились...»

— Вона,— сказал я.— Родной квартиры, значит, избегать?

— Зловредный род,— сказал Басманов.— У них весь отряд такой — настоящих жестокрылых. Одни кликухи чего стоят: краевик, щитник, а один так даже — грязный хищнец! Голубей, представьте, донимают за отсутствием человека, птицу мира не щадят! Ага, вот: «В Англию их занесли в постельном белье гугеноты». Молодцы, гугеноты, не зря про них композитор Мейербер оперу написал... из восьми букв... «Ротовой аппарат — колюще-сосущий...» Разом на две статьи тянут... Ну, к делу.

Басманов достал из ящика стола толстенный альбом. Там были фотографии цимексов. Много фотографий, штук тысяча.

— Не найдете ли вы среди них ваших знакомых, Геннадий Илларионович? — поинтересовался Басманов.

Альбом я пролистал.

— Не могу,— сказал я,— дело-то ночью было.

— А вы постараитесь,— сказал Басманов.— Постарайтесь, потому что ночь-то была С ПЯТОГО НА ДЕСЯТОЕ!

Я постарался и указал на пяток особей в середине альбома.

— Уже лучше,— похвалил Басманов.— Вот у этого, плотненького, с перемежающейся хромотой, не заметили, случайно, на груди татуировку — ноты гимна «Боже, царя храни»?

— Не заметил,— сказал я.— Темно ведь...

— Как происходит нападение?

— Нападывают сверху,— объяснил я.— Ножки кровати я поставил в банки с водой, а они заползут на потолок и вниз...

— Так,— сказал Басманов.— Это очень важно. Подождите минутку, я проведу следственный эксперимент.

Он опять вышел в соседнюю комнату. Поначалу было тихо, потом раздался сильный удар, приглушенный крик, женский плач и духовые звуки сонаты номер два Шопена. Наконец из-за двери вышла давешняя медицинская женщина с зареванным лицом и траурной повязкой на руке.

— Изверг,— сказала она.— Такого парня из-за тебя потеряли.

— Как так? — ужаснулся я.

Плача, она растолковала мне, что в ходе следственного эксперимента Басманов решил воспользоваться электронной моделью насекомого, вроде той, что применяют для подслушивания спецслужбы Запада. Но самодельный аналог весил полпуда...

— Как стукнуло его, сердечного,— рассказывала женщина,— он как бы выпрямился и говорит: «Куда это я попал? Чем это я тут занимаюсь? Что мне, делать больше нечего? Да на четных этажах работы полно!» И заявление об уходе на стол. Так что для нас он все равно что погиб, мы и панихиду справили гражданскую... Ступай отсюда, тебе в другом месте пусть помогают, а мы тебе не помощники: так вовсе без кадров останешься!

Я хотел спросить, что такое «четные этажи», но не решился, и вовремя: она снова начала голосить, как по покойнику.

Без Вергилия

Я опять очутился в коридоре и решил как-нибудь разобраться в структуре Управы, но напрасно искал среди многочисленной и яркой наглядной агитации список кабинетов. Все было отражено на стендах, кроме того, что нужно. Была даже стенгазета с ярко выраженным сатирическим уклоном, а в ней стихи:

Пьянство в быту

Есть еще такие семьи,
Там где пьяницы — отцы.
Но какое воспитанье
Получают их сыны!
Вот пришел отец с работы,
Ставит на стол пузырек.
Достает стакан граненый:
«Выпей-ка со мной, сынок!»
И, идя его примером,
Вот уже не первый год
Его сын из пионеров
В алкоголики растет!
А потом, совсем упившись,
Стыд и честь продав вину,
Бьет жену, и матерится,
И скандалит на дому!
Такова предстала водка —
Бич семейных очагов.
Развращает мозг ребенка,
Отравляет быт отцов!

Я постоял, стараясь запомнить стихи, потом пошел дальше искать. Наконец, возле пожарного щита, опущенного техничкой, я увидел «План-схему эвакуации сотрудников Управы в случае сокращения». План был очень странный: если верить ему, то выходило, что Управу можно изобразить в виде девяти концентрических кругов. Общий и оперативный отделы находились в круге первом, значит, самое главное и влиятельное начальство нужно искать в девятом! Кроме того, я понял, что Управе принадлежали только нечетные этажи. А четные кому?

Услышал шум лифта и побежал на него. Лифт распахнулся, оттуда выкатились два борющихся за что-то между собой мужчины в приличных костюмах. Даже в процессе борьбы мужчины не выпускали из рук «дипломатов».

— Из-за твоей близорукости нас на низовку бросили! — прохрипел наконец один.

Другой, не говоря худого слова, откусил сопернику ухо, и они покатились себе дальше по коридору. Я пожал плечами и вошел в кабину. Дверь закрылась. Напрасно жал я на кнопку с номером 17. Кнопки четных этажей были вырваны с мясом. Потом догадался включить микрофон лифтера и впрямую намекнуть ему, что я от Страмцова. Тогда лифт пошел вверх и гудел при этом, как добрая ракета. Шел он, правда, страшно медленно, останавливался и содрогался. На одной из остановок в кабину зашел молодой человек в панамке и майке с надписью «Массачусетский технологический институт», с большой булавкой в ухе. Не обращая на меня никакого внимания, он приладился и помочился в угол.

— Эй, ты что это? — насторожился я.

— Так туалеты же все закрыты приказом, — объяснил он, не оглядываясь. — Боятся, что начнут в туалетах распитие спиртных напитков. Так что давай и ты, а то набегаешься...

Потом он выхватил из кармана нож и вырезал на пластике: «Здесь были кенты — Чудила и Гангстер». Гангстер, конечно, был он. На следующей остановке (почему-то на четном этаже) в кабину вошли дружинники, вытащили Гангстера, а мне просто погрозили кулаком. Я продолжал двигаться вверх. Наконец лифт остановился с таким страшным и тоскливым скрежетом, что стало совершенно ясно — дальше некуда. Коридор был освещен одной-единственной лампочкой, да и та была покрашена зеленкой — с

Нового года осталась, наверное. Зато на полу был хороший ковер. Все двери в коридоре были накрепко опечатаны сургучом и простыми бумажками. Свободной оставалась только самая красивая с табличкой:

ПАМЯТНЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ-МУЗЕЙ Б. Б. СТРАМЦОВА

Окрыленный надеждой покончить со всеми делами малой кровью, могучим ударом распахнул дверь. Кабинет был по нынешним временам даже и убогий. Так себе кабинет, без бара и сауны. Только у одной стены стояла витрина, а у другой стенд, на нем висели плакаты с портретами Страмцова и его биографиями, ни одна из которых не походила на другую.

Так... Родился... Крестился... В девятилетнем возрасте в горах Горного Памира разлагал изнутри банду Разибая... Закончил курсы по разукрупнению... Награжден медалями «За раскрытие литературных псевдонимов» и «За освобождение от занимаемой должности»... На левой стороне груди татуировка, напоминающая портрет путешественника Пржевальского... Характерные черты: заячья губа, волчья пасть, под правой подмышкой — сучье вымя... Глаза близко посаженные, проницательные, дальновидные, проявил себя как опытный администратор и достойный сын...

Портреты Страмцова Бориса Бенедиктовича были тоже довольно странные. Как видно, он предпочитал фотографироваться у курортных фотографов прошлого: то в черкеске и на коне, то на палубе корабля и в тельняшке. Тут же висела карта «Творческий путь Б. Б. Страмцова», усеянная многочисленными флагжками с неразличимо мелкими надписями. Над столом была привинчена капитальная, гранитная с золотом доска: «В этом самом кабинете Б. Б. Страмцов неоднократно награждал особо отличившихся сотрудников Управы ценностями подарками из своих рук».

В витрине лежала странная форменная пуговица, на которой были вытиснены голова собаки и метла, пузырек из-под настойки женщины и удостоверение личности, где говорилось, что Страмцов Б.Б. является настоящим орлом и имеет право ношения всех орденов, медалей, памятных знаков и значков на правой и левой сторонах груди. Что-то знакомое толкнулось в памяти. Да, в точности такое самодельное удостоверение я видел в моем родном городе тридцать лет назад. Его предъявлял не только всем же-

лающим, но и любому прохожему городской дурачок Митя Капторг. Говорили, что он и вправду заведовал кооперацией, но сошел с ума по случаю ревизии, а когда ревизия укатила, не смог вернуться назад.

Осмотрев музей, я так и не понял, в какой именно области достиг мой патрон, Б. Б. Страмцов, своих сияющих вершин. Стало ясно, что в музей я пришел зря. Собрался выйти, но оказалось, что у двери возникли неизвестно откуда столик и стул, а на стулике за столиком сидел невеликий человечек с требовательным выражением лица. Он потребовал с меня пятьдесят рублей за пользование музеем в рабочее время. Я возразил, что таких цен не бывает. Невеликий достал из-за пазухи прейскруант — все оказалось честь по чести. Пришлось сказать, что я сам от Страмцова. «Тем болеё! — сказал невеликий. Я, конечно, не взяткодатель, но на всякий случай денег-то с собой припас, отдал две четвертные бумаги, а взамен получил очень красивый билет.

— Куда же мне обратиться? — спросил я в надежде, что за такие-то деньги получу консультацию.

— Стучитесь в любую дверь, — сказал невеликий. — Народ у нас душевный, помогут в хорошем деле. Тем более, вы от Бориса Бенедиктовича... Батюшки! — вдруг он шлепнул себя по лбу. — Да вы же первый, кто от него вернулся! Ну и как там, у вас? Не беспокоят?

— Очень беспокоят, — сказал я и протянул заявление. Он стал читать, и по мере чтения брови его ползли все выше и выше.

Окончательно уползти бровям на затылок помешал телефонный звонок. Невеликий метнулся к аппарату.

— Так, — сказал он. — Слушаюсь. В двадцать четыре секунды.

Он поглядел на меня очень зловеще и сорвал со стены сувенирный отбойный молоток с дарственной надписью. Молоток, даром что сувенирный, загрохотал и задергался у него в руках.

— Переэкспозиция! — закричал невеликий и, подскочив к мемориальной доске, стал крошить ее. Полетели осколки гранита.

— От Страмцова, значит, — шипел невеликий, труясь. — Щас тебе покажут Страмцова, креатура позорная...

Снова зазвонил телефон каким-то грозным непрерывным звоном. Зажглись тревожные лампочки. Невеликий бросил инструмент на пол и схватил трубку.

— Есть отставить... — упавшим голосом сказал

он.— Все понял. На данный выпад ответим повышенной посещаемостью кабинет-музея...

Он положил трубку, вытер высокое чело, сдвинул брови на место и сказал:

— Деньги за билет будут возвращены по перечислению, их переведут на ваш депонент... Батюшка! — закричал он вдруг и стал топтать отбойный молоток ногами.— Не погуби! Это, оказывается, выпад был с четных этажей, а никакое не распоряжение! Это они перед нами задолженность за первое апреля погашали! Передай Борису Бенедиковичу, что светлую память храним и мним, как только можем!

Он бросил терзать молоток и стал прилаживать к изувеченной доске куски гранита, причем вот как: лизнет осколок и прилепит на место, лизнет и прилепит. И держитесь...

— Лучше новой! — лицемерно сказал он, закончив реставрацию, и посмотрел на меня просительно. Я поморщился: нет, мол, хуже новой, гораздо хуже.

— Батюшка,— заплакал невеликий.— Я ведь «мерседес» купил! Аморальные связи с работниками балета поддерживаю! Нельзя мне из номенклатуры! Помолчи, где надо, родной, а я тебе за это планчик составлю, схемочку навроде бегунка... Совершенно секретную!

Он действительно сел за стол и составил.

— Ну разве что совершенно секретную,— милостиво сказал я, взял схемочку-планчик и вышел. Теперь у меня появился-таки Вергилий, хоть и бумажный.

Закрытый просмотр

Не успел я выйти из лифта на указанном в схемочке этаже, как мёня тут же подхватили под руки две женщины, одетые весьма своеобразно. Как видно, в рабочее время они вязали платья, причем прямо на себе. Одна-то стяралась, только левого рукава и не хватало, зато у другой подол вовсе не был довязан, и выходило что-то вроде кофточки, но длинной.

— Идемте, идемте, никаких дел! — защебетали они, хотя я еще рта не открыл насчет дел.— Сейчас будет закрытый просмотр.

— От Страмцова я,— сообщил я для порядку.

— Да мы видим, что от него,— сказали женщины.— Поэтому и приглашаем. Мы вам закрытый просмотр, а вам фонды...

Они дружно волокли меня по коридору, ненароком покалывая спицами, торчащими из недовязанных мест. Я не сопротивлялся и рассматривал людей, которых мы обгоняли. Люди были как люди, в любой канторе таких навалом. У них, поди, и дети есть. Безрукавная толковала мне, что фильм прогрессивного итальянца, но с элементами сексуальной эротики. Бесподольная вещала в другое ухо, что лента наша, но в прокат не допущенная. Кроме того, обе успели рассказать мне анекдот про Рюрика и Марика.

В просмотровом зале было уже темно. Лектор в темноте говорил о достоинствах фильма — все-таки, как я понял, нашего, но дублированного на язык бенгали, так что будет задействован синхронный переводчик. Спутницы мои именем Страмцова расчистили хорошие места, и мы сели. Наконец они перестали трещать и затрещал кинопроектор. Экран, против ожидания, не открылся, изображение пошло прямо на черный занавес в складках, а на нем ничего нельзя было понять. Я спросил, когда же откроется занавес, но женщины-недовязки сказали: просмотр-то ведь закрытый, что вы хотите? Здесь вам не четные этажи!

На закрытом просмотре я был впервые в жизни. Может, так и положено? По крайней мере, отдохну, а то ноги гудят. Да к тому же и на рабочих местах наверняка никого нет...

В довершение всего оказалось, что дублирован фильм не на бенгали, а на малаялам. Побежали искать специалиста по малаялам. Нашли, да заикастого. Он очень долго переводил первую фразу, коротенькую и произнесенную грубым отрицательным голосом. Все внимательно прислушивались; прислушавшись же, поняли, что он вовсе не переводит фразу, а пытается втолковать, что его специальность — не малаялам, а кечуа. «Все-то у нас драным наверх!» — ругались мои спутницы. Снова помчались на поиски малаяламщика, но нашли ли, нет ли — не знаю, уснул. Наверное, нашли, потому что проснулся я от бурных, продолжительных аплодисментов. Зажегся свет. Бородач в кожаном пиджаке режиссера кланялся и благодарил своих первых зрителей. Потом вышел киномеханик и повинился, что перепутал части. Режиссер заявил, что так даже гораздо лучше, такой порядок он и оставит. Все поздравляли друг друга, многие обнимались. Явилось шампанское. Мои спутницы советовали ходить в Управу почаще, тогда я и не такое смогу закрыто посмотреть. Я обещал. Тогда они попросили маленько фондов, и я

тоже обещал. Фондов мне жалко, что ли? Заглянул в планчик и пошел куда надо.

Грот Венеры

Под большой вывеской «Отдел по связям с общественностью» находились целые две двери, почему-то оснащенные литерами «М» и «Ж». Я прислушался к себе, обнаружил, что остатков мужественности еще не растерял, и открыл дверь «М».

Ноги сразу погрузились в белый ворсистый ковер. В кабинете был полумрак. В углу стоял большой цилиндрический светильник, а в нем, вспухая и опалесцируя, перемещивались какие-то вещества. По стенам бегали разноцветные блики. Из динамиков лилась музыка: то стонала, изводясь, знаменитая Аманда Лир. Тут и там висели картины, с сурою реалистичностью изображавшие скромно одетых красавиц в обществе чертей, кентавров и драконов. Доброго канцелярского стола в кабинете не было, стульев тоже. Стояли диваны вдоль стен, столик с закусками, а хозяйка кабинета сидела в огромном, обтянутом белым же ворсом, кресле. На ней был строгий темный костюм. Хозяйка была в прошлом брюнетка, люто применявшая перекись водорода. Застряла она в том неопределенном возрасте, который наступает у женщин в период между тридцатью годами и уходом на заслуженный отдых. Огромные черные глаза глядели с такой гипнотической силой, что остальных черт лица как бы и не было, и слава Богу.

— Цицана Иосифовна,— сказала она и протянула руку для поцелуя. Я подчинился и сунул в целую руку заявление. Цицана Иосифовна внимательнейшим образом изучила текст, ноздри ее затрепетали.

— Ночь с пятого на десятое...— прошептала она.— Разве забудется эта ночь?

— Я от Страмцова,— сказал я, стряхивая чары.

— Ах, Страмцов,— вздохнула она и закатила глаза.— Такой мужчина и такой баловник! Представляете, на симпозиуме в Сыктывкаре среди ночи — дай да подай ему негритянку! Можно, я буду называть вас просто Гена?

— Можно, Цицаночка,— сказал я.— Хоть горшком...

— Когда вы родились?

Я назвал дату.

Цицана Иосифовна добыла из-под себя толстую стаинную книгу и стала перелистывать.

— Гена, да вы — Скорпион! — радостно закричала

она.— Вы — олицетворенная сексуальность! Для вас не существует никаких моральных ограничений! Легко нарушаете супружескую верность, пользуетесь огромным успехом у женщин... И приходите ко мне с этим!

Она брезгливо бросила заявление на ковер.

— Да какой уж там секс,— сказал я,— когда и просто-то спать не выспишься — донимают...

— А вы шутник! — Она погрозила кровавым коготком.— Но нельзя же в моменты наивысшего апофеоза человеческого духа отвлекаться на столь низменные явления. В конце концов это может просто убить в вас мужчину. Слышали анекдот про Рюрика и Марика?

Я выслушал анекдот еще раз. Анекдот был вроде бы тот же самый, но не тот же: пикантности в нем заметно прибавилось.

— В монографии профессора Леонтия Яковлевича Мильмана «Импотенция»,— добавила Цицана Иосифовна,— немало подобных трагических примеров.

— С этим-то порядок,— сказал я.— Мне бы средство понадежнее, покрепче... С гарантией.

Цицана Иосифовна задумалась. По всему видно было, что живет она исключительно чувствами, так что задуматься ей было трудновато, но ничего, надумала.

— Посмотрите, пожалуйста, учебный фильм. Мы закупили его за границей, на валюту, но для такого мужчины и валюты не жалко...

— Я тут уже побывал на просмотре,— сказал я.

— Кантри,— сказала она.— Откуда ты такой, Гена?

— Из тех же ворот, что и весь народ! — игриво ответил я.

Она включила видеомагнитофон, на экране появилась постель крупным планом, и я обрадовался: сейчас камера пойдет по стенам, по потолку, беспристрастно разоблачит цимексов, покажет наиболее действенные и прогрессивные способы борьбы с ними...

Но на постели пристроилась юная блондинка почти ни в чем. Блондинка скучала, зевала, листала журналы. Потом в спальню зашла блондинкина мама или кто она там. Говорили на иностранном языке, но я худо-бедно понял, что мамаша костерит блондинку за какие-то дела и не велит никуда ходить. Блондинка закатила истерику, рвала на себе мини-одежду. Мамаша завершила воспитательную работу и закрыла дочку в спальне на амбарный замок.

Блондинка, не будь дура, достала из-под подушки красивую коробочку и налопалась ярко-зеленых таблеток.

После этого она отключилась, и тут, то ли во сне, то ли по правде, в окно спальни залезли два хороших негра и принялись, как уж могли, развлекать блондинку. Я-то все еще надеялся, что сейчас всю троицу начнут кусать и пойдет самое главное. Эти же способы для борьбы с паразитами не больно-то подходили. Блондинка была довольно нешенька, а я наоборот. Несовместимость вышла.

— Ну и что? — спросил я, когда экран погас.

Цицана Иосифовна поднялась в кресле во весь рост, и тут я рассмотрел, что костюм хоть и деловой, но полупрозрачный и с кружевами.

— Человек, не способный к восприятию прекрасного, — простонала она, — недостоин, чтобы социум взял его под свою защиту! Вы разрушитель красоты, варвар! Ты, поди, с четных этажей приперся! — Неожиданно она перешла на вокзальный тон. — Там все такие придурочные, чистенькие! Чтоб тебя до смерти загрызли! Забирай свою бумажку, мерин долбаный, и мотай отсюдова, пока я тебя с милицией не вывела! Я тебе наврала все — твой Скорпион вообще ничего не может!

Старинная книга полетела мне в спину и вытолкнула в коридор.

Где Русью пахнет

Кабинет под табличкой «Отдел поэтических воззрений славян на природу» вовсе и не походил на кабинет, он больше на русскую избу походил: по стенам висели ширинки с петухами, лукошки, пестери, лапти, серпы, лубки и картины художника Глазунова. Сидел за столом и скоблил его доски ножом мужичок в синем двубортном пиджаке, перепоясанном ярким галстуком. На столе плевался кипятком самовар с медалями.

Я протянул заявление. Мужичок воткнул нож в столярницу и надел очки. Крепенькое лицо его от очков сразу стало значительным, клочковатая борода приобрела академический характер. Он внимательно изучил заявление, поглядел его на свет, как бы ища водяные знаки, покачал головой, снял очки и поглядел невооруженным взглядом.

— Братка, — внезапно сказал он. — Братка! Да ты русский ай нет?

— Русский, русский! — воскликнул я радостно. — Вот и паспорт!

— Паспорт, — с презрением сказал мужичок, но документ в руках повертел для виду. — Если по паспорту

судить, братка, то и сам-то я...— Он осекся и прикусил язык. Захихикал, обратив ко мне конопатое лицо, защурился, выкинул вперед неожиданно длинные руки и стал шарить пальцами по моему лицу. Шарил, шарил — не нашел, но не заплакал да пошел, а чувствительно щелкнул по носу. Я дал ему по рукам своими руками. Он заохал, стал дуть на ушибленные места, потом сказал:

— Вижу, вижу, что русской ты, братка, из распорусских русской! Простодырый ты! Другой бы за этот щелбан давно бы судиться затеял, а ты по рукам, по рукам! Молодец!

Я приосанился:

— От Страмцова я!

— Ага! — закричал мужичок.— Жив, курилка, что ему подеется! Мы с ним, с Бориской тем, выкорчевывали опиум для народа, монщи Серафима Саровского на пárу раскулачивали! Бориска, бывалоче, захлестнет тросом крест, подцепит к «фордзону»...

— Да вы прочитайте как следует,— сказал я.— При чем тут монщи?

— Я сердцем читаю и в сердцах,— сказал мужичок.— Ум что? Ум подлец. А в бумажке твоей я знаю что. Возроптал ты! Возроптал! Гордыня-то непомерная! Смотри-кася! Ополчился на малых жуколиц! Аника-воин! Стать и поступь богатырская, кровь с молоком...

— Так я насчет крови тут и написал,— пояснил я.— Если каждый ее из меня пить будет, одно молоко останется, а много ли навоюешь с молоком-то?

— Эх,— сказал мужичок.— Аким-простота! Так вот они нашего брата русака и обводят вокруг пальца. Может, кровь-то тебе пущают для твоего же здравия? Она дурная, лишняя! Ране-то, помню, ото всех болезней кровь отворяли, руду металли... И ведь тянет наш Игренько, сиречь Саврасушко, соху, не спотыкается!

— Может, оно и так,— сказал я.— Только желательно бы под наблюдением врача, с пиявками, а не с этими тварями...

— А сам-то ты кто? — заорал мужичок.— Перед матушкой-природой ты та же тварь. Ты гордисся, ячисся, тварями их навеличиваешь, а они с нами рука об руку уж тысячу лет идут. Они ведь, изволишь знать, из Византии, из Царьграда явились купно со первые святители, со образы, со святые дары... Ты же их предерзостно под ноги мечешь!

— Я, конечно, не отрицаю историческую роль христи-

анства,— сказал я.— Но как увязать это с моими бытовыми условиями?

— А ты и не связывай,— посоветовал мужичок и отхлебнул кипятка прямо из самовара.— Ты помысли-ка, что жуколицы те, может, память нашу и хранят. Ты его к ногтю — ан, глядишь, капля крови Александра Невского либо Сергия Радонежского пролилась. Гены эти ваши кто зрел? А они — вот они. Махонькие, а гляди ты — и татарское иго избыли, и самозванцев, и шведов, и двунадесять языцей... Ты вот мятешься, а послушай-ка лучше древле-отеческую мудрость — былину про Рюрика и Марика...

Опять мне пришлось выслушать тот же самый анекдот, только с какими-то невнятными историческими подробностями.

— Да при чем тут это?

— Что ты за нехристь такой? Как при чем? Они при нас, а мы, стало быть, при них. Кровью повязаны, братка, кровью! Ты не к мыслям прислушивайся высокоумным — они чужие, наносные, мысли те, с четных этажей, поди, привнесенные... Ты кровь свою послушай: что она вещает?

— Вещает,— сказал я,— последними словами вещает, даже сказать неудобно. И все про то же вещает: истреби да выведи!

— Ты Священное писание чел?

— Приходилось.

— Нашел ли там про врагов своих хотя единое слово? А безвестный певец, что полк Игорев пел, разве помянул их? Втуне искать будешь. А в «Слове о законе и благодати» обрящем ли искомое? А Некрасова подымет? Что он, печальник наш, писал, чего мужики просили? «Чтоб вошь, блоха паскудная, в рубахах не плодилася»... То-то. Один ты в гордыне своей сатанинской их заметил. Так и пребудь один, яко изгой либо овца паршивая...

— Сам ты паршивый! — обиделся я.— Ваше дело — выводить это безобразие, а вы его покрываете! Черт знает что! Мужики их испокон веку лучиной жгли! Травы знали!

— Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный,— сказал мужичок.— Вы бы рады вместе с ними и избу спалить! А травы — что ж, травы попробуй, греха не будет... Нарви при молодом месяце простого укропу с грядки непременно вдовицу, которая мужа извела. Положи в корчажку, туда же напусти два сорока белых мышей и вари живыми. Варить надо год и один день, а потом кропить по углам и читать воскресну

молитву либо заговор: «А пойду я, добрый молодец, противосолонь, а выйду я, пригоженький...»

Заговор был длинный, дослушивать его было ни к чему, из кабинета-избы я пошел прочь по следующему в планчике адресу.

«Теперь об этом можно рассказать»

Следующим был «Отдел экономических причин и социальных следствий», где меня слегка и ненавязчиво обыскали. Сделала это секретарша, причем весьма своеобразно: она ни с того ни с сего бросилась мне на шею с криками радости. Руки ее, не забывая обнимать меня, успели побывать во всех карманах и за поясом. Потом секретарша якобы смущилась, извинилась и сказала, что я слишком сильно похож на ее жениха в загранкомандировке, вот она и обозналась.

Я извинился, что я не заграничный жених, и открыл дверь. За столом было пусто. В кабинете была светлая мебель и кремовые шторы. По стенам висели плакаты с матрёшками, водкой, черной икрой и другими символами России за границей. Висящий над столом транспарант гласил:

РОССИЮ СПАСЕТ ТОЛЬКО ОДНО —
ПОБОЛЬШЕ ЧАЙХАНОВ И ПИЦЦЕРИЕВ!

(Из речи Б. Б. Страмцова на VIII кустовом совещании правофланговых межведомственного контроля)

На окнах стояли хрустальные сифоны с водой и хрустальные же высокие стаканы. Пахло хорошим табаком, зарубежной парфюмерией, выгодными контрактами и долгосрочными соглашениями.

— Что же вы стали, голубчик? — раздался голос неописуемой ласковости и доброжелательности. Так не разговаривают даже с детьми и возлюбленными. Так говорят только с любимой собакой начальника, причем недавно ощенившейся. — Проходите, садитесь, можете утолить жажду... Впрочем, спиртное — только для представителей капрстрран...

Говорил стоявший у окна мужчина в костюме цвета сливочного мороженого. По форме, белизне и лощености его голова приближалась к очищенному яйцу вкрутую, на котором по ошибке выросла сотня-другая волосков. Самым ярким пятном на лице были появившиеся во время говорения зубы из червонного золота. На лацкане пиджака

прилепился круглый значок с веселой рожицей и надписью: «Кип смайлинг!»

— Видите ли, я от Страмцова,— начал я.

— О, привет-привет! Ноу проблемз! — сказал Кип Смайлинг и протянул влажную ладошку.— Тогда все в порядке. Значит, от Боба Страмцова, так-так... Мы с ним внешнеторговый техникум заканчивали. С ним на дипломатической-то работе казус вышел: на приеме подали национальное блюдо — фиги с оливковым маслом, так он усмотрел в этом оскорблениe и не стал есть, пока не согласовал с руководством... Ну да тогда и время было иное. А что на четных этажах говорят насчет его прошлого — это бред! Они рады любой авторитет ни-спровергнуть.

Я протянул заявление.

— Нет-нет, не трудитесь,— сказал Кип Смайлинг.— Эльвира! — скомандовал он в микрофон, прикрепленный к другому лацкану.— Дайте все материалы по делу!

Немедленно погас свет, зашумела электроника, по дисплею над столом побежал текст моего заявления.

— Интероргтехника,— сказал Кип Смайлинг.— Она шагает вперед, а проблемы все те же, все те же... Вот и вы, Геннадий Илларионович, неглупый вроде бы человек, а недопонимаете...

— Что же здесь недопонимать? — спросил я.— Небось не квартиру требую. Просто хочу нормально жить, работать, отдыхать, а главное, не хочу, чтобы мою кровь...

— Да-да, я прекрасно все понимаю,— сказал Кип Смайлинг.— Я-то вас понимаю, а вы нас понять упорно не хотите... Никак не можете взглянуть на дело с другой точки зрения. Не со своей, обывательской, а, так сказать, по-государственному!

— Я уж всяко смотрел,— сказал я.— Но вопрос-то больно личный, чтобы на него по-государственному смотреть!

— Это всеобщее заблуждение,— грустно сказал Кип Смайлинг.— Недопонимают еще многие — значит, мы недорабатываем... Впрочем, давайте сядем...

Он сел в свое кресло, а я на неудобный стул. Некоторое время молчали, а потом он спросил:

— Вы знаете анекдот про Рюрика и Марика?

— Знаю, конечно,— сказал я. Он, словно не слыша моего ответа, старательно рассказал анекдот еще раз, уснастив от себя целым рядом гнусных деталей. Глядя на меня с ярко выраженным неудовольствием (что мне, ду-

раку, стоило сказать: нет, не знаю анекдота!), он прошептал:

— Вы что, против борьбы с алкоголизмом?

— Никогда! — отрекся я.

— А почему тогда заостряете?

— Так где алкоголизм и где это?

— Все в мире взаимосвязано,— сказал Кип Смайлинг.— Ведь и у вас в доме это началось не с бухты-бахты... Впрочем, теперь об этом можно рассказать. Дело в том, что производство спиртного неуклонно сокращается, вы согласны?

— Совершенно согласен.

— Сокращается в том числе и выпуск коньяков. А свертывание коньячного производства, в свою очередь, ведет к высвобождению огромного числа... Вы понимаете?

— Как? — воскликнул я.— Неужели? Это ведь просто шутка, что коньяк, мол, пахнет... Это шутка!

— Нет, мой бедный маленький друг,— сказал Кип Смайлинг.— Это суровая и горькая правда, правда об алкоголе. Все эти годы, да что годы — столетия! — виноделы обманывали человечество. И «три звездочки», и «Арапат», и «Двин», и «Белый аист», и «Наполеон», и «Мартель»... Да, все это производилось именно таким ужасным образом. Сегодня мы полны решимости сорвать маску аристократизма с зеленого змия! Но... за ворота мы их выставили, а действовать на других участках полностью не можем, вот они и ползут... Но это временно, уверяю вас! Мы наметили интенсивную, динамичную программу. Миллионы людей вынуждены еще смиряться с мелкими неудобствами...

— Но средства-то есть какие-нибудь? — спросил я, едва сдерживаясь.

— Есть, конечно,— улыбнулся Кип Смайлинг и начал доставать из стола разноцветные баллончики.— От ледниковой блохи, от парагвайского долгоноса, от кракатицы, от африканской ненажоры, от бамбукового медведя...

Весь стол заставил аэрозолями.

— Но у меня они не водятся,— сказал я.— Да ни у кого их не водится! Зачем нам эти средства?

— Сейчас не водятся,— сказал Кип Смайлинг,— а завтра — кто знает? Зря мы, что ли, бананы импортируем? Придет в бананах опасный вредитель или хищник, а средство-то — вот оно! Фильм «Чебурашка» видели?

В апельсинах приехал. Скрытый намек на реальный случай!

— Это вы,— сказал я, все еще стараясь владеть собой,— из пустяка черт знает что делаете!

— А вот как снимать кардинальные проблемы, позвольте уж решать нам, Геннадий Илларионович! — рассердился Кип Смайлинг.— Вы с вашими бесконечными кляузами стали в нашей Управе подлинным посмешищем! Я с ужасом думаю, что буду принимать делегацию «Мициу», и вдруг в кабинет ворветесь вы с этой ахинеей... Да после такого ни одна уважающая себя фирма не станет иметь с нами дела! А я головой отвечаю!

— Э, постойте,— сказал я, забыв о цимексах.— Вот вы тут, в кабинетах, часто говорите, если что: «Головой отвечаю, головой отвечаю!» А разве хоть одного из вас за развал работы приговорили к высшей мере наказания? Это что, насчет головы — просто поговорка такая?

Кип Смайлинг оторопел.

— Да нет,— пробормотал он наконец.— Конечно, головой, а чем же еще? Меня спрашивают — я отвечаю... ротом... А рот где? На голове. Вот и выходит — головой отвечаю... Мы все головой отвечаляем, все люди... Эльвира! — завопил он вдруг.— Ты опять ко мне ненормальных пускаешь и пьяных!

Я заглянул в планчик и пошел от греха подальше, поскольку Геннадий Илларионович Колесников — имя русское и неубедительное, а цимекс летулярия — иностранное и мало ли кого может обозначать!

Во храме науки

Эту массивную дверь украшала табличка «Отдел науки на марше». За дверью притаился громадный зал, вдоль стен шли панели приборов, перемигивались разноцветными огоньками. Но, приглядевшись, можно было увидеть, что это — сотни давно списанных радиостанций. Но все равно красиво! В торце зала по дисплею плыли ряды знаков и цифр. Поперек зала бежала дорожка транспортера; по дорожке, стараясь удержаться на одном месте, трусил высокий пожилой мужчина с лысой головой и костистым лицом, выражение которого было необычайно мрачным и озабоченным. Мужчина был одет в дорогой тренировочный костюм, на запястьях у него были металлические браслеты датчиков с проводами, уходящими в

стены. Бежал мужчина, судя по его лицу, уже не час и не два.

— Располагайтесь,— бросил он, не взглянув на меня.

— Где? — спросил я, потому что было негде.

— Да вон на лопинге хотя бы. Время дорого, лопинг стимулирует мозговую деятельность, проведем беседу в темпе. Вероятно, вас интересуют достижения науки за последние два дня?

— Нет,— сказал я.— У меня заявление...

— К дьяволу бумаготворчество! — воскликнул мужчина.— Значит, так: в беседе с нашим корреспондентом академик Фарафонтов указал... Вы пристегнитесь к лопингу-то, пристегнитесь, а то еще выпадете...

Меня стало крутить вниз головой и по-всякому. На пол посыпались документы, мелочь, авторучка. Но мыслилось и вправду хорошо, поэтому я быстро и складно изложил академику Фарафонтову свою беду, не забыв присовокупить наперед, от кого я.

— Хэ, Страмцов,— сказал академик.— Как же, как же. Крупный специалист. Мы с ним у Трофима Денисовича работали, давали бой мракобесам и обскурантам... Его, Страмцова, хотели было залечить врачи-вредители, да он их опередил... Ну и тем лучше, что вы не корреспондент. Дорогой мой! Как редко нам, представителям так называемой чистой науки, предоставляется возможность поговорить вот этак запросто, по душам, с делегатами умственной периферии, этой своеобразной интеллектуальной глубинки нашего времени... Кстати, батенька, слышали анекдот про Рюрика и Марика?

— Нет,— соврал я и выслушал эту историю еще раз. Натужно посмеялся и спросил: — А мне-то что делать?

Меня начало вращать параллельно полу.

— Думать, батенька, думать,— посоветовал академик Фарафонтов.— Думать всегда, а не только в ночь с пятого на десятое... Всматриваться в прошлое, предвидеть грядущее... Вот вы готовы огульно, одним махом отмести от человека целый вид... А кто заполнит экологическую нишу? Цимексы — я надеюсь, мы не будем употреблять отвратительного простонародного определения — возникли миллионы лет назад. И что же они делали все эти миллионы лет?

— Донимали динозавров! — сказал я, пытаясь заправить рубашку в штаны. Крутило снова через голову.— И динозавры, помучавшись, вымерли...

— Опасное заблуждение! Нонсенс! Они ждали появ-

ления человека! Они готовились к этому, отказывая себе решительно во всем. В темных пещерах, питаясь кровью омерзительных летучих мышей, они ждали... И вот, когда появились приматы, они пришли на помощь и сделали человека разумным!

— Так разве не труд? — удивился я и заткнулся, потому что стало лихо.

— Труд — само собой,— сказал академик Фарафонтов и вытер со лба пот.— Но, батенька, все эти миллионы лет цимексы копили и хранили в себе мутационные гены! Помилуйте, иначе зачем им околачиваться возле человека? Комар глуп, комар всех кусает, а они... Если мы наложим карту распространения цивилизаций в Средиземноморье на карту распространения цимексов, они совпадут!

— Ну и что? — простонал я. Крутило поперек.

— Некоторых смущает, что эпицентр миграций находится на Ближнем Востоке,— продолжал академик.— Но мы-то с вами же русские интеллигенты...

— Может, я и интеллигент,— сказал я, борясь с тошнотой, — но я не толстовец и не гусар-схимник. Я живьем съесть себя не дам! И если наука бессильна...

— Кто это вам сказал? Что вы, батенька, несете? Как может наука быть бессильной, когда она сама превратилась в производительную силу! Документы читать надо! Да, по нашим наблюдениям, количество кровососущих пока еще превышает потребности современного человека. Но потребности-то возрастают! Так что наука и здесь на марше... Кстати, вы знаете, что самка цимекса за одно кормление высасывает максимум семь миллилитров крови? Значит, вы располагаете практически неограниченными природными ресурсами, вас хватит на... э-э-э... да, вы можете обслужить одновременно более семидесяти тысяч особей! Как много-гостаночник!

— Нет,— закричал я.— Никого я не буду обслуживать! Я их давить буду, как... как цимексов вонючих!

— Экий вы экстремист, батенька,— укорил академик.— А что бы вам предложить им разумную альтернативу?

— Что-о? — И меня закрутило еще быстрее.

— Скажем, расставлять по углам блюдца с черной икрой...

— Еще чего!

— Да знаете ли вы, что переброска стока северных рек на юг заставит многих насекомых изменить привычные пути миграции? Вместе с животворной влагой уйдут они в

бездонные степи и там включаются в преобразование их в плодородную житницу...

Мне наконец удалось расстегнуть ремни и выпасть из лопинга.

— А если их байкальской водой травить? — спросил я.

— Э-э, батенька, да у вас аналитический ум! — засмеялся академик. — В самый корень глядите — похвально, похвально... Нет, к сожалению, вода Байкала станет пригодна для этого не завтра — понадобятся еще годы и годы напряженного труда. Дорога цена, которую платит человечество за познание тайнств природы, но все же не дороже денег...

Тут в селекторе раздался пронзительный женский голос:

— Товарищ Фарафонтов! Академические пайки дают!

Собеседник мой моментом освободился от браслетов и проводов и побежал по дорожке в стену. Стена расступилась, пропустив его. Судя по тренировке, прибежать за пайком академик должен был самым первым.

Сергей Сергеевич

Я тоже не задержался во храме науки, тем более что по селектору завопил тот же голос:

— Он к Фарафонтову без допуска ходил! Сергей Сергеевич, что там в пропуске положено: зайчик или лягушечка? Я его словесный портрет запомнила...

«Э, — подумал я, — да тут с именем Страмцова залететь можно. Вот и доску мемориальную чуть не расколотили. Никто здесь не хочет мне помочь, и вообще они, кажется, подкуплены этими... с колюще-сосущим аппаратом...»

И тут в коридор вышел мужчина с ласковым и светлым лицом. Он улыбался и очень приветливо манил к себе при помощи согнутого указательного пальца.

— Привет, друг! Я от Страмцова! — закричал я.

— От Страмцова так от Страмцова, — сказал мужчина, не ослабляя накала улыбки. — Нам-то что? Мы же умные люди. Зайдите ко мне, и поговорим. Я о вашей беде все знаю, слухами земля полнится. Вашу беду я разведу этими вот руками...

Он показал руки, чисто вымытые и нерабочие.

— Зовите меня просто Сергеем Сергеевичем, — сказал он и пропустил меня за дверь. В кабинете было уютно

и полутемно. Сергей Сергеевич включил лампу и указал мне сесть в кресло. Сесть я сел, но свет был в глаза. Попытался передвинуть кресло, но оно было привинчено. Сергей Сергеевич предложил мне закурить и сказал:

— Что же это вы?

— Что же это я что? — спросил я.

— Не валяйте дурака, — поморщился Сергей Сергеевич. — Вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Лучше вспомните, кто вам внушил мысль о необходимости бороться с этими, как вы выражаетесь, кровососущими? Небось на четных этажах этих мыслишек нахватались?

— На четных этажах не был, — сказал я. — А что там?

— А то вы не знаете? — спросил Сергей Сергеевич.

— Не знаю, — ответил я. — Может, другая Управа?

— Еще чего, — разразил Сергей Сергеевич. — Просто там все сильно умные стали, много о себе понимают, а элементарной методологии освоить не могут.. И все-таки, кто внушил?

— Сами они и внущили своим поведением...

— Ну, бросьте, — перебил Сергей Сергеевич. — Нашли тоже отговорку. Что они могут внушить — разве что легкое омерзение. А здесь действовала рука опытная, вы меня понимаете? Понимаете, под чью дудку вы пляшете? То-то. Вот у вас есть знакомый — Печенегин. Он анекдоты загибает — так?

— Да как все в курилке, — сказал я.

— Как все, да не как все! К примеру, какой процент среди этих анекдотов посвящен именно кровососущим? Не пробовали подсчитать? Если бы попробовали, то убедились бы, что процент этот непомерно высок. А вот помните такой анекдот: как они с мороза диван назад в квартиру затащили?

— Ну, помню...

— А под морозом-то что имеется в виду? А под диваном кто? Не делайте удивленное лицо. Да и сами вы... Вот на вас тут целый ряд заявлений поступил и сигналов: ходит, мол, по Управе и распространяет анекдоты про Рюрика и Марика!

Я онемел от такой наглости.

— Невинный вроде бы анекдот, но он противопоставляет Марика Рюрику, бросает тень на их сложившиеся взаимоотношения... Пожалуй, следует сообщить о ваших делишках куда следует...

— Так я же от Страмцова... — пролепетал я.

— Ну и что? — спросил Сергей Сергеевич и выпустил сигаретный дым прямо мне в лицо.

А в самом деле, ну и что, подумал я. Сколько можно за этого Страмцова прятаться? Да ему грош цена, Страмцову этому ихнему...

— Да плевать я хотел на вашего Страмцова! — закричал я.— Кто он такой, этот ваш Страмцов? Проходимец, такой же, как вы все тут! Да вы знаете, кто я сам-то такой? Колесников я, Геннадий Илларионович! Мастер участка сборки! Ясно вам? Колесников я! Колесников!

Никогда в жизни моя фамилия не производила на человека такого убийственного впечатления. Сергей Сергеевич побелел, выключил лампу, сигарету, из которой давеча дымил мне в лицо, затушил об собственный дерзкий язык, потом замахал ручками вокруг моей головы, устраняя дым.

— Только не волнуйтесь! Только не волнуйтесь! — повторял Сергей Сергеевич.— Дадим справку на отгул! Билет на Пугачеву! Дачный участок десять соток! Арабский гарнитур! Я вас не знаю, вы меня не знаете!

— Колесников я!

Сергей Сергеевич заметался по кабинету в поисках чего-нибудь хорошего, чтобы отвлечь меня, но ничего хорошего у него в кабинете не было. Тогда он ухватил плюшевую штору и стал обмахивать меня свежим воздухом. От этого над окошком выскочил гвоздь, гардина сорвалась и ударила Сергея Сергеевича по голове. Я удовлетворенно улыбнулся, но ненадолго: другой, приводнившийся конец гардины накрыл и меня.

Идея фикс

Очнулся я от прикосновения к лицу чего-то медицинского. Милая женщина в белом, почти что Юлия Белянчикова, гладила меня по губе ваткой с нашатырем.

Я стал отплевываться и совсем пришел в себя.

— Как вы себя чувствуете? — спросила врач.

— Превосходно,— ответил я.— Только по ночам донимают...

— Я знаю,— кивнула она.— Я ознакомилась с историей вашей... то есть с вашей историей. Разумеется, то, что произошло в ночь с пятого на десятое,— ужасно...

Я лежал на столе в том же кабинете. Было очень светло из-за сорванных штор. Я посмотрел вниз. Плюш лежал на

полу, по нему пробегали как бы волны: то норовил выползти тоже очухавшийся Сергей Сергеевич.

— А они часто досаждают вам? — спросила врач.

— Часто, — сказал я. — Может, медицина поможет?

— По ночам? — уточнила врач.

— По ночам, — подтвердил я.

— Они ползают по вас? То есть по вам?

— Ползают, — вздохнул я.

— А у них есть ручки и ножки? — спросила врач и приблизила ко мне свое милое лицо с ясными глазами.

— Есть, конечно, — сказал я, закрыв глаза. — И ручки, и ножки... Вернее, лапки...

И попытался взять ее за руку.

Она не позволила и, еще приблизившись, прошептала:

— А они не кричат при этом тоненькими голосами: «Ты наш! Ты наш! Мы убьем тебя!»

Так вот к чему ты меня склоняешь, красавица врачиха! Ты еще спроси, какое сегодня число, заставь перечислить дни недели и страны, входящие в блок АНЗЮС!

— Как часто у вас бывают головные боли? — спрашивала врачиха. — Как давно пьете? С каких пор начали испытывать влечение к домашним насекомым?

Никаких ответов я ей не давал, да она и не ждала их. Нет, голубушка, не выйдет!

— Я от Страмцова! — сказал я, позабыв от удара, что и сам являюсь Колесниковым.

— Не-ет, миленький, — прошептала врачиха. — Тебе кажется, что ты от Страмцова. Это у тебя идея фикс. А теперь мы тебя отведем в палату, там некоторым тоже кажется, что они от Страмцова... Там и Страмцов твой сидит — ему кажется, что он от Блатюка... Там ему и расскажешь свой анекдот про Рюрика и Марика... А то мозги мне компостировать взялся! В ночь с пятого на десятое! Сейчас как вкачу укол, психопат!

Лицо ее изуродовалось неженской и нечеловеческой злобой. Честное слово, я никогда ее раньше не видел и не обижал!

Я и санитаров не обижал! Попробуй обидь таких! Два метра на два! Врачиха обнажила шприц, санитары стали обнажать меня. Тут я от страха вспомнил, что я и сам, поди, Колесников!

— Эй, друзья, полегче! Колесников я!

И негромко вроде сказал. Санитары отпрянули. Один

вырвал у врачихи шприц и шарахнул его об пол. Другой покрутил пальцем у виска:

— Психическая! И не лечится!

— Сама лечит! — пояснил другой, растирая шприц в порошок.— Мы за тебя, дуру, сидеть не собираемся! — объявили санитары хором и пошли прочь. Сергей Сергеевич высунул голову из плюша, напугался и втянул ее назад. Врачиха попросила прощенья. Я погладил ее по голове и вышел, застегивая полуснятые санитарами брюки. Потом сообразил, что про врачиху могут подумать плохо, а еще потом решил — ну и пусть думают!

Девять кругов замкнулись. Я снова был на первом этаже. Под ногами были могильные плиты. Уборщица пристраивала пожарный инвентарь обратно на щит. Впереди был только выход, на выходе сидела Груньюшка-дубачка с внуками и картами.

— Ага! — закричала она и указала на меня желтым костлявым пальцем.— Уйти ладишься, стрекулист хренов! А того не знаешь, что Страмцова твоего на цугундер взяли и практика его повсеместно признана порочной!

Я набычился, взял свое заявление наперевес и пошел.

— Э-э,— сказала старуха.— Выйдешь, но не прежде, чем сыграешь с нами до трех раз в дурака!

Я с грохотом швырнул заявление об пол, оторвал от пиджака пуговицу и сжал ее в кулаке, а кулак поднял над головой.

— Ложись, гады! Я КОЛЕСНИКОВ!!!

Они побросали карты и залегли. Я перешагнул через тела, рванул дверь и вышел. На улице была ночь. Возможно, с пятого на десятое.

Эпилог

...В квартире моей жили совсем другие люди. Они, конечно, удивились, но все же разрешили мне взглянуть в зеркало на старого старика в лохмотьях. Это был я, Колесников.

Извинился и вышел из своей квартиры. Все верно. Ни секунды не потратил я на ожидание в Управе. Много, очень много времени сэкономил. Только, к сожалению, не для себя. Все-таки мое время осталось там, как и время многих моих соотечественников. Время, деньги, нервы, жизнь...

Времени было много, а деньги, к счастью, оставались те же самые. И товары в ближайшем хозяйственном магазине остались такие же — ацетон, растворитель, другие легковоспламеняющиеся... Сложил все в авоську, в табачном киоске на последнюю копейку взял спичек и пошел в сторону Управы. Прохожие не обращали на меня внимания. Подумаешь, идет какой-то выживший из ума старец и бормочет:

— Ни один не должен выползти! Ни один!

Но, подойдя к зданию, я вспомнил, что в нем есть еще и четные этажи, где мне не сделали ничего плохого.

Михаил Веллер

КАРЬЕРА В НИКУДА

Эта вековой дали затерянная история была рассказана мне двадцать лет назад покойным профессором истории Ленинградского университета Сигизмундом Валком. Профессор собрался пообедать в столовой-автомате на углу Невского и Рубинштейна. Он пробирался к столику, держа в одной руке тарелку с сардельками, а в другой ветхий ученический портфельчик, и сквозь скрепленные проволочкой очки подслеповато высматривал свободное место. Под его ногой взмыл кошка, сардельки полетели в одну сторону, портфель в другую, очки в третью, сам же профессор — в четвертую, где и был подхвачен оказавшимся рядом мною (что не было подвигом силы: вес профессора был соизмерим с весом толкнувшей его кошки, на чей хвост он наступил столь неосмотрительно). Я сорвал воедино три дотоле совместные части, выловив очки пальцем из чьей-то солянки, к негодованию едока, сардельки же бойко выбил без очереди взамен растоптанных. Ободрившийся старичок в брезентовом дождевичке вступил в благодарственную беседу — и я был поражен знакомством: профессор с мировым именем. Кажется, пользовало и ему то обстоятельство, что хорошие манеры принадлежали студенту родного университета.

Апрельское солнце клонилось, Мойка несла бурый мусор, Летний сад закрылся на просушку: я провожал профессора до Библиотеки Академии наук. Он поглядывал хитро и добро, покачивал сигареткой в коричневой лапке, шаркал ботиночками по гранитам набережных: рассуждал... Был вздох о счастье юности, вздох о мирской тщете, вздох о всесилии времени; легкой чередой вздохи промыли русло мысли, слились в сюжет — характер, судьба, история. Он касался рукой имен, дат, названий — просто, как домашних вещей: история казалась его домом, из которого он вышел ненадолго, лукавый всеведущий гном, на весеннюю прогулку.

Записки мои потерялись в переездах. Я пытался восстановить обломки фактов расспросами знакомых истори-

ков — безуспешно; эрудиция и память Валка были феноменальны.

Сохранилось: происходило все во второй половине прошлого века в Петербурге и двух губернских городах, герой воевал в русско-турецкую войну 1877 года, по молодости примыкал к народникам, знался с народовольцами, достиг поста не то губернатора, не то чего-то в таком роде, — уж не вспомнить, да и не имеет это, наверное, принципиального значения. Кончил же он в доме умалищенных, до водворения туда исчез надолго так, что еле нашли: слухи о загадочном исчезновении поползли среди людей, не обошлось, разумеется, без суеверия и выдумок глупейших, хотя и небезынтересных самих по себе: некий сочинитель даже повестушку про то намарал — забыл названного Валком автора, забыл название, издательство — где искать концы? как? да и стоит ли?..

Ах, сторицей, сторицей расплатился со мной старенький профессор за порцию сарделек и выуженные из солянки очки, если двадцать лет прозревают во мне его слова. Возможно, память что исказила, но главное-то я помню, держу, не раз ворошил, прикидывал слышанное в тот теплый апрельский вечер шестьдесят седьмого года: сияла в закате Петроградская сторона, кружились в Неве льдинки, звенел трамвай на Тучковом мосту, щурился и смеялся своему рассказу профессор, объяснял без назидания, учил не поучая — делился со мной, девятнадцатилетним.

И жаль дать пропасть словам его в забвении, жаль!

Не читать мне лекций по истории, не быть профессором, не обедать сардельками в той забегаловке — нет ее больше; попытаться могу лишь передать, оставить поведанное им; а то время идет — и проходит.

Глава первая

МАЯТНИК ДУШИ

19 лет. Простые ценности.

«186...г.
Санкт-Петербург

...я не хочу карьеры. Почтенный папенька, простите... Вы сами воспитывали меня в духе уважения к людям, сострадания к сирым и обиженным. Учили жить по совести и быть, главное, хорошим человеком.

Карьерист же, как я представляю, означает: человек,

болеющий не о пользе дела, но о деле ради своей пользы и выгоды. Неуважение и презрение ему отплатой, зависть и ненависть. Им льстят — но клевещут, порядочные люди должны отвертываться от них, не подавать руки; они низки и эгоистичны. Все в этом враждебно мне.

Гнаться за успехом? Класть на это жизнь? Зачем? Какой смысл? В богатстве и власти? — мне это не нужно. Разве в этом предназначение человека? Разве это приносит счастье?

Я поступил на курс университета изучать право, чтобы помогать людям и улучшать действительность. И хочу единственно вещей простых и никому не заказанных: счастья, любви ближних; доброго мнения людей и настоящего дела, честным исполнением которого смогу гордиться. Хочу быть полезен, нужен людям и обществу.

Мне все пути открыты, пишете Вы: мол, и внешность, и ум, и трудолюбие, и умение влиять на людей, и деньги (я краснел)... И растратить это все на суету, достижение внешних отличий? трястись и волноваться — вдруг пост достанется не мне?

Я избрал иной путь. По окончании курса я хотел бы уехать куда подалее, где цивилизация еще не наложила свое губительное клеймо продажности и разврата, где люди не соревнуются в излишествах и пороках, где чисто сердце и крепок дух. Я хочу найти свою судьбу среди людей, работающих честно и тяжело, преодолевая истинные трудности и борясь с суворой природой. Насаждать закон и справедливость, пресекать зло и утверждать добро — вот профессия правоведа.

И если я таков, как Вы считаете, то сумею сделать многое — и, следовательно, мои способности и возможности будут замечены, поприще мое будет расти, выситься, — ибо везде нужны хорошие работники: будет по заслугам и честь. Страйся исполнять свое дело наилучшим образом и не думай о награде — она придет сама. Только такой род карьеры мог бы меня прельстить.

Я знаю, это нелегкий путь. Но я готов к трудностям и не боюсь их. Вы правы: жизнь отнюдь не гладка, есть и несправедливость, и пороки, и недостатки; но разве борьба с ними — не достойный, не высший удел?

Денег мне, спасибо, вполне хватает. Но Вы напрасно опасаетесь, что меня завлекают кутежи, франтовство, «доступные женщины» и прочие «студенческие шалости». Друзья мои — чудесные и достойные люди, и если нам весело, — на то и молодость.

А дурное влияние Дмитревского Вы подозреваете безосновательно, — напротив: он человек в высшей степени рассудительный, умный, образованный, душой чист и благороден; ему я многим обязан, в том числе и воздержанию от скверных наклонностей. Он как раз серьезен, положителен,— Вам бы понравился непременно...»

21 год. Мы переделаем мир.

Нытики, пессимисты, тоскующие — презираю вас. Кто хочет делать — находит возможности, кто не хочет делать — изыскивает причины.

Еще ничего в жизни не сделали, а уже стонут, уже всем недовольны! Все критикуют — никто ничего делать не хочет. Все видят недостатки — никто не хочет действовать за их устранение. А вы хотите, чтоб недостатки сами исчезли? Так ведь и тогда будут брюзжать, найдут повод, брюзги несчастные!

Как не поймут: жизнь будет такой — и только такой! — какой мы сами ее сделаем. Никто за нас не сделает, не поднесет готовое. И вот когда вы слезете со своего дивана, и подотрете свои сопли, и засучите рукавчики на чистеньких бездельных ручках,— только тогда что-то может измениться.

Все сделать можно, все в наших руках. И не надо ждать, что все сразу как по маслу пойдет — так не бывает. И трудности будут, и поражения, и несправедливости, и боль, но будет делаться дело, будет улучшаться жизнь, становиться счастливее люди — и вы, сами в первую очередь.

«Коррупция кругом», «продажность засела»... А ты сам с этой коррупцией уже сталкивался? С этой продажностью хоть раз боролся? Ты же сам ее первый соучастник: если видишь — и миришься!

Еще смеют говорить — жизнь такова! Жизни-то не знают, а уже уверены, что она дурна. Бороться не пробовали, но уже смирились. Чем же дурна? Что рабства более нет? Что всяк волен грамотен стать, образование получить? Что стезя каждомукрыта? Что журналы выходят? Что железная дорога грузы перевозит, со смертельными болезнями бороться научились, что гласность во всем, каждый может свое мнение вслух публично высказать, ощущая себя гражданином.

Нет, не высказывают: друг другу жалуются, а вслух — нет: даже этого не сделают, улитки унылые, лежачие камни.

Некогда за веру ссылали, сжигали, продавали, как скотов, чума страны косила, в нищете и невежестве в тридцать лет умирали — и после этого говорить, что прогресса нет? что жизнь не улучшается?! да оглянитесь кругом — у вас глаза-то есть? Согласен: есть еще и неравенство, и подлость, и мздоимство,— а вы хотите, чтоб вам был рай готов? Гарибальди Италию освобождает, в американских штатах белые воюют с белыми же рабовладельцами, негров от гнета избавляя,— так действуют настоящие люди, желающие лучшей и справедливой жизни! Вспомните пятерых повешенных после четырнадцатого декабря: не прошло даром их дело, обязаны мы им!

(Один подлец, отказавшийся подписать петицию, чтоб Дмитревского оставили в университете, заявил, что причина моих взглядов — богатство, происхождение и пр. Мол, достоинство тебе по карману, совесть мучит потому, что не мучит желудок. Думаешь об общем благе, ибо нет нужды заботиться о благе личном. А бедняк спор выгода с совестью решает в пользу жизни своей семьи. Благородство возвышает богача среди себе подобных, ему достигать нечего, он наверху; а бедняку выбиться в люди, занять место по способностям, не хуже других, можно лишь ничем не брезгя...)

Если б каждый вместо нытья сказал всю правду вслух, сделал бы все, что мог,— уж рай настал бы! Ведь мерзость-то вся — она же только нашим молчанием, нашим смирением сильна; мы б ее давно смели. И должны смести. И сметем!

А будет сопротивляться сильно — прав Дмитревский, любыми средствами надо бороться за правду и справедливость. Надо — так и огнем и мечом, не боясь жесткостей французской революции...

23 года. Наказание добродетели.

А как-то все-таки странно: лучшие места получили совсем не самые способные и заметные из нас. Сколько обещающих юношей, блестящих умов, бывших через край энергий — где ж они? влачат самые рядовые обязанности. А места, свидетельствующие о признании, раскрывающие перспективы, требующие, казалось, наибольших качеств, заняты сравнительно незаметными и заурядными... Ну — связи, деньги, продажность; но когда и этого нету — все равно: неясным образом сравнительные серости преуспели больше звезд.

Вспоминаю наших профессоров... Многие студенты к концу курса были и умнее большинства их, и образованнее, и куда лучше говорили. Как вышло, что они в чинах и званиях? Ведь и на их курсах учились промеж ними более достойные — где они, как?

Во мне не говорит обида, я лично ничем не задет, никому не завидую, роз под ноги и не ждал; я просто понять хочу. Конечно: блестящий ум часто сочетается с самолюбивым и несдержаным характером — это мешает, таких людей стараются избегать, отодвигать, они наживают влиятельных врагов. Но даже если они скромны, вежливы — все равно! тем легче теряются...

Мое место незначительно, обязанности несложны, я делаю больше положенного не из корысти — а просто могу много больше, да и работать плохо неинтересно. Кругом же валаются спустя рукава, поплевывают — и припевают! А мне чуть что — выговаривают...

Ладно, обошли повышением, не нужны мне эти копейки и фанаберия, — несправедливость обидна. Даже не она: дико, вредно для дела, н е п р а в и л ь н о! — ты хочешь работать хорошо, а тебе не дают.

Кому плохо, если я буду работать в полную силу? Да за то же самое жалованье? Если я могу делать больше, лучше, разумнее — так повысьте меня, дайте возможность использовать все силы — вам же во благо — людям, обществу, делу, начальству тому же, ведь работа подчиненных им же в заслугу идет! Не повышаете — так хоть на моем месте дайте мне работать, пойдите навстречу, — если вам это нётрудно, ничего не стоит, а польза дела очевидна! Ладно, не помогайте, — так хоть не мешайте, не суйте палки в колеса, не бейте за то, что работаю лучше других!

Бред: я стараюсь работать хорошо во благо, скажем так условно, своему учреждению и начальству. А учреждение и начальство наказывают меня, требуя, чтоб я работал плохо — как большинство.

Кто работает «как все» (плохо!!) — ими довольны и повышают в должностях. А кто хорошо — бедствуют. Честно борешься с недостатками — ты же и виноват. А кто недостатки эти умножает — оказывается прав. Хотя сам на эти недостатки жалуется! Хотя ему самому эти недостатки мешают! Не понимаю...

Какова же эта поразительная антитологика, что наверх идут заурядности? Кому это выгодно, зачем, почему?..

Известно: новое, лучшее — утверждает себя в борьбе с отжившим, и вообще — чем больше хочешь совершить, тем

больше трудностей надо преодолеть; так. Но — кто тут друзья, кто враги, каковы их мотивы?.. Ясно бы враждебный департамент, противная точка зрения, конкурент на место; но откуда упорное неприятие, неприязнь коллег и начальства, когда я хочу что-то сделать лучше, по-новому, больше — для нашего общего дела?

...Да, брат: одно дело знать, что путь добродетели усыпан не розами, а терниями, а совсем другое — по ним идти. Кто ж из известных людей жил и пробивался без трудностей. Вид пропасти должен рождать мысль не о бездне, а о мосте. Одно мучительно: на словах-то все тебе союзники, а вот на деле... Ну, Дмитревскому еще куда труднее, чем мне. Как прозябает, бедный, светило наше.

25 лет. Жизнь несправедлива.

Меня не то гнетет, что в жизни много трудного и несправедливого. Не то, что хорошие и добрые люди часто незаслуженно страдают. Не то, что зло подминает добро. Это бы все ерунда... сожмем зубы в борьбе и победим! Я молод, здоров, я не знаю, куда приложить бьющую энергию, я чувствую в себе силы совершить что угодно, добиться всего, одолеть все; клянусь — я могу!..

Другое меня гложет, гложет непрестанно, иссасывает душу, подтачивает веру. Если несправедливость царит в отдельном случае, меж отдельными людьми, в отдельном месте, в отдельную эпоху, наконец,— с ней можно и должно бороться. Будь настоящим бойцом, сильным, умелым, упорным — и ты победишь: победит правда и добро. Но так ли, так ли устроен мир, чтоб они побеждали?..

Я чувствую себя Наполеоном — но что, что мне делать, скажите! я не знаю! В чем смысл всего? как добиться торжества истины? возможно ли оно вообще? и что есть истина? Я смотрю вокруг — это бы ладно, но я смотрю в историю — и безнадежность охватывает.

Древние греки, гармоничные эллины — приговорили к смерти Сократа! Не успел умереть Перикл, покровительствовавший Фидию,— и Фидий гибнет в темнице! Да что Фидий — царь Соломон, мудрейший Соломон — первое, что сделал, придя к власти,— приказал убить родного брата, чтоб устранить возможного конкурента! Англия, твердят, демократические традиции,— а не Англия уволила с флота славного Нельсона, и за что? Пытался мешать ворам растаскивать казну империи! Битвы выигрывал он — а главные награды получали другие. Не Англия ли

казнила свою славу Томаса Мора, светлейшего из людей? Колыбель свободы, Франция? Что ж ничтожный король и французы оставили на сожжение Жанну д'Арк, свою гордость, освободительницу, святую? А поздней? Дантон, Марат, Робеспьер, Демулен — все лучшие срублены! Наполеон — умер в ссылке. Цезарь — убит своими. Данте — умер в изгнании. Наш Пушкин — убит на дуэли. И несть конца, несть конца!

Ничтожеством убит Линкольн! Вот что изводит душу!..

Неужели извечны горе и гибель лучших людей? торжество зла? и если хочешь нести свет и добро,— будь готов к цене костра, меча, креста? И это бы меня не испугало, не остановило — знать бы, что после смерти истина моя восторжествует. Но ведь те же самые, благонамеренные и послушные, которые лучших людей изгоняли и убивали, — после возводили их в святые и продолжали уничтожать еще живых. Разврат и продажность Ватикана — это что, торжество дела первомучеников? Сожжение еретиков, которые ту же Библию на родном языке читали,— это милосердие христианства? И после этого вы мне предлагаете верить в Бога? Не могу я в него верить.

...Либо мир устроен неправильно, либо мои представления о нем неправильны. Но ведь за торжество и победу этих представлений лучшие из лучших жизнью жертвовали! вера в добро вечно живет!

Две истины есть в мире: истина духа — и истина факта. Истина того, у кого в руке в нужный момент оказался меч,— и истина того, кто не дрогнув встречает этот меч с поднятой головой. Один побеждает — второй непобедим. И две эти истины, каждая права и непоколебима по-своему, никогда не сойдутся... Это как клещи, две неохватные плоскости — небо и земля, твердые, бесконечные, плоские: сошлись вместе, давят меня, плющат, темнеет в глазах, не вздохнуть, тяжко мне, темно, безысходно...

А Дмитревский в ссылке. За то, что добра хотел сильней, чем мы все! «Противозаконно»... Ведь цели его и Закона одни: счастье, справедливость... Безнадежно: везде фильтры, ссыск, тайный надзор...

27 лет. Так создан мир.

Представим:

Пустырь. На одном его краю — карета. На другом — десять человек. Сигнал! — они бегут к карете. Кто же поедет в ней? — тот, кто лучше правит? Нет — тот, кто

быстрее бегает. Кто сумел обогнать, растолкать всех; а ездить он может весьма плохо.

Так во всем. Любая вещь принадлежит не тому, кто наиболее способен ею распорядиться, а тому, кто наиболее способен ею завладеть и удерживать.

Поэтому «высокий чин» сплошь и рядом — посредственность и заурядность во всем, кроме одного — он гений захвата и удержания своего поста. Все его помыслы направлены именно на это, а не на свершение дел. И естественно, он достигнет и сохранит пост гораздо вероятнее, чем тот, кто, будучи даже более умен — и несравненно более способен распорядиться постом, — энергию направит на свершение дел, а не сосредоточит единственно на удержании поста.

Преимущества карьераста очевидны: каждый его шаг подчинен захвату цели. Любое действие он рассматривает только под этим углом целесообразности. Все, что способствует захвату цели, — хорошо, что не способствует — ненужно, что мешает — плохо. И будет всем доказывать, что именно он достоин владеть, все силы направит на пресекание чужих домогательств, на создание мнения, видимости, положения — таких, что его не сковырнешь. А дело он делает лишь так и лишь настолько, как полезнее для удержания поста, а не для самого дела.

Это первое. А второе.

Два человека, равно умных и энергичных. Разница: первый порядочен и добр, а второй способен на любой, самый злой поступок.

Кто вернее достигнет трудной цели? Второй.

Почему? Потому что он в два раза вооруженнее, сильнее; он способен и на добрые средства, и на злые, а первый — только на добрые. Из всех возможных поступков для первого возможна только одна половина сферы, а для второго — вся сфера, весь арсенал.

Могут сказать, что это дурно. Но разве я и сам так не считаю?.. Могут сказать, что этого не должно быть. Но разве я виноват, что так есть? Могут сказать, что это несправедливо. Это так же несправедливо, как землетрясение: худо, а не отменишь, негодовать бессмысленно, а замалчивать вредно — надо знать о нем больше, чтоб как-то существовать, приспособливаться, спасаться.

Вот поэтому добродетель всегда будет в рабстве у порока, благородство — у низости, ум — у серости, талант — у бездарности, ибо слабость всегда будет подчиняться силе.

А победитель всегда прав. Ибо через его действия и происходят объективные законы жизни, природы. А жизнь, природа — всегда права. Жизнь — она и есть истина; она — данность, кроме нее ничего нет. Ошибаться могут лишь наши представления о ней.

Возразят: пошлость мысли... Спросят: а как же мораль и Бог? Но в Бога я не верю, а мораль понял...

Отчего, говорите, мораль и совесть противоречат личной выгоде?

Ответ первый: чтоб люди вовсе не пожрали друг друга; в обществе необходим порядок, правила нравственности и поведения.

Ответ второй: мораль нужна сильному, попирающему ее,— чтоб подчинять себе слабого, верявшего в нее и следующего ей.

Это — пошло, общеизвестно, зло. Но вот третье.

Диалектика мудрого Гегеля: единство и борьба противоположностей. Жизнь и смерть, добро и зло, верх и низ, красота и уродство — одно без другого не существует, как две стороны медали: одно тем и определяется, что противоречит другому.

Где есть реальность — там есть и идеал. Это единство противоположностей. Мораль — это идеал реальности. Она вечна, как вечна реальность, и недостижима реально — ибо есть противоположность реальности.

И четвертое.

Опять Гегель: любая вещь едина в противоречии двух своих сторон, противоречие вещи себе самой — свойство самого ее существования, закон жизни. В организме процессы, необходимые для жизни, одновременно тем самым приближают организм к смерти. Ходьба затруднена силой тяжести, вызывающей усталость,— но ею же делается вообще возможной, давая сцепление с землей.

Жить — значит чувствовать. Чувство — это противоречие (обычно неосознанное) между двумя полюсами: имеющее и желаемое, хотение и долг, владение и страх потерять, лень и нужда, добро и зло, голый прагматизм — и запрет «скверных» средств, пусть и вернейших для достижения цели.

Совесть и выгода — это единство противоречия. Это две мачты, растягивающие парус — чувство; доколе он несет — это и есть жизнь. А инстинкт диктует жить, т. е. чувствовать, т. е. иметь это противоречие.

Это противоречие в душе человеческой постоянно. И чем сильнее, живее душа — тем сильней оно! (Недаром

великие грешники становились великими праведниками.) Каждый не прочь и блага все иметь — и по совести поступать. Выгоде уступишь — мораль скребет, морали последуешь — выгода искушает. Отказ от выгода — сильное чувство, преступить мораль — еще более сильное. В чувствах и жизнь.

Люди — разные: один уклонится в выгоду, мораль вовсе отринув, другой — в праведность, выгоду вовсе презрев; но это крайности, а жизнь вся — между ними...

А насколько следовать морали — натура и обстоятельства сами диктуют.

Конечно, мои рассуждения философски наивны, но каждый ведь для себя эти вопросы решает.

Везде в жизни действует закон инерции — стремление сохранить существующее положение. Это не плохо: во-первых, это так, потому что мир устроен, во-вторых — это инстинкт самосохранения. Общество, скажем, инстинктивно, по объективному закону, не зависящему от сознания и воли отдельных людей, стремится сохранить все то в себе, с чем смогло выжить, развиться, подняться до настоящего уровня цивилизации и на нем существовать. Время произвело беспощадный отбор, и выжило то, что оказалось наиболее жизнеспособно, т. е. верно для жизни и развития людей в обществе.

А сколько в веках прожекторов, авантюристов, ниспревергателей! Послушать их, последовать всем их заманчивым проектам — человечество не могло бы существовать: они противоречат друг другу, придумывают немыслимое, выдают желаемое за действительное, обещая быстро и легко переделать мир. Что будет, если человечество будет следовать за ними всеми? — анархия, развал всего, что с таким трудом достигнуто за века и тысячелетия, упадок, гибель.

Сама жизнь отбирает из их прожектов реальные.

Поэтому первая и естественная реакция общества на такого гения — обострение инстинкта самосохранения: придавить его, чтоб не разрушал. Каждый, кто высовывается над толпой, — потенциальный враг общества, угрожающий его благоденствию. Любая система стремится к стабильности, а гений — это дестабилизатор, он стремится изменить, и система защищается — как в естественных науках. Он говорит, что для нашего же блага? все так говорят! дави их всех, а жизнь после разберется, кто прав. Что ж — после некоторым ставят памятники...

Каждый, кто хочет блага обществу, — должен быть

готов пожертвовать собой во имя лучшего будущего общества, будущего блага... Но и в будущем обществе точно так же подобных ему благородных самосожженцев будут давить и уничтожать — вот в чем трагедия! Ибо развитие непрерывно, бесконечно, доколе жизнь существует. Ничего в принципе не меняется...

Значит, ждать награды за добро нечего. Хула и травля наградой благородным и мятущимся, единственным умам. Да посмертная слава. Да улучшение жизни после их смерти — если они окажутся правы. Но какое улучшение? — такое, в каком среднему человеку, стаду, будет сытнее и привольнее,— а страсти-то останутся те же, несправедливости те же, лучших, избранных — травить будут так же.

Стоит ли, понимая все это, жертвовать собою ради такого положения вещей?

Каждый решает это для себя сам...

Но я — Я — не чувствую в себе сил, веры, самоотверженности класть свою жизнь на алтарь служения человечеству,— ибо это не алтарь никакой, а камень дорожный под колесом истории. Человечество катит в колеснице, а лучшие из лучших мостят дорогу под колеса своими kostями. Им поют славу и сошвыривают под колеса новых народившихся лучших людей, чтобы ехать и петь дальше: ровней дорога, больше еды, теплей солнце, а суть-то все та же самая.

Вот как это все устроено...

Я обычный человек и хочу всего обычного: и достатка, и всех благ людских, и всех мирских радостей... нет во мне фанатизма жертвовать собой.

А не жертвовать — значит отказаться от лучшего, что есть в твоей душе. От самого высокого и достойного. Измельчиться. Жить ничтожнее, нежели ты способен.

30 лет. Здесь мое место.

Как же дошел я до жизни такой? Да, я мечтал об истине, имел идеалы, хотел жить по совести,— но, в общем, никогда сознательно не избирал мученичество. Как путь мой завел меня к нему?.. Я ведь такого не хотел... Духу столько не было, чтоб решиться, выбор сделать, сознательно пойти,— а вот...

Да разве десять лет назад поверил ли бы я, решился ли бы — если б от меня потребовалось стать нищим, состарившимся, одиноким, изгнанным, только что по-

даяния не прошу — и то! и то даст порой кто, на нищее
платье мое глядя, крендель или гривенник — и беру! и
стыд-то перестал испытывать! Да я ведь по миру пошел,
Христа ради пошел, куда уж ниже!

Как же вышло, что благородные побуждения юности
завели меня на рубеж, дальше которого уже и нет ничего?!
Ведь действительно получилось, что я своим убеждениям
всем, всем пожертвовал — ничего в жизни не имею, гол,
как праведник!

Сам-то я знаю и клянусь, что не настолько же я был
подвержен поиску истины, служению справедливости, чтоб
за них умереть в цвете лет нищим под забором! — а вот
умираю нищим под забором.

А самое парадоксальное — за что? Ведь я совсем не
 тот, что был в двадцать лет, и нет у меня уже тех святых
и наивных убеждений, что тогда были! Нету! Жизнь их
вытоптала, выбила, развеяла. За что же я страдаю и гиб-
ну? Я нищ — а нищету ненавижу! Праведен — а правед-
ность презираю! не хочу я ее, само собой это получилось.
Не делаю ничего — а бездельников не переношу, хочу дела,
мне не хватает его, мне деятельность требуется.

А какая? Ради куска хлеба? — мало, скучно, труда не
стоит. Ради мелкого достатка? Нет; меня лишь большое
удовлетворит.

Значит — добиваться, рвать, идти вперед, вверх...

...Так зачем же человек вступает на путь карьеры —
если заранее предвидит все издержки и горести? А ведь
вступает...

Человек большой карьеры счастлив — на самый по-
верхностный взгляд. На взгляд более углубленный — доля
его тяжка.

Семья ему не отрада. Женится обычно по расчету. Дети
растут чужими. У него нет настоящего домашнего очага —
блеск особняков в беде не согреет, выгодная жена в
горе не утешит. Вот его любовь.

Любовница? Красива и молода — из денег и выгод.
Бросит его первая чуть что, продаст, сменит на лучшего
при удобном случае.

Деньги? Куда они ему — и имеющихся-то не потратить.
А вот и старость: здоровье ни к черту, ходит с трудом,
ест по диете, хмур и мрачен, — что радости в миллионах?..

Слава? В глаза-то льстят, за спиной плюются. Помрет — и слезы не проронят: собаке собачья смерть. Презрение и ненависть.

Дела его? Нет никаких дел, одна суeta и видимость.

Положение? Жри все время других и бойся, что они сожрут тебя.

Отдых, безделье? Тоже нет. Ведь заняты все время, что-то делают, устраивают, договариваются, ни часа свободного, устают смертельно, здоровье гробят, в могилу сходят раньше времени.

И хоть бы радость, счастье в этом имели — так ведь тоже нет! Озабочены, насторожены, вечно козни подозревают, угрозы своему положению; тяжело им, хлопотно, невесело.

Делают что хотят? — и вовсе нет! Рабы они своего места, делают только то, что выгодно месту — удержать; чтоб начальство не осердилось, подчиненный не подсидел. За рамки эти жестокие — не вышагнуты!

Почему же не выйти в отставку, не отдохнуть на покое, наслаждаясь плодами долгого труда и праздностью?

Во-первых, не очень-то и дадут. За долгую карьеру врагов много себе нажил, и как власти лишится — за все ему отомстить могут, в клочья разорвать, лишить последнего, в гроб загнать, а семью пустить по миру. Уйти с поста — самому себя зубов лишить, которые нужны нажитое охранять и врагов сдерживать. Затянуло колесо, горят глазами волки, назад хода уже нет.

Во-вторых, нелегко на старости лет резко снижаться в глазах людей, в весе, в образе жизни. Был почет — а тут могут и руки не подать, не узнать бывшие подхалимы. То семье твоей кланялись все — а тут она обделенной себя чувствует, обедневшей, чуть не нищей, униженной.

В-третьих, ведь никакой другой радости-то в жизни, кроме службы на посту высоком, и не осталось уже! Ведь всю жизнь себя к одному-единственному приспособливал — карьеру делать; этому всем жертвовал, все подчинял — куда ж теперь деться? Семья чужая, здоровья нет, желания все угасли, повыветрились — вся-то жизнь в одном-единственном осталась, сосредоточилась: лишняя награда, благодарность начальства, хвала подчиненных, уверяющих тебя в мудрости и величии твоем. Этого последнего лишиться — что ж тогда вообще в жизни останется?..

А самое главное — человек должен стараться делать самое большое, на что он в жизни способен. Это закон жизни. Трудно, как трудно дойти до вершин в карьере, еще труднее бывает там удержаться. Все силы, все помыслы на это, всей жизнью своей себя на это натаскивал; это — смысл жизни карьериста.

И это главное, этот закон жизни побуждает меня пойти

по стезе карьеры. Я себе иллюзий не строю: я в тридцать лет эгоист и нигилист законченный. Ни во что не верю и, кроме собственного блага и удовольствия, ничего не желаю.

Куда ж мне податься, кроме служебной карьеры? Никаких особенных талантов у меня нет, искусства и науки того не дадут, что служба; не торговлей же деньги скопливать: почет не тот, престиж не тот; да и я много умней, образованней торгащей — чего ж способностям моим зря пропадать?

А настоящая карьера — всех сил, всех способностей требует. И актерских, и памяти, и работоспособности, и внешних данных, и характера — здесь я всего себя приложить смогу.

Зачем? А зачем все?.. Тогда все бессмысленно. Нищий гений писал картины — а ими услаждаются тупые богачи; где смысл? А в том, что я сказал: максимально прикладывать в жизни все свои силы.

Зачем? Затем, что прозябать в нищете и унижении я далее не могу. Я не имею средств содержать семью, у меня нет приличного платья, я питаюсь тем, от чего отставной инвалид отвернется. Друзья мои вышли наверх и меня не узнают, молодость пропадает впустую, люди, несравненно ниже меня по уму, образованию, душе, — спесиво унижают меня на каждом шагу; я не могу так больше!

Я страдаю от моего положения, страдание это доставляет постоянную и мучительную боль, боль вызывает злобу на всех: кто выше — потому что я по качествам личности своей лучше их; кто рядом — потому что я не ровня этим мелким сошкам, тупым обывателям; кто ниже — свиньям и рабским созданиям, грубым, пьяным, не желающим ничего, кроме сытого пьянства в своем хлеву.

О, рядом с ними люди карьеры — это герои, сверхчеловеки! Они могущественны, умны, энергичны, приятны в общении! У них довольно ума, чтобы понять лживость и фарисейство морали, смеяться над этими бреднями для бедных дураков. У них довольно силы и энергии работать непрестанно, довольно мужества, чтобы прокладывать себе путь там, где никто никому пощады не дает. У них достаточно бодрости и веселья, чтобы никогда не унывать, не жаловаться, подниматься из падения с улыбкой и снова шагать наверх.

Жизнь — борьба. Вот они борются и побеждают.

Где бедняк плачет — человек карьеры стискивает зубы. Где бедняк проклинает — человек карьеры смеется. Где

бедняк обвиняет весь мир в своих бедах — человек карьеры холодно делает себе урок из собственной ошибки. Он знает, что все люди — враги и во всем можно обвинять только себя самого: плохо рассчитал, слабо добивался.

Рядом с бедняком я сам чувствую, что становлюсь смиренее, слабее, мельче; рядом с человеком карьеры я словно подзаряжаюсь его энергией, оптимизмом, жестокостью, сознанием достижимости любой цели.

Кто же достойнее: кто видит жизнь в истинном свете и живет по ее законам — или тот, кто не желает снять розовые очки и отягощает всех своими сетованиями? Тот, кто имеет силы повелевать,— или тот, кто в слабости подчиняется? Тот, кто может сделать что угодно,— или тот, кто не может сделать даже собственное скромное благополучие? Кто имеет ум обманывать — или кто имеет глупость обманываться? Кто равнодушно принимает поклонение, презирая льстецов,— или кто подобострастно кланяется, смиряя свою ненависть?

Только тот, кто стоит высоко, имеет возможность что-то совершить в жизни, влиять на нее. Иначе — затопчут тебя вместе с твоими благими намерениями и предложениеми. Ведь каждый в жизни охраняет собственное благополучие и интересы — поэтому надо быть сильным, чтобы совершить что-то. А сила в человеческом обществе — это власть и деньги.

Власть же по плечу только сильным. Повелевать людьми, внушать другим свою волю, добиваться исполнения ее — это тяжкий труд, далеко не каждому посильный. Это особый склад натуры; слабого такой груз отпугнет, оттолкнет.

Только имеющий власть может что-то изменить, улучшить в обществе: он имеет для этого средства. Это мог император Петр, а вот чиновничек благодушный не может ни шиша изменить.

Вот и получается, что куда ни кинь — но если ты личность сильная, энергичная, богатая,— то никуда; кроме карьеры, тебе не податься. И добро творить — надо для этого возможностей, власти творить его добиться, и личное благо урвать — опять же карьера, если не стезя тебе торговать, подкупать полицию и подличать перед всякой властью униженно; а это не по мне.

Что ж; я потерял много времени для карьеры — но имею сейчас много опыта, целеустремленности, рассудительности. Еще есть время все наверстать. Да и — с самого низа как куда ни пойди — все наверх выйдет.

Что ж мне, как Дмитревскому, в каторгу идти? Не хочу. Чего ради? Ах, Дмитревский, слушал я тебя некогда, да не послушал ты меня... Один ты был друг у меня... Что бы я не отдал сейчас, чтоб вызволить тебя, помочь... Вот опять же: сила нужна для всего: имел бы я сейчас власть, влияние — и твою бы участь облегчил... Дитя мое наивное... Иной мой путь теперь, иной. Авось когда еще свидимся — сам поймешь, что за мной правда: за жизнью...

Глава вторая

ПУТЬ НАВЕРХ

Скромный чин. Вхождение.

И з н у т р и:

1. Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку.
2. Готовность на любые средства и поступки во имя цели.
3. Постоянный анализ поступков: разбор ошибок, учет удач.
4. Крепить в себе самообладание, терпение, волю, веру в успех.
5. Приучиться видеть в людях шахматные фигуры в твоей игре.
6. Голый прагматизм, избавление от совести и морали.
7. Овладение актерством: убедительно изображать нужные чувства.
8. Готовность и стойкое спокойствие к взлетам и неудачам.
9. Готовность и желание постоянной борьбы в движении к успеху.
10. Целеустремленность, равнодушие ко всему, что не способствует успеху.
11. Постоянная готовность использовать любой шанс, поиск любого шанса.
12. Беречь здоровье — залог сил, выносливости, самой жизни.

С н а р у ж и:

1. Позаботиться о первом впечатлении от себя: оно многое определит.

2. Будь опрятен, аккуратен, подтянут — но без щегольства и претензий.

3. Будь скромен. Не заводи разговора первый. Не вылезай вперед.

4. Не выделяйся. Не будь первым ни в чем. Держись в тени.

5. Будь ровен, тих, неприметен, не весел и не грустен. Разделяй общее настроение — искренне, но скромно. Не раздражай веселых своим унынием, а хмурых — весельем.

6. Не проявляй инициативы. На работу не напрашивайся, от работы не бегай. Исполняй добросовестно и в срок — не лучше всех.

7. Ты не должен давать никаких поводов для зависти или жалости — ни достатком, ни успехами, ни перспективами, ни здоровьем. Помни: пока ты мелок и зависим от всех, тебе опасна неприязнь любого, нужно добиться доброго к себе отношения от всех.

8. Начни общение с человека маленького, забитого: он станет предан тебе бескорыстно во всем.

9. Не имей врагов. Не участвуй ни в чьей травле, если не уверился в ее полной для себя безвредности — и только если она необходима тебе для союза с другими.

10. Не излишне часто спрашивай совета в работе, выражая неуверенность, что сможешь достигнуть мастерства имярек: это располагает к тебе, говорит о значительности спрашиваемого и незначительности, но разумности, доброте, скромности твоей.

11. Изучай, изучай и еще раз изучай коллег и особенно начальство. Делайся преданнейшим другом человеку наименее влиятельному и перспективному.

12. Будь собранием всех добродетелей — не подчеркивая, лишен всех пороков — неприметно; ты должен добиться, чтобы коллеги любили в тебе человека доброго, неглупого, отзывчивого, порядочного, приятного — но неконкурентоспособного и малозначительного.

13. Не торопись. Промах в начале пути особенно тяжело исправим.

Сносный чин.

Б и б ли о т с к а ч е с т о л ю б ц а:

Никогда не быть бедным.

Князь Талейран

Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку.

Наполеон

В общество надо вкрасться, как чума, или врезаться, как пушечное ядро. Смотрите на людей как на лошадей, которых надо загонять и менять на станциях.

Бальзак

Начальник есть богом данное начальство.

Козьма Прутков

Лишь раболепная посредственность достигает всего.

Бомарше

Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются.

Вильям Блейк

Для успеха по службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умение обращаться с теми, кто вознаграждает за службу,— и он часто удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого.

Граф Толстой

И з у ч а й т е ч е л о в е к а:

1. Внимательно наблюдайте: его лицо, фигуру, манеры и т. п. Физиognомика и психология — ваше постоянное оружие.

2. Узнайте о нем все: семья, прошлое, привычки, болезни, вкусы, увлечения, симпатии и антипатии, друзья и враги, дети и женщины, слабости и пороки, этапы карьеры, достаток, претензии, перспективы и т. д.

3. Страйтесь влезть в его шкуру, на все смотреть с его точки зрения, добивайтесь некоего слияния своей внутренней личности с его.

4. Думайте о нем постоянно, сопоставляйте, анализируйте — лицо, возраст, фигуру, почерк, гороскоп, линии руки, обстоятельства рождения и женитьбы, привычку одеваться и т. п.

5. Сведите знакомство, лично или через чье-то посредство (слуг, родственников, коллег), с кем-либо из его родных, близких, друзей.

6. Узнайте там, где он служил ранее, каков он был в иной роли и иных обстоятельствах.

7. Пользуйтесь каждой возможностью — и создавайте эти возможности сами, но незаметно; узнайте его мнение обо всем, и прежде всего — о нем самом: косвенно это явствует из всех его высказываний.

8. Узнав о каком-то событии, старайтесь предугадать, вычислить его реакцию на это событие. Ошибки анализируйте, уточняя себе образ и характер этого человека.

9. Главное, что надо знать о человеке:

а) чего он больше всего хочет, не хочет, любит, боится, уважает, презирает;

б) каков он на самом деле, каким он сам себя представляет, каким его представляют другие, какими он представляет других;

в) как, познав его, вызвать его любовь, ненависть, уважение, презрение, гнев, умиротворение, благодарность, страх, жалость.

10. И постоянно развивайте в себе интуицию, наблюдательность, умение сопоставлять и делать заключения, предвидя ситуацию.

Пристойный чин.

Начальники:

1. Сделавший карьеру с самого низа, трудно и медленно, в тяжелых условиях, сам всего добившись,— умен, жесток, безжалостен, требователен, все может понять — но не снизойти. Не склонен прощать промахи. Грубую лесть не приемлет — это средство ему знакомо, с ним дает обратный эффект. Услуги и подарки принимает охотно, но благодарности не испытывает. Наиболее трудный тип: ведь то, что ты сейчас делаешь, ему знакомо по собственному опыту.

Средства: образцовое исполнение своих обязанностей. Работа сверх меры, но без рекламы. Точное исполнение приказов, демонстративная безжалостность к себе и подчиненным. Изображаемый тип: ревностный служака.

2. Подлипала: сделавший карьеру снизу, прислуживая тянувшему его за собой хозяину. Наилучший тип — максимально предсказуем в действиях и реакциях: чванлив, заносчив, самолюбив, самодоволен, необразован, глуп, труслив, избегает инициативы и ответственности. Хорошо реагирует на неумеренную лесть. Подарки принимает как должное. Раболепие обожает. Опасность: хитер, осторожен, нерешителен, переменчив. Ревнует к вниманию своего хозяина. Слабость: робеет перед твоей связью с высокой

персоной — дошедший до него слух об этом способен творить чудеса.

3. Выскочка: быстро взошел снизу благодаря случаю, обстоятельствам, удаче. Неплохой тип: не успел слишком озлобиться в борьбе, самоуверенность (от успехов) перемежается с неуверенностью (от недостатка знаний, опыта, привычки к своему положению). Благодарен за почтительную помощь и поддержку снизу: особенно ценит «даримые» идеи, сделанную подчиненным за него работу и т. п. Очень признателен за уверение в его полной компетентности, хвалы необычайным способностям, позволившим сделать быструю карьеру. Может возражать, но душой жаждет убеждений в этом. Угодливости, дорогих подарков конфузится, не любит. Предпочитает подчиненных компетентных, с чувством собственного достоинства — при условии, что они умеют поставить себя ниже его. Способен на жалость, порыв, благородство, сочувствие. Может войти в положение.

4. Высокопоставленный болван: солдафон, тупым усердием выслужившийся в генералы. Средство: беспрекословное подчинение в подражательном стиле. Будучи честным идиотом, он может сам рекомендовать вас выше. Если нет — перепрыгивать или огибать его, завязывая отношения с начальством через его голову.

5. Высокопоставленный бездельник: по происхождению баловень судьбы. Всю его работу можно взять на себя — это он особенно ценит. Легко прибирается к рукам, ему можно внушить что угодно. Слабоволен, ибо более всего ценит покой и веселье. Изменчив, легкомыслен, непредусмотрителен. Подчиненных думает что любит, хотя их не знает. Способен на благодарные порывы — но и на полные низости. Ощущает себя настолько выше сортом подчиненных, что умиляется своей доброте, говоря с ними как с равным.

6. Сынок с хваткой: отпрыск могущественного лица, карьера которого намерена взойти к самым звездам, молодой богач с огромной перспективой. О! — за его спиной можно подняться ввысь, в него надо вцепляться, как блоха в собачий хвост, этот начальник может быть судьбой на всю жизнь. По неопытности и безнаказанности склонен к ошибкам. Ошибки эти брать на себя и других — прежде, чем он почувствует неволю: не дать ему оконфузиться, на его ухабы подстилать собственную спину! Учить его — в форме вопросов, на которые сам предлагаешь варианты ответов, сомневаясь в своих действиях,— и таким образом

освещать ему весь круг проблем. Заранее готовить запасные варианты по его ошибочным приказам — чтобы в первый же миг представить их как естественно входящие в ваши обязанности. Внушать ему, что служить под ним крайне легко и приятно: он дает инициативу, позволяет расти, побуждает к наилучшим решениям — а это-то и есть идеальный начальник: и посоветуется, и похвалит, и зажжет своей молодой энергией.

7. Пустое место: малоспособен, бесхарактерен, тих, добр, мягок, сделал карьеру волею начальников, случайностей, отсутствием под рукой более подходящих кандидатов — за свое согласие со всеми, порядочность, отсутствие злых слухов, проступков и врагов, за хороший послужной список. Самой судьбой предназначен, чтобы выдоить его до конца и при возможности съесть. Основная черта — неспособность к организованному сопротивлению: податлив, робок. Обязывать его благодарностью, апеллировать к справедливости, демонстрировать свои невознагражденные добродетели. Прибирается к рукам полностью. Особенно ценен тем, что сам же будет хлопотать за тебя в верхах. Опасность: слабый характер, постоянно понуждаемый, может дать взрыв, подсознательно стремясь к освобождению. Не терять с ним бдительности, не пережимать, чтобы его деликатность всегда перевешивала внутреннее раздражение: пусть злится, но делает то, что тебе надо. Будь почтителен и осторожен — он злопамятен на обиду. Но даже не любя тебя, поступает так, как диктует его представление о порядочном человеке, каковым он себя считает прежде всего. Поэтому с ним хорош полный диапазон: от слезных мольб до жестокого требования своих прав. Его возможный отказ заранее можно парировать заявлением, что он откажет из личных чувств: этого он стесняется и поступает согласно вашей просьбе и даже в ущерб собственным интересам.

8. Отыгравшийся: уже готовится к отставке и пенсии. Слегка зол, что не достиг большего, печален, что конец. а) Подумывает о преемнике, о своей доброй памяти.— Умиленно перенимать его опыт, на словах от преемничества отказываться, плакать о его доброте, незаменимости, мудрости. б) Махнул на все рукой — «после нас хоть потоп».— Исподволь брать все вожжи самому, выполнять работу свою, его — пусть себе бездельничает всласть. в) Самодурствует под конец.— Незаметно смягчать его приказы, облегчая участь прочих подчиненных, а ему хвалить его энергию: пение хвалы и полный саботаж с прицелом на то,

чтобы удовлетворить своей деятельностью вышестоящее начальство.

9. **Застрявший:** давно рассчитывает на повышение. а) Всеми силами толкать его наверх, помогать ему, организовать кампанию по его выдвижению.— Либо займешь его место, либо он потащит тебя за собой. б) **Желание его выдвижения** сделать видимым предлогом для своей активной деятельности — и использовать как отвлекающий момент, чтоб обойти по службе этот вросший пень.

10. **Пониженный:** видел лучшие виды, обижен, желчен, страдает, надеется вернуться обратно в высокие сферы. В тонкости дела не вникает, привык к иному размаху. Убеждать его в достоверных известиях о его скором повышении, петь дифирамбы, клясть несправедливость. Аналогично номеру девятому.

Изрядный чин.

И с к у с с т в о л е с т и:

1. Лесть должна казаться человеку правдой. Необходим индивидуальный подход: знать, каким человек считает себя сам — и каким он хочет себя считать.

2. Умелая лесть — сильное и безотказное средство.

3. Любую лесть проглотят тогда, когда уверены в вашем уме, доброжелательности, компетентности, бескорыстии.

4. Дураку годится и самая грубая лесть, граничащая с издевкой.

5. Умный и опытный, заметив лесть, настороживается и не доверяет вам более; лесть — это агрессия на коленях; умному надо льстить тонко и точно.

6. Лесть должна быть уместной — гармонировать с ситуацией и настроением.

7. Составляйте себе репутацию человека сдержанного, честного, нельстивого — тогда ваша лесть будет действовать сильнее и вернее.

8. Избегайте прямой лести — открытого восхваления и восхищения, если не убеждены полностью, что она уместна.

9. «Случайная лесть» — льстить за глаза так, чтоб человек «случайно» это подслушал.

10. «Косвенная лесть» — как бы передавать человеку мнение других, особенно тех, к кому он прислушался бы.

11. «Переданная лесть» — льстить за глаза близким ему людям, с расчетом, что они ему передадут.

12. Выражать желание когда-нибудь хоть приблизиться к его уровню достоинств.

13. Признаваться в доброй зависти: прямо — своей, косвенно — чьей-то зависти к его достоинствам и успехам.

14. Объявлять его примером для подражания: прямо — своим, косвенно — чьим-то.

15. Удивляться его мудрости, способностям, талантам и т. п.— без лестных слов.

И с к у с с т в о к л е в е т ы:

1. Осуждать «нелепый слух», излагая его содержание.

2. «Защищать» человека от слуха, излагая таковой.

3. Рассказывать «по великому секрету» тому, кто разнесет,— выдумывая надежный и непроверяемый источник и откращиваясь самому.

4. Наводящими вопросами побуждать чьего-то врага допускать предположения и затем ссыльаться на сего врага, делая его источником.

5. Приписывать человеку глубокую скрытность, притворство, тайные умыслы: подозрение, не имея явной пищи, само начнет толковать нейтральные черты и поступки в пользу обвинения.

6. Вытаскивать такие истории из прошлого человека, где уже нельзя определить и доказать истину, и толковать факты в неблаговидном свете.

7. Для реальных поступков человека находить низкие побуждения.

8. Приписывать ему зависть к собеседнику: этому верят особенно охотно.

9. Провоцировать его вопросами на неосторожные ответы и пересказывать их.

10. Заранее предсказать какой-то очевидный его поступок, представив его как следствие скверных, скрытых умыслов: сбывшись, такой поступок очень убеждает всех в правоте ваших суждений о нем.

11. Анонимные письма и доносы.

12. Подкупленные лжесвидетели, жалующиеся начальству, семье, друзьям и т. п.

И с к у с с т в о и н т р и г и:

1. Интрига — это такая игра в шахматы, где сражющиеся на доске фигуры воображают себя игроками, а двигающий их игрок остается невидим и неизвестен, пожиная все плоды победы.

2. Искусство интриги состоит в том, чтобы определить нужных людей, знать, как они поступят при соответствующих условиях и обстоятельствах, и эти поступки соединить как звенья в цепь, идущую от вас к вашей цели.

3. Преимущество интриги состоит в том, что люди, несравненно более могущественные, чем вы сами, добиваются ваших интересов со всем напором, полагая, что действуют в интересах собственных.

4. Тонкость интриги состоит в том, что каждый участник действия лично заинтересован в своих поступках, руководствуясь собственными желаниями и страстями и двигает механизм интриги в нужном вам направлении — даже вопреки своей выгоде.

5. Безопасность интриги заключается в том, что вы сами делаете лишь первые один или несколько ходов, невинных, незаметных и безопасных, а ко всему дальнейшему не только не имеете отношения, но даже напротив — можете выбрать такую линию поведения, чтобы в глазах окружающих выглядеть безупречно и осуждать тех, кто тратит силы в неблаговидных действиях, ведущихся к нужной вам конечной цели.

6. Надежность интриги заключается в том, что главную цепь действий можно подкрепить целым рядом запасных вариантов, а уязвимые узлы усилить дополнительно вовлекаемыми лицами.

7. Эффект интриги заключается в том, что в результате разных событий, к которым вы не имеете никакого отношения, вы получаете то, что вам нужно, сохраняя репутацию человека, который ничего не добивается и наверх не лезет.

8. Недоказуемость интриги в том, что лично вы не только ни в чем не можете быть признаны виновны, но и действительно не совершали абсолютно ничего неблаговидного, да и вовсе ничего не совершали, ваши слова и поступки сами по себе не имеют ни малейшего значения, а за действия людей, которые вам не подчинены, от вас не зависят, которых вы ни к чему не подстрекали — напротив, возможно, предостерегали от того, что они стали делать далее, — вы за все это никак не можете отвечать.

9. Неотвратимость интриги в том, что вы в покое обдумываете все звенья и варианты, подготавливаете все действия незаметно для всех — а затем разом запускаете механизм, который люди уже не только не успевают остановить, но даже не могут увидеть целиком в совокуп-

ности всех частей, а видят лишь отдельные явления, внешне даже не связанные между собой.

10. Гарантия интриги в том, что у каждого человека есть слабые стороны, желания и страсти, грехи и мечты, каждый способен на какие-то предсказуемые шаги, каждого можно какими-то известиями и предупреждениями заставить сделать шаг, невинный и нетрудный для него сам по себе, но вызывающий чей-то следующий шаг, к которому только ты оказываешься готов.

Высокий чин.

Ж р и и х в с е х:

1. Избавляться от всех конкурентов: явных, скрытых и потенциальных.

2. Ставить невыполнимые задачи.

3. Перегружать работой. При жалобах — не давать работы и наказывать за безделье.

4. Поощрять их ошибочные действия до полного конфуза и провала.

5. Рекомендовать их в чужие ведомства и даже искать им там места.

6. Постоянно задевать их самолюбие, изводя им нервы.

7. Постоянно дергать их по пустякам, не давая работать.

8. Стравливать их друг с другом.

9. Подавать им надежды, не выполняя обещанного.

10. При увольнении провожать с почетом, с хорошими рекомендациями — дабы все знали, что лучше уйти, чем остаться.

11. Если его работа ладится — передать ее другому.

12. Успехи замалчивать, недостатки раздувать.

13. Постоянно приводить им в пример работников явно худших.

14. Найти темные пятна в их прошлом и настоящем.

15. Известить, что его место обещано другому.

16. Провоцировать на грубость и проступки.

17. Оказать «доверие», которое невозможно оправдать и которое даст повод для выговора.

18. Возложить ответственность за явно невыполнимое дело.

19. Склонить к служебному злоупотреблению — и раскрыть с позором.

20. Захваливать настолько, чтоб он явно не оправдывал похвал.

21. Ставить его под начальство его врага или завистника.
22. Дать ему в подчинение бездельника — и упрекать за неумениеправляться с подчиненными.

Не упускай свое го:

1. Выгодная женитьба на деньгах, связях, положении.
2. Не раскрывать душу никому: никому нельзя доверять.
3. Не быть мстительным и злопамятным: это отвлекает силы от пути наверх. Напротив, великодушие располагает к вам.
4. Богатеть любыми способами. Скрыть богатство легче, чем бедность. Деньги позволяют управлять людьми, покупая им нужные вещи, удовольствия, услуги, посты. Любое предприятие нуждается в деньгах; отсутствие их подрывает самый гениальный план, заставляет упустить порой единственный шанс.
5. Польза от обладания суммой должна покрывать вред вашей репутации, нанесенный способом, каким эта сумма добыта: миллион покроет практически любые моральные издержки и откроет перед вами более дверей наверх, чем закрыло его приобретение.
6. Не будьте скаредны: умейте тратить много, чтоб получить больше.
7. Кажитесь щедры, но будьте расчетливы: скопость сохранит богатство, позволяющее щедрость, мотовство развеет его и уничтожит самую возможность щедрости.
8. Умейте внушать страх: люди ценят добре расположение того, за кем знают силу и власть смять их, кого боялись бы иметь врагом, но пренебрегают тем, кто вообще добр и не может быть им опасен.
9. Всегда давайте подчиненным чувствовать пропасть между ними и собой. И только когда достигнете самых больших высот, иногда перешагивайте эту пропасть и держитесь на равных: тогда это уже будет восприниматься с восторгом и повышать ваш авторитет.
10. Демонстрируйте справедливость и доброту, публично помогая несчастным, которые абсолютно неопасны, пользуются жалостью окружающих и будут славить вас потом всю жизнь.

В о л к с р е д и в о л к о в .

- Ну... здравствуй, Дмитревский.
- Чему обязан, ваше высокопревосходительство?
- И кандалов с тебя не сняли...
- Да, и ковров не постелили в камере.
- Что ж, и руки не подашь?..
- Немыты, ваше высокопревосходительство. Да и неловко в кандалах, знаете. Завтра поутру почтите ли присутствием? Будут давать небольшой спектакль со мной в главной роли. Прошу! Абонирую вам место в первом ряду у эшафота. Или кресло на помосте прикажете?
- Перестань ерничать, Дмитревский... Ты что, не узнаешь?
- Не имею чести.
- Прошение о помиловании не подашь?
- Нет, не подам.
- Отчего?
- Чтоб совесть вам облегчить. Что, мол, сам виноват.
- Ведь все равно повесите. Разве не так?
- Может, и не так.
- То-то: может... Не будем считать друг друга за дурачков, ваше высокопревосходительство.
- Да оставь ты это «высокопревосходительство»!..
- Дмитревский, ведь это же я к тебе пришел...
- Зачем?
- Не знаю... Сказать тебе многое надо... Не так-то все просто в жизни.
- Вы не ко мне пришли. К своей совести. И все ответы мои знаете сами.
- Тебе не страшно?
- Нет.
- А мне страшно.
- Ничем не могу помочь.
- Можешь.
- Чем же? Утешить, что вы совершенно ни в чем не виновны, утвердив мой смертный приговор?
- У тебя есть, может быть, последнее желание? Я сделаю все: исполню, передам.
- Нет.
- Хорошо... Тогда у меня есть... Ты можешь исполнить мою последнюю к тебе просьбу, Дмитревский? Ради

тех далеких счастливых лет, когда я, щенок, был влюблён в тебя, смотрел тебе в рот?

— Вы, кажется, решили исповедаться завтрашнему ви-
сельнику?

— Не плюй мне в душу... это неблагородно, недостойно
тебя.

— Нет у вас души. И вообще — позвольте мне поспать.
Тыфу, да что за иудины слезы! Утри сопли и ступай в свою
резиденцию, лопух эдакий!

— Друг милый, ведь ничего у меня теперь не останется
в жизни, ничего!.. ведь ненавижу я их всех, ненавижу!.. как
же это так вышло?..

— Да? Так пиши приказ о моем освобождении — и
бежим. А?

— Невозможно.

— Отчего?

— Я всего себя отдал за эту карьеру. От меня уже
ничего не осталось. Понимаешь — ведь человек тех любит,
кто его любит. Вот я каждого, каждого, с кем жизнь своди-
ла, — не просто обольщал — а как-то и любил. Насильно.
Дружил. Улыбался. Старался вss лучшее в нем видеть —
иначе ведь вынести невозможно. И вышло — что каждому
отрезал я ломоть от любви своей. От души своей. Всех их
любил, кого друзьями себе сделал, подлецов, эгоистов, са-
новников, дураков... и себе уже ничего не осталось.

— Видишь, какая у нас многозначительная ситуация,
да? — мертвый вешает живого. Достойно немецких
романтиков.

— Как ты можешь шутить?

— А я — живой. Любовь отдал тем, кого любил. И
жизнь — тому, во что верил.

— А я ведь тебе завидую, Дмитревский.

— Врешь. Себе врешь. Ты завидуешь только тем, кто
сильнее и богаче тебя.

— Когда-то, много лет назад, я мечтал, что стану
богатым, сильным — и при случае помогу тебе, спасу...

— Ценю благие намерения. А что же потом? Что
теперь?

— А потом... Чем выше поднимаешься, тем беспощад-
нее борьба, смертельнее вражда, каждый старается унич-
тожить каждого, кто может ему помешать. Пока однажды
не почувствуешь, что ты готов своими руками убить лю-
бого, лишь бы подняться еще на одну ступеньку: все прочее
не имеет уже для тебя цены. И вот тогда ты готов, созрел
для настоящей карьеры.

— Поздравляю.

— Но я никогда не мог бы подумать, что это может быть так буквально. Ведь я не хотел, клянусь тебе... Я не знаю, как это все сложилось... Клянусь тебе всем святым, что я не хотел, не хотел дойти до этого, чтобы казнить человека, которого боготворил!

— Ладно, облегчу твою душу... Я тоже никогда не хотел быть повешенным. И никогда не хотел быть в каторге. Не хотел быть нищим, не хотел болеть чахоткой. Когда я в первый раз попал в Акатуй, я ночами в изумлении спрашивал себя: как же это вышло?.. Да, я имею идеалы, верю в иное и лучшее будущее, хочу способствовать его приходу — но не апостол я, нет! я тоже хочу любви, счастья, благополучия, хочу иметь семью, детей, хочу работать и не бегать вечно от полиции. Видно, наши желания всегда заводят нас дальше, чем мы сами предполагаем.

— Как странно слышать это от тебя... В тридцать лет я думал точно так же... и тогда я сделал выбор.

— И вот ты здесь.

— И вот мы оба здесь. Но ужас в том, что я прав! Я, подлец, живу и властвую! а ты, святой, принимаешь смерть. Значит, правда жизни на моей стороне?

— Тогда почему ты мне жалуешься на свою жизнь, а не я тебе? Почему мне нечего исправлять в своей жизни, а тебе твоя противна?

— Потому что умереть святым проще, чем жить грешником.

— Красивые слова... Я помню твои юношеские письма. Ты все тогда правильно понимал. Просто духу у тебя не хватило, урвать свой кусок захотелось.

— Разве это такой большой грех?

— Нет. Только не плачь теперь. В конце концов, это меня завтра вешают, а не тебя.

— Откуда у тебя столько духа?

— А я верю в то, что больше, значительнее меня. А все, что дорого тебе,— существует для тебя одного. После меня останется мое дело, а после тебя — только деньги и ордена.

— Обречено твое дело, ничего ты не изменишь в мире, люди таковы, каковы они есть, неужели ты не понимаешь!

— Совсем ты поглупел. Вечно мое дело, бессмертно, непобедимо! Уж если лучшие из людей всегда всем жертвовали и жизнью самой за это дело,— значит, ценность

его выше твоей бренной житейской выгоды, а? Значит, есть счастье высшее, чем грызть ближнего и возвыситься над ним, а? Так-то. Иди, иди. И распорядись дать мне утром чистую рубаху и побрить. Ну, ступай, бедолага.

Глава третья

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

175 см. Жена.

— Милочка, ты прости мне мои откровенности... нервы совсем расшалились... ах, налей еще, налей. Мы же с тобой с детства дружим, ты же знаешь, я всегда рассудительной была... а сейчас не знаю, что и делать... я с ума сойду! с ума сойду, если хоть с тобой не поделюсь...

Ой, ерунда, про любовниц его я давно знаю, и актриску эту подлую содержит... сначала плакала, потом рукой махнула, что ж делать, все они такие; и дети растут, куда я денусь... я понимала всегда прекрасно, что он из выгоды на мне женился, такой видный, красивый... а он кого хочешь обольстить умеет, уговорит, уломает, внушит что угодно — особенно если сама в это верить хочешь...

Не бьет, как ты могла подумать!.. ах, что я опять вру, уже ведь и руку поднимал, и слова говорил такие, такие, что подумать страшно... Я уж и с этим смирилась, мало ли как в семье бывает; и вдруг последнее время совсем все ужасно стало...

Встань, пожалуйста, душечка. Прошу тебя, на минутку. Вот. Не удивляйся... Мы же с тобой всегда одного роста были, правда? О, не смотри на меня так, я нормальна, нормальна, не сумасшедшая я!

Скажи... я ведь не стала больше... ну, выше — не стала, нет?

Вот слушай. Это все так началось: он в присутствие одевался, мундир надевает новый — а рукава длинны. Он загорячился — и Павлуша, камердинеру, в ухо и стукнул. Ведь уже много лет шьется ему все по одной мерке, он совсем не толстеет, не меняется, такой же красивый... изверг...

Мундир тот же час подкоротили. Портного привезли, тот каётся... А он и на меня ногами затопал — при людях

прямо: я же за всем в доме следить должна, он так завел: а что, говорит, тебе еще делать... и слова ужасные... ну, не буду, не буду, все уже.

А назавтра фрак надевает в собрание ехать вечером — и снова та же история... Павлусе лицо в кровь разбил, портной уж на коленях ползал, а мне... на меня... водички подай, да.

Я мышьяку принять хотела... всему предел есть. Никакой радости не осталось, дети чужие растут, злые, в доме страх всегда, копейки на расходы нет... вот — выйди замуж за бедного и благородного, так сама станешь бедной и благородной: ему честь, а тебе горе.

А вечером он ко мне в спальню мириться пришел. Бледный, несчастный, дрожит, лица нет. Господи, когда он добрый бывает — да я всю жизнь, всю кровь ему отдаю, лучше него нет тогда человека на свете! А ведь вначале он всегда был такой...

И вот, ночью... муж ведь, милочка, ты понимаешь, есть много, как бы это сказать... примет разных... Ведь после свадьбы, первое-то время, это такое счастье было, все как сейчас живое помнится.

И вот у меня такое ощущение возникло, словно... словно он поменьше как бы стал.

Как же редко, думаю, он ко мне приходит, что я уже и забывать его как мужа стала.

А назавтра он так злобно на меня посмотрел: что, говорит, вытаращилась, кукла чертова? А я смотрю и плачу, так люблю его...

А после слов этих вспомнила сомнения ночные: он ведь раньше такой большой казался мне, высокий, сильный. А тут как пелена с глаз: и вовсе не такой большой он. Нет, не маленький, но — обычный. Обычный.

Я на него всегда снизу вверх заглядывала, на цыпочки привставала, а тут стою рядом — и ничего такого. Вот что называется ослепление юности, любовь... Среди всех он мне выше всех казался — а теперь вижу: многие и выше есть.

А он и говорит: что-то ты, матушка, вовсе стала костлява и долговяза. Растешь на старости лет, что ли? И это при лакеях! У меня как в голове закружилось — и при докторе только в себя пришла.

Доктор успокоил, прописал нервы лечить: на воды, говорит, необходимо ехать. Да ведь эти доктора, они правды больному никогда не скажут. Он уехал, я все свои платья старые перемерила, которые прислуге не отда-

ла,— и не пойму: то ли длинны оттого, что похудела сильно, а то ли... ведь невозможн...»

А на него как посмотрю... и страх во мне... Он же Николая, лакея комнатного, на полголовы выше был — а ныне подает ему Николай халат — а роста-то они одного! Одного как есть!

Я Николаю допрос учинила, а он смеется: барин наш, отвечает, орел, как раньше, а может, и еще выше, а Павлуша разгильдяй и портной пьяница, они сами повинились. Ну?!

Я до чего дошла: в гардеробной его стала рукава и панталоны длиной сравнивать... не сходятся!! А Павлуша говорит: что вы, барыня, это ведь моды меняются, ныне короче носят, чем допреже, а его превосходительство должен во всем образцом быть и идеалом...

...Я уж без опия и спать не могу. Платья перешивать не успеваю, так худею. Куска проглотить не могу. До чего дошло: сын его целует, а я в ужас: да он скоро с сыном одного роста будет! Лишь потом сообразила: сын-то растет, тянеется сейчас быстро, скоро юноша.

Милочка, может, ты мне француза своего доктора посоветуешь? немцы эти совсем ничего не понимают. Может, это у меня от женских неурядиц все? ведь в желтый дом ухожу или чахотка съест...

И мысль еще страшная гложет: уж не специально ли он все эти сцены подстроил, чтоб мне сумасшествие доказать или вовсе сжить со свету? а сам после на Белопольской женится... Ведь словно одна я ума и зрения лишилась, а прочие-то все нормальны, видят все как есть!

Совсем худо мне, милая... Может, за границу одной поехать, в Швейцарию? или в Баден-Баден...

165 см. Друг.

— А ведь в одних номерах жили; обед в трактире брали на двоих один; да... А теперь допустить до себя не велит, даже в день ангела поздравить.

Я понимаю: государственная персона. Но ведь — на десять шагов не приближает никого! Входит куда — один впереди, все толпой позади на двадцать шагов. А уж ручку пожать удостоить — только сидя: два пальчика протянет из креслица — тот переломится, пожмет с чувством и в поклоне к двери убирается.

Гордость, говоришь. Кхе... Ну, ты уж только никому!..

Он почему так прямо держится, каблучки пол-аршинные, нос вверх? — чтобы выше быть, вот почему. А сам-то вовсе невысок, как будет залой проходить — приглядись внимательней. Невысок; низок даже!

Пусть нормальный, не в том суть. Только — я-то помню же, я ему шинель свою некогда одалживал, на службу полтора года в одну дверь ходили — он высокий был! верно говорю, гвардейского росту, вершков девять, а то и все десять! Ей-богу, я крест приму!

Вот потому и держится всегда один, от всех поодаль, чтобы не заметить этого было в сравнении с прочими. Потому и служащих своих старинных всех поувольнял — да не просто, а так задвинул, что кто в Омске, кто в Томске, кто в Тифлисе, — подалее, долой. Хотя, говорят, наградных дал щедро, чтобы не обижались и молчали, но главное — чтобы не было рядом тех, кто его еще знал другим, высоким.

Потому, брат, и старых друзей к себе не допускает: боится, стыдится, опасается: вдруг конфуз, слухи компрометирующие, бес tactный вопрос. Далеко ли до скандала...

Понятно: когда человек рослый, видный, — он и уважения больше внушает, трепета приятного, для глаз удовольствия. А у него в последние-то годы как карьера вознеслась: ведь в министры метит! да еще, может, не просто в министры, а в самые главные...

Вот оттого и сердит часто стал, ногами топает — нервничает.

То ко двору прёдставляться, то чиновник с особым поручением от государя жалует — самое время разворачиваться! И вдруг — такая беда, что рост все меньше да меньше! А ведь одно дело назначать на большой пост человека видного, осанистого, значительного, а другое — маленького да писклявого...

А он так сумел себя поставить, на таком счету при дворе, что всегда им довольны — умеет угодить да угадать. И какие враги ему ковы строили, какие недоброжелатели были влиятельные и злобные, — всех обошел, смял, обдурил, всех выше поднялся. Узнают они теперь — вой подымут, осмеют, в отставку уйти заставят!

Так что обижаться на него нельзя. Такое несчастье... Лучше уж несправедливым прослыть, высокомерным, страх

и ненависть внушить,— да только чтоб про слабость его не прознали, это конец.

Потому и выезжать перестал, на балы больным скаживается, общение прекратил — никто похвалиться не может, что рядом с ним был, говорил запросто. Занятостью объясняют, здоровьем, праведностью натуры: мол, все в работе, уединение и книги предпочитает, развлечений чужд... Ага! — я-то его помню чиновником мелким: услужлив, общителен, веселье всегда разделит... а порой такие кутежи начальству устраивал, все умел достать, и цыгане, и женщины, и главное — никакой огласки, все шито-крыто!

Так что я не обижаюсь, что увольняют меня из службы. Дело свое исполнял исправно, в дурном не замечался... разве что подольститься не умел. Конечно: я его бедным знал, помогал чем мог, и поэтому теперь я человек для него нежелательный: могу сказать не то, знакомством скомпрометировать, старое напомнить... не должен быть большой человек знаком с таким ничтожеством, как я. Не может он иметь со мной ничего общего, даже в прошлом.

Так что прощай, брат. Уеду к себе в Малороссию, в деревеньку... может, женюсь еще, детишек нарожу. А все же как вспомнишь иногда ночью, не спится, как мы с ним некогда в холодном номере один горшок щей трактирских ели... и слеза прошибает. Хороший был человек.

150 см. Слуга.

— Ты как смеешь, холоп, смерд, такие вещи поганым своим языком молоть, а?! Ну что «вашскородие», «вашскородие»? Молчи, подлец! тут тебе полицейский околоток, а не кабак!

Вы, ребята, выйдите-ка: это дело государственным пахнет, я с ним, ракальей, один на один говорить буду. Да я таких вещей и повторить не смею, не то что записать. Двери плотнее затворите!

Ну, вставай с колен, хватит. Пропойца, босяк, ты как смеешь лгать, что в доме самого его высокопревосходительства служил?

Врешь, сукин кот! я узнавал: ответили, что знать такого не знают!

Ну, так кто тебя надоумил говорить, что его высокопревосходительство... проссти, госсподи, слова мои греш-

ные... что он карлой стал? А?! Что портной в доме живет и каждый день ему платье другое шьет? Что каждый день измеряется — и все меньше и меньше? Да счас я тебе дам промеж глаз — ты у меня разом меньше мыши станешь!

Ты подумай дубовой своей башкой: а как он с людьми-то говорит? Ах, через двери. И еще из постели лежа, далее порога не пускает. Ну ты артист.

И ноги, значит, со стула до полу не достают? И обедать изволит в пустой столовой за закрытыми дверьми? И с женой... не твоего ума дело, негодяй!

Ты хоть понимаешь, что ты с ума спятил? А в присутствие... карету к подъезду подают, и никто не видит, как он садится? Складно! А на службе из нее выходит — тоже всем приказано подалее быть и не смотреть? А посетители что, слепые? Ах, издали, стол специальный ему сделали, маленький, чтоб не понять было.

И потом, говоришь, никто его не видит. А зачем тебе, козявке, его видеть? с тебя знать достаточно, что он есть, обязанности свои, самим государем определенные, исполняет и бдит о тебе денно и нощно. Он не фигляр, чтоб твари всякой на глаза выставляться.

Ты над кем насмешки допускаешь, злодей? Значит, он уже и до дверных ручек еле достает, и на цыпочки поднимается, чтобы на стол заглянуть, и под стул прячется, если ненароком зайдет кто... и ест мало, как ребенок,— а на что ему много есть?

Ты что гогочешь! Ах-ха-ха-ха! Тыфу на тебя... ха-ха-ха! Значит, бегает по резиденции ~~его~~ высокопревосходительство в аршин ростом, носом на столы натыкается, на детской мебели сидит...

Пятнадцать лет у него служил? И слуг он всех расчитал? Ну, я тебя сейчас иначе рассчитаю, вложу розгами ума через заднее-то место. И — по этапу, по этапу тебя вышлю, сочинителя...

70 см. Спаситель.

— Не любо — не слушай, а врать не мешай. Да и не вру я, братцы, вот как на духу.

Я с детства вырезывать из дерева любил, пошел за папашей по столярной части, и мастерскую он мне оставил, царство небесное покойнику... ну, да не о том речь. А только начал для забавы фигурки разные резать, на Сен-

ном рынке сбывала их лотошница — а кончил тем, что фигуры делал в модные магазины на Невский. И были мои фигуры лучше парижских или немецких. Лицо из цветного воска, парик натуральный — как живые. Дело собственное имел и доход, двух мастеров держал, пять учеников.

И вот заходят двое — господа. Вежливые, ласковые. А у меня вывеска была, золотом. И говорят: а можешь такую-то куклу изладить, чтоб за шаг от живой не отличить? А я — гоголем: хоть турецкого султана, хоть мать его. Говорят: заказ очень важный, надо, чтоб никто не знал ничего. Ни ученики, ни жена даже. Плата — тысяча сребром. Засомневался я, да ведь это три с половиной тысячи ассигнациями.

Обговорили размеры все, издал я фигуру — на шарнирах, любую позу принимает. Огромная у меня тогда способность была... Потом они мне рисунков нанесли — какое лицо должно быть. С лицом я долго мучился, из глины раз десять переделывал, все их не устраивало. Четыре месяца все работал без промежука. Уж так придирились — к каждому волоску. Бородавку на щеке — и то сколько раз переделывал.

Но — угодил. А зачем — не говорят. Ладно — ваши деньги, мой молчок. Похвалили они, сказали — завтра приедут забирать, и деньги завтра... А только ночью стук в дверь: по мою душу... Ты такой-то? — Я. — Пойшли. — В карету, с боков зажали — и ночью через весь город. А карета без окон. Вот так: отлеталась пташечка...

Привозят: крепость. Выходи. Я было в ноги — а меня по рылу. Наковали железу — да в камеру. В каком же таком, думаю, деле я оказался?

Трижды в день еду мне в окошечко ставят да по утрам парашу забирают. Тишина, и камень кругом. За окном птички поют, а не видно: железным листом окно забрано.

Ну, да это все известное дело, что говорить. А когда царь преставился и новый царь стал (про то я после узнал), перевезли меня в тюрьму да и по этапу в каторгу: бессрочный особого разряда, родства не помнящий. А я и рад не помнить: молчу, чтобы хуже не было; сообразил, что молчать уж лучше...

А в каторге уже, в Краснокаменском остроге, был у нас один из благородных. При лазарете, доктор бывший. Я занемог раз, попал в лазарет, а потом кормился долго там,

помогал ему. Он без креста был, но человек в остальном неплохой, понимающий. И оказалось, братцы, что страдаем мы с ним по одному делу. Во, а?

Он доктором был при одном высоком генерале. Генерал в большой силе был, лично к царю приближен. И напала на него болезнь: стал расти обратно — уменьшаться. Доктор его и так и сяк: уменьшается!

Росту он был огромного, пока до нормального уменьшался — все ничего. Может, кто и подметил — да молчал. Чтоб большой генерал тебя из жизни выкинул, — ему много росту не надо. Со страху да выгоды и карлика великаном именуют.

Но дело совсем плохо стало: уменьшается генерал да уменьшается. Уж под столом проходит: аршин росточку. Это уже скандал невиданный и оскорбление генеральского чина. Чего делать?

Генерал службу бросать не хочет: жалко ему. Его сам царь знает и ценит. И хочет новые высокие должности дать. А царю перечить нельзя. Как про такое доложишь? огорчится он за любимца, и навечно ты за такую новость в немилость впадешь.

А главное — генерал свою беду от всех скрывает. Работу всю за него подчиненные делают. Он им за то — награды. Повысится — и их за собой повысит. Им тоже невыгодно его терять: со старым-то хозяином спелись, а нового еще как найдешь.

А прознают враги генерала про такое его уменьшение — сразу его без масла сожрут.

И умы нельзя смущать такими чудесами и безобразиями: уважения не станет к генералам и к власти, если они могут в аршин ростом быть.

Но иногда надо же людям показаться: хоть в карете по городу, хоть с балкона. Не то слухи пойдут — и рога тебе придумают, и что с ложки кормят, и из ума выжил, и вообще помер, мол, да это скрывают.

Понял, куда я гну? Вот для чего куклу я делал. Одели ее в генеральское — и показывали иногда, чтоб сомнений не возникало. Не ответит — что ж, думает. Не встанет — устал.

Потом, говорят, механизм к ней сладили, что и садится и встает сама, руку поднять может. Движения неловкие? а ревматизм, суставы болят, в молодости в военных походах застудил.

И все отлично. Он себе управляет по-прежнему, награды получает, ослушников наказывает, в чинах растет.

А что ростом с кошку — то никому не ведомо, фигура за столом — а он сидит под столом и приказы пишет. Пустит посетителя — развернет фигуру в кресле спиной к нему, бумагу ей в руки вложит — мол, занят, читает, а сам говорит из-под стола. Посетитель стоит у дверей, трясеется: горд генерал, сердит, раз даже не повернется.

Утром фигуру — на службу в карете, вечером — домой. Сопровождает ее огромный адъютант, а сам генерал под его шинелью-то и прячется, за пазухой тот его проносит на место. Адъютанту зачем выдавать? ему хорошо, а чуть брякни — разжалуют приказом в солдаты да на войну. Тайна.

Вот для тайны меня-то в бессрочную и укатали. И доктора, что лечить его пробовал,— тоже, с которым мы встретились. А каторжному кто поверит. Ты вот веришь? Ну и дурак. Дай ножик, я тебе сейчас такую куклу вырежу, что ты не видал никогда...

15 см. Любовница.

— А говорят, ты с ним была когда-то,— правда аль брешут? А правда, что ты в хоре тогда пела и плясала? и квартира своя была на Подъяческой? А потом тебя отовсюду... и к нам сюда... да ты не обижайся. А он тогда нормальный был?

А девки говорили, он с огурец ростом, вершка четыре: такого наплели — и смехота и срамота... мы все утро смеялись.

А он тебе денег много давал? Конечно: граф... Эх, мне бы такого, я б сейчас в собственной карете ездила, а не здесь по десяти гостей за вечер принимала.

Правда — любила?.. Первый... вот оно как. Не плачь — ему-то, небось, счас хуже, чем нам.

Говорили — на службу его телохранитель в кармане носит. А в кабинете посадит осторожненько на стол, а там столик, стульчик — кукольные. Бумажка нарезана с по-чтовую марку, перышки воробышные точены — и он приказы пишет. А чиновники их в увеличительное стекло читают и исполняют. А буквочки-то крохотные, не разобрать, да и головка у него как у голубка, разве такой головкой сообразишь что? Вот и пишет караульки, а чиновники делают что хотят, а ему врут все, что исполняют. А он как проверит? ему и самому все равно, абы жить, как живет, в своей должности.

Как представляю себе жизнь эту... бедненький! Дети в гимназию уходят — пальчиком его тронут за плечико — мол, до свидания. Жена его, небось, в тарелке купает по субботам, кёнчиком пальца намыленным... ха-ха-ха! Маникюрными ножничками подстригает — боится головенку отстричь. Слушай, а как они спят-то? ха-ха-ха! Ой, па-а-думайте, цаца какая, оскорбили слух ейный.

А как он у детей уроки проверяет? Бегает по тетрадке и буквы по одной читает? Да, тут деткам не скажешь — берите пример с папочки... уж лучше сумма тюрьма.

А в кабинете его, говорят, огромное увеличительное стекло, и в него его рассматривают — и он размером для посетителя как настоящий. А шьет на него одна модистка — как на куколку. Ордена у него — дак ему такой орден и на спиночку не взвалить, крошечке. Кушает ложечкой для соли из кофейных блюдечек, они как миска огромная ему. Про другое уж не говорю.

А верно говорят, что он до баб охоч был? А что ж теперь? — такая неприличность, тьфу! умора. Девки за кофеем так хотели про это, такого напредставляли безобразия, как он кого к себе на ночь требует да что делает... бегает и бесится гномик... мерзость какая.

Я б на месте графини его в банку посадила да смотрела, и все. А все же — богатство, честь, есть-пить сладко, жить в палатах. А ты б согласилась быть с огурец, а жить в чести и богатстве? Я — да.

А вдруг птица склонет? Или кошка съест? Или в чашку с водой упадет — да и утонет?

Это ж любой враг — щелк по голове, и нет тебя! И, говорят, он многих подозревает: чуть заподозрил — сразу в Сибирь! Никто при нем долго не держится. Я б на их месте его выбросила на помойку, и дело с концом, да у них порода такая: подслужиться надо, хоть ты с перст ростом, а раз начальник — служат тебе.

Представляешь: стоит перед ним здоровенный гренадер, а он на столе своем ножками топает, потом двумя ручками за волосок в усах гренадерских ухватится — и ну вырывать! Да я б в него раз плонула — и снесло б его в окно!

Да... а если настоящий, большой усы вырывать станет, — это еще хуже, больно, вырвет все... уж лучше этот, игрушечный... да уж больно обидно от него, козявки, терпеть!

Слышь — а говорят еще, что он не один такой!.. Это у них, у графьев и министров, есть такая болезнь специальная, открыли ее. В булочной сказывали утром, что многие из них такие, потому и не показываются никому. И поэтому и злобствуют против народа и своих же, что боятся, как бы не случилось что с ними. А чем держаться-то им? Только страхом! Пока боятся его — и рады, что он не показывается, и трогать его никто думать не смеет. А тронешь — и нету его, болезногого.

Не, она врать не станет, у ее нитка жемчужная им подарена, и к завтраку на извозчике приехала, прямо от него, глаза так и вертятся от удивления. Хотела я еще, говорит, ему ротик зажать — да в карман и сюда привезти — вот бы потеха была! да боязно.

Чего — бабушкины сказки? Саму ее почал, до желтого билета довел — это не сказки? А сказали бы тебе в хоре твоем, когда и квартира, и карета, и граф в полюбовниках, что девкой в трехрублевом заведении будешь, — что, поверила бы? Все в жизни бывает, люди зря говорить не станут.

0,0. Память

— Половой, еще пару чаю! А кенарь-то распелся, а, шельмец!..

Дак вот, робяты, что я вам скажу: на самом-то деле все это сказки. Почему? Да потому, что на самом-то деле его и не было никогда.

Ты обожди мне кукиш совать, а то сам выкусишь. Ну чего — памятник? Памятник можно и Бове-королевичу поставить, а кто того Бову самого видел? То-то.

Я твои байки уже слыхал. Что делается он меньше да меньше, что носят его в мыльнице, что кричит он в специальный рупор бумажный, а человек ухо приставит и еле слышит, что разглядывают его в подзорное стекло, стал он с наперсток, потом с муравья, а потом такая коринка, что и не разглядеть.

И значит, по-твоему, что чиновники сами пишут за него приказы, офицеры сами отдают команды, все все сами делают, а кланяются пустому креслу и ему и служат. А если так, то они и раньше, значит, могли без него обойтись, верно? Вот и обходились.

Нет такого закона в природе, чтоб человек уменьшался! А вот чтоб его вовсе не было — такой закон есть. А еще

есть такой закон, что каждый норовит лучший кусок ухватить... а ну, положь мой расстегай, ишь разинул пасть-то!

Дак вот: эти, которые чиновники и офицера-генералы, каждый сам хочет на то кресло сесть, а других не пустить. И вот никто из них одолеть не может: другому помешать еще есть силы, а самому занять — уже нет. И тогда они договариваются: пусть считается, что кто-то его занял, придуманный, несуществующий — ни вашим, ни нашим, никому не обидно. А дело, мол, будем делать, как и раньше делали. Отсюда и сказки про исчезнувшего начальника, которого на самом деле никогда не было, а только кресло пустое. Понял? Плати за сахар, раз понял, без сахара пущай исчезнувший пьет.

Дмитрий Биленкин

АДСКИЙ МОДЕРН

Степан Порфириевич Демин — мужчина лет пятидесяти с тусклым взглядом и мышиной сединой в волосах — был изрядной сволочью. Неудивительно, что в один прекрасный день к нему явился дьявол.

Адский чиновник был в отличном немнущемся костюме из синтетики, белой нейлоновой рубашке с серебристым галстуком-плетенкой. В когтистых лапах он держал элегантный портфель «атташе», а в клыках у него дымилась заграничная сигарета «Кэмел».

— Вами совершено ровно тридцать три подлости, — любезно сообщил он Демину. — Ввиду этого мы уполномочены забрать вашу душу.

— Позвольте! — возмутился Демин. — Насколько мне известно, лимит подлости...

— Совершенно верно. Но не далее как месяц назад адское управление срезало лимит ровно вдвое.

— Но это же беззаконие! Произвол!

— И снова вы совершенно правы: беззаконие. Во многих частях света беззаконие нынче в моде. Фашистские перевороты, попрание конституции, всякие там хунты... Да что говорить! Ад старается идти в ногу с прогрессом вообще и со злодейством в частности.

— Могли бы предупредить...

— Ну что вы! Тогда это уже не было бы чистым произволом. Понимаете?

Дьявол ласково улыбнулся и сел, поигрывая хвостом. Демин удрученно кивнул, но внезапно его осенила какая-то мысль.

— Ваш документик, пожалуйста.

Дьявол небрежно швырнул на стол свое удостоверение личности.

Демин надел очки, пощупал корочки, сверил дьявольское рыло с изображением на фотографии, колупнул ногтем адскую печать и со вздохом вернул удостоверение.

— Теперь я хотел бы ознакомиться с правилами изъятия душ, — сказал он, тяжело глядя сквозь очки.

— Не беспокойтесь, они несложны. Во-первых...

— Не надо. У вас должна быть инструкция.

Дьявол кисло сморщился.

— Проклятая бюрократия! — пробормотал он. — Ведь наукой доказано, что...

— Наука наукой, а бумага бумагой, — назидательно проговорил Демин. — Почему я должен верить вам на слово? Не в моих это правилах. Надеюсь, и не в адских тоже.

Дьявол смиренно наклонил голову и извлек из портфеля увесистый том, на переплете которого пылало огненное слово: «Инструкция».

Степан Порfirьевич углубился в ее изучение. Посапывая от удовольствия, он время от времени вопросительно вскидывал брови, благоговейно шевелил губами и тщательнейшим образом вникал в текст. Его обычно тусклые глаза сверкали, будто спрыснутые живой водой.

Скучающему дьяволу все это надоело, и он, бесцеремонно развалившись в кресле, включил телевизор, где транслировался хоккей с шайбой. Хоккей его так увлек, что он закурил две сигареты «Кэмел» сразу и увеличил звук до предела.

— Вы мне мешаете, — скрипуче заметил Демин.

— И великолепно, — не поворачивая головы, отозвался дьявол. — Трудности создаются затем, чтобы их преодолевать. Вы согласны?

Демин покосился на азартно подрагивающий хвост дьявола и ничего не возразил. Он сам был мастер создавать трудности. Одарив дьявола испепеляющим взглядом, он снова погрузился в чтение.

— Да-а, — сказал он наконец, — толково составлено. А я-то думал, что договор надо писать кровью.

— Устаревшее, крайне негигиеничное правило! — фыркнул дьявол. — Вот вам бланк, заполняйте, и дело с концом.

Он даже не потрудился оторваться от телевизора — там истекали последние минуты матча, а исход игры был все еще сомнителен. Нужный бланк сам выпорхнул из портфеля и лег перед Деминым. Тот осторожно взял его кончиками пальцев, придинул чернильницу и неразборчивым канцелярским почерком заполнил графы. Едва он поставил число и подпись, как из портфеля выскользнула большая круглая печать и с грохотом прихлопнула документ.

Запахло чем-то адским.

— Мне как, уже собираться? — осведомился Демин.

— Помолчите! — рявкнул дьявол, бурно аплодируя решающей шайбе.

Выключив телевизор, он с посветлевшим рылом обернулся к своей жертве.

— Ну что, заполнили? Великолепно. Так, так, все по форме... Люблю иметь дело с образованными грешниками.— Острием когтя он размашисто поставил визу.— Сейчас мигом слетаю в ад, зарегистрирую договор и... Да вы не расстраивайтесь, старина! Все мы потерянное поколение, как сказал Хемингуэй. Всем вам жариться на сковородке... простите, в инфракрасной духовке. Се ля ви!

Он помахал договором, захлопнул портфель и со словами: «Не беспокойтесь, муки у нас организованы по последнему слову психоанализа!» — испарился.

Минуту спустя он возник снова.

— Вот что, старина, — сказал он небрежно.— Договорчик придется переписать.

— Это еще почему? — встрепенулся Демин.

— Вы заполнили бланк чернилами. Нельзя чернилами, да к тому же еще фиолетовыми. Только шариковой ручкой, а еще лучше — фломастером. Наш ад, повторяю, неукоснительно следует прогрессу вообще и прогрессу канцелярской техники в частности. Перепишите.

— Не буду, — твердо сказал Демин.

— То есть как это не будете?

— А вот так. Не Хемингуэем надо было увлекаться или там еще другим каким модерном, а следить за правильным ходом делопроизводства.

— Но, но, — неуверенно проговорил дьявол.— Лимит вашей подлости исчерпан, и потому...

— И потому, молодой человек, договор, однажды зализированный уполномоченным преисподней, в случае установления впоследствии несоответствия его с утвержденным образцом, чему причиной было коварство душеподатчика, подлежит пересоставлению лишь с согласия последнего. Если же такого согласия не будет, то душеподатчик вступает с адом в новые взаимоотношения, регламентированные параграфом «Вельзевул-117», из которого следует, что данный душеподатчик проходит уже не по разряду «сволочей», а по разряду «гнусных гадин», которому соответствует удвоенный лимит подлогнусностей. Такова адская инструкция, с которой вам не мешало бы ознакомиться получше.

Рога и копыта дьявола побледнели.

— Но это же формалистика... — прошептал он.

— За несоблюдение которой вы получите выговор. Так что сгиньте с моих глаз немедленно. Инструкцией заклинаю... Раз...

— Послушайте! — завопил дьявол, скверно воняя се-
рой. — Ваша подлость взяла, но на будущее... Откуда, откуда вы взяли чернила?! Их же теперь не съешь даже за бессмертие души...

— А я, молодой человек, некоторым обра-
зом — хе-хе! — консерватор. Так-то оно, знаете ли, надежней.

СТАРЕНЬКИЙ ИВАНОВ

Разумеется, он не всегда был стареньким. Это он только в последние годы стал стареньким. Его койка стоит в убежище рядом с моей, и он мне показывал свои детские фотографии. Иван Иванович, серьезный, худенький, одетый почему-то в девичье платьице, сидит на коленях у массивной женщины в большой шляпе и с выходящим из живота обширным бюстом.

— Похож? — спросил Иван Иванович.

— Похож, — сказал я.

— И всегда был похож, — сказал Иван Иванович. — А это моя мать. Она меня воспитывала в бедности, но строгости. Папа нас оставил в младенчестве.

С первого взгляда ясно, что иначе воспитывать она не умела.

Историю своей интересной жизни Иван Иванович рассказывал мне не по порядку. Теперь же, когда его нет среди нас, я разложил его воспоминания в хронологическом порядке. И мне открылись некоторые любопытные закономерности.

1917 год Иван Иванович встретил гимназистом последнего класса. Он был хорошим учеником, но не блестящим, и потому его любили учителя. В классе он ни с кем не дружил, потому что друзей ему подбирала мама, а ему хотелось дружить с другими. Самое яркое воспоминание того года — получение премии за перевод Овидия.

На демонстрации Иван не ходил, потому что мама велела ему получить достойный аттестат зрелости, полагая, что он пригодится при любой власти. К тому же Иван Иванович всегда боялся толпы. Он был невелик ростом, худ и очкаст. Таких бьют при любом народном возмущении.

В 1918 году Иван Иванович поступил на службу. Аттестат ему не понадобился. Он был делопроизводителем в Москульттеапросвете, но ездить на работу было далеко. Они с мамой жили на Сретенке, а учреждение располагалось на Разгуляе. Так что когда Иван Иванович увидел

объявление: делопроизводители требуются в Госзерне, что помещалось напротив клиники на Садовом, он перешел туда.

Впервые его исполнительские способности проявились именно там.

То есть способности были и ранее. Иван Иванович был аккуратен, вежлив и тих. Он никогда не выступал на собраниях и чурался общественной деятельности. У него была одна всем известная слабость. Смысл жизни для Ивана Ивановича заключался в получении премий. Обычно он работал от сих до сих. Правда, добросовестно. Но, если он узнавал, что за такое-то задание положена премия, он мгновенно преображался. Он готов был просиживать на службе ночами, мог своротить Гималайские горы совершенно независимо от размера этой премии. Само слово «премия» вызывало в нем внутренний ажиотаж, подобно тому как словом «щука» можно свести с ума заядлого рыболова, а запахом водки — алкоголика.

В период нехватки продовольствия произошел первый случай из длинной череды подобных, который обратил на Ивана Ивановича внимание руководства.

— Если кто-нибудь из вас, архаровцы, придумает, как отыскать эшелон с пшеницей, что затерялся на пути между Белгородом и Москвой, — сказал начальник подотдела Жариков, заходя в большую гулкую комнату, где сидели тридцать сотрудников, — он получит премию.

— Я найду, — сказал тихий Иванов, приподнимая худенький зад над стулом. — Только мне надо выписать мандат.

В комнате засмеялись, а товарищ начальник подотдела Жариков, однорукий матрос с «Ретвизана», сказал:

— Зайди ко мне.

Иванов, под хихиканье коллег, прошел за перегородку, где проницательный Жариков сказал:

— Если не шутишь, бери мандат, и чтобы через два дня зерно было в Москве. Не доставишь, пойдешь под ревтрибунал. Охрану дать?

— Ни в коем случае, — испугался Иванов. Он не выносил вида винтовок.

Вечером второго дня осунувшийся Иванов, в пальто без правого рукава, с кровавой ссадиной через щеку, вошел в кабинетик товарища Жарикова, который за неимением другого угла там и ночевал.

— Состав на Брянском вокзале, — сказал он и упал в обморок.

Жариков отпойил Ивана Ивановича горячим чаем. Потом взял трубку и позвонил на Брянский вокзал. Иванов не врал. Состав стоял там. Может быть, Иванов и рассказал Жарикову, как он совершил такой революционный подвиг, но мне Иван Иванович о подробностях не рассказывал. Известно лишь, что Жариков предложил Иванову наградить его почетным революционным оружием, но тот сказал, что хотел бы получить положенную премию. На следующее утро Иванов сложил в дерматиновую сумку два фунта воблы, фунт муки и полфунта леденцов. Остальные сотрудники подотдела готовы были растоптать его от ненависти.

С тех пор так и пошло. Если надо было сделать невыполнимую работу, Жариков приходил в комнату и говорил Ивану Ивановичу, что тот по выполнении ее получит премию. И тот выполнял любую работу. Одна недоброжелательница прозвала его даже Василисой Примурской. Но прозвище не привилось, потому как было длинным.

Тем более она сама его быстро забыла, потому что Иван Иванович, теперь уже замначальника подотдела, сделал ей предложение, и она переехала к нему на Сретенку. Они прожили два года, но потом Соня, так звали жену Иванова, не выдержала притеснений его мамы, которые были тем более невыносимы, что приходилось жить в одной комнате в коммунальной квартире, уехала от него, хотя развода не взяла.

В 1924 году Госзерно реорганизовали, Жарикова кинули на укрепление коммунального треста, и тот, уходя, взял с собой Ивана Ивановича.

Там прошло несколько лет. Иван Иванович ничем особым не отличался, хотя и совершил несколько небольших подвигов, оцененных премиями. Года через два умерла мама, полагавшая, что сына недосматривают. Жена Соня после этого вернулась к Ивану Ивановичу, и у них родилась дочь. Жизнь налаживалась.

Иван Иванович показывал мне фотографии того времени. Он, еще молодой, но строгий, стоит рядом с женой Соней, которая держит на коленях дочку, очень похожую на Ивана Ивановича в детстве.

Ивану Ивановичу запомнилась от тех лет премия в виде наручных часов в стальном корпусе — эту премию он получил за то, что разработал и провел в жизнь идею товарища Жарикова о создании сети современных бани в подотчетном районе. Задача была сложная, достойных

помещений не хватало, а народу надо было мыться. Жариков обратился к Ивану Ивановичу и сказал:

— Будет премия.

Иван Иванович думал три дня. Он ходил по Москве, рассматривал дома и строения. Наконец, удовлетворенный, вернулся за свой небольшой стол и написал, а затем подал по начальству докладную записку о размещении бань в некоторых церквях. Там толстые стены и даже встречаются подвалы, где можно разместить котлы.

Жариков несколько смущался, опасаясь, не слишком ли радикально решение Иванова. И премию выдать воздержался, пока не провентилирует вопрос в Моссовете.

Иванов был обижен. Он привык уже, что, если премию обещали, премию должны дать. Так и сказал жене. Жена Соня сказала, что лучше пожить без премии, чем принимать такое решение. Иванов ничего не ответил жене, но той же ночью написал письмо в ОГПУ, где разъяснил свои разногласия и честно поведал об обещанной премии. Жариков больше на работу не пришел, но Иванову его место не отдали как беспартийному. Впрочем, Иванов на него и не претендовал, так как был идеальным исполнителем, а не организатором.

Новый начальник подтвердил, что премия Иванову положена, однако после того, как тот лично проведет операцию по передаче церквей под бани. Иванов честно провел эту операцию и был премирован стальными часами, которые носил до старости.

Умение с выдумкой исполнять принесло Ивану Ивановичу еще одну премию в размере месячного оклада в середине тридцатых годов, когда в коммунальном тресте был обнаружен правотроцкистский заговор на немецкие деньги. Сверху спустили разнарядку, в которой было сказано, что в тресте есть восемнадцать участников заговора, во главе которых стоит Семенов. Но более ничего не уточнили.

Начальник был растерян и обратился к Иванову как к специалисту по смежным вопросам.

Иванов прочел письмо из ОГПУ и спросил, а может ли он рассчитывать на премию, если удачно выполнит поручение? Когда получил соответствующее обещание, он взял список сотрудников, в котором нашел семнадцать Семеновых и двадцать одну Семенову. Из них и составил список участников правотроцкистского заговора на немецкие деньги. Начальник колебался, потому что от него требовалось лишь восемнадцать заговорщиков, а если отыскать три-

дцать восемь, то не останется кандидатов для следующих заговоров.

Тогда Иванов, почувствовав, что рискует остаться без премии, переслал второй экземпляр в ОГПУ. На следующий день начальник не пришел на работу, а Иванов получил премию в размере месячного оклада.

Его жена Соня выразила сомнение, правильно ли Иванов ведет себя. Тот даже не рассердился.

— Я же получил премию,— сказал он.— Зря премии не дают. Мама была бы рада.

Его жена Соня навсегда уехала от мужа, взяв с собой дочку. Она поселилась у родственников под Запорожьем.

Иванов посыпал алименты на воспитание дочери, а когда получал премию, присыпал больше. Если Соня получала денег больше, чем рассчитывала, она долго плакала.

Последний раз Иван Иванович прислал дополнительные тридцать рублей в 1947 году, в день восемнадцатилетия дочери.

В то время он уже работал в Академии наук, но не ученым, а исполнителем в Президиуме. Тогда случился казус: к нам в страну приехала высокопоставленная делегация из недружественной страны, чтобы ознакомиться со Сталинским планом преобразования природы. Для делегации был выделен специальный участок, где должны были колоситься поля, огражденные буйными лесными посадками. Однако за день до приезда делегации стало известно, что посадки, созданные на принципах внутривидового сотрудничества и взаимопомощи, завяли, а поля, засеянные озимой пшеницей, перерожденной из яровой, пусты. Ни остановить делегацию на правительственном уровне, ни направить ее по другому маршруту не удалось. Тогда тот самый главный академик отыскал Ивана Ивановича и обещал ему премию.

Иван Иванович, как он мне признался, взял географическую карту того района и выяснил, что выше него находится большая плотина. По согласованию с академиком и другими лицами он предложил выход: сам отправился на ту плотину и в нужный момент открыл все ее створы. Река, разлившаяся по полям и лесным полосам, нечаянно утопила иностранную делегацию, а также несколько деревень. Были принесены соответствующие извинения за стихийное бедствие. Больше подобные делегации не ездили. Иван Иванович получил свою премию, но был наказан за самоуправство и три года провел в лагерях строгого режима.

Денег оттуда он семье не посыпал, потому что дочь достигла совершеннолетия и никто не ждал от отца вестей. В то же время он четырежды получал в лагере премии. В первый раз за то, что исполнил просьбу начальника лагеря экономить ватники заключенных, которые за пятилетку изнашивали ценную одежду до дыр. Он предложил совместить борьбу за экономию ватников с экономией питания. Двойная экономия привела вскоре к тому, что ватники стали освобождаться от содержимого вдвое быстрей, а из сэкономленных продуктов удалось выделить премию Иванову. Иванов был освобожден досрочно. Он не изменился, лишь облысел. Обиды ни на кого не таил, так как все премии, которые ему были обещаны, как до ареста, так и во время жизни в лагере, он получил.

Я пропускаю здесь несколько лет плодотворной работы Ивана Ивановича. Но надо сказать, что за эти годы он получил более двадцати премий и репутация его настолько укрепилась, что его стали использовать в самых различных областях хозяйства.

Однажды судьба свела его с бывшей женой Соней.

Проблема, стоявшая перед проектировщиками большого комбината в Запорожской области, заключалась в том, что комбинату требовалось много воды, а воды было мало. Пригласили Иванова. Обещали премию.

Иван Иванович решил, что посетит во время этой командировки свою семью. Семья встретила его прохладно. Дочь была замужем и отца не узнала. А Соня узнала, но не обрадовалась. Чтобы не тратиться на гостиницу, в которой были номера лишь по три рубля, тогда как командировочные Ивана Ивановича предусматривали оплату в размере полутора рублей, Иванов решил переночевать в домике у Сони.

Ему постелили у окна на диване.

Утром Иван Иванович проснулся от звона цепи. Его жена набирала воду из колодца. Он встал, подошел к колодцу и увидел, что до воды метров десять.

Попрощавшись с Соней, Иван Иванович отправился в Запорожье и узнал у специалистов, что в том районе есть большая подводная линза, из которой черпают воду местные жители. Иван Иванович обрадовался, вернулся в Москву и там сообщил, что воду для комбината можно найти, если выкопать возле него колодцы глубиной в пятьдесят метров и качать воду прямо из линзы.

Некоторые специалисты подняли шум, уверяя, что этим будет ликвидировано местное сельское хозяйство. Однако

они не знали, как суров становится Иван Иванович, когда дело идет о заслуженной премии. Он смог пробиться к министру, и комбинат получил воду, а Иванов премию. Четыре близлежащих района области были выселены, так как невозможно возить воду в цистернах для ста пятидесяти тысяч семей.

Когда в другом министерстве, которое прознало о способностях Ивана Ивановича, решили повернуть на юг северные реки и таким образом насытить влагой поля юга, исполнителем пригласили Иванова. Иванов уже был тогда пожилым человеком. Он получил отдельную однокомнатную квартиру, где повесил фотографию мамы и почетные грамоты, но жениться снова не стал.

Ученые и любители старины сильно возражали и рвались в кабинет к министру, чтобы объяснить, почему нельзя губить север ради спасения юга. Иван Иванович добился в министерстве, чтобы другим ученым, которые будут доказывать обратное, тоже дали премию. Другие ученые, узнав о премиях, стали доказывать общественности, что спасения первых ученых напрасны. Тем временем, пока никто не мог разобраться в споре, Иванов дал сигнал бульдозерам и экскаваторам двинуться на север, где они срочно прокопали каналы. Эта борьба, закончившаяся победой Ивана Ивановича, заняла три года. Но для Иванова не прошла бесследно. Он получил премию в размере ста двадцати рублей. И смог купить красивый импортный торшер.

Еще пятьдесят рублей премии он получил за то, что ему удалось уничтожить озеро Байкал. А потом шестьдесят пять за ликвидацию Аральского моря.

Газеты и журналы метали громы и молнии в министров и академиков, полагая, что это они уничтожают природу и культурные ценности. Что из-за их легкомысленных, корыстных и даже преступных действий нашим детям нечего будет есть и нечем дышать. Но никто не метал молний в Ивана Ивановича, потому что он был совершенно незаметен. И никто так и не догадался, что именно его страсть к получению небольших, честно заработанных премий и есть главная причина упадка нашей цивилизации.

На рубеже девяностых годов Иван Иванович, согбенный возрастом, собрался уйти на пенсию. Но тут его вызвал к себе сам Петрищев.

— Иван Иванович, — сказал Петрищев, — как ты знаешь, народ у нас за последние годы очень разболтался. Все

труднее строить новые заводы, так нужные нашему министерству для выполнения плана. Мы, конечно, не возражаем с тобой против охраны окружающей среды.

— Нет, не возражаем,— сказал Иванов.

Петрищев налил в стакан воды из графина, подошел к подоконнику и лично полил стоявшие в горшках цветы.

— Боюсь, что Златогорский комбинат нам не дадут пустить. И тогда мы не освоим ассигнования.

— Плохо,— сказал Иванов.

— Мне хотелось бы дать тебе премию, Иванов,— сказал Петрищев.— И немалую. Рублей в сто. Как ты на это смотришь?

— А чем они мотивируют?

— Ах, не говори. Типичные демагоги. Говорят, что дым этого комбината уничтожит воздух над европейской территорией нашей страны. А это преувеличение, ни на чем не основанное.

— А премия когда будет? — спросил Иванов.

— Как только задымят трубы комбината.

Удивительная сила духа и упорство крылись в этом немощном на вид старичке. Не прошло и шести месяцев, как, несмотря на протесты общественности, на три специальных постановления правительства и даже резолюцию ООН, Златогорский комбинат дал первый дым.

Вскоре половина человечества была вынуждена перейти в газоубежище.

Премию Иван Иванович получил вместе с противогазом.

Он отложил ее на черный день и переселился в газоубежище.

Там мы с ним и познакомились.

Длинными вечерами Иван Иванович дребезжащим голосом рассказывал мне о своей жизни, и постепенно я стал понимать, какую громадную, неоцененную роль он сыграл в жизни нашего государства. Я сказал ему об этом, и Иван Иванович удовлетворенно кивнул. А на следующей неделе, когда из-за кислотных дождей никто не смог выйти из газоубежища, мы с ним занялись подсчетами. Оказалось, что за свою жизнь Иван Иванович получил в общей сложности сто сорок две премии общей суммой в восемь тысяч тридцать два рубля. Это помимо зарплаты. Затем мы с ним стали подсчитывать, во сколько его деятельность обошлась стране. Без ложной скромности Иванов согласился на мои неполные выводы: восемнадцать триллионов с хвостиком. И каждый новый день, сколько бы их ни осталось до конца света, стоил не меньше шестнадцати

миллиардов.

— Что ж, внушительно,— сказал старенький Иванов. Впрочем, эти цифры на него не произвели большого впечатления, так как были абстрактны. Я сужу об этом, потому что за последующие дни он ни разу не вспомнил о них, зато как-то утром растолкал меня, чуть не свалив с раскладушки.

— Послушайте,— прошептал он.— Мы ошиблись. Я забыл о трех премиях. Общая сумма восемь тысяч триста тридцать шесть рублей. Вот так-то!

Вчера Иван Иванович покинул нас.

В полдень в газоубежище вошли три человека в галстуках и противогазах. Они долго шептались с Иван Ивановичем. Наконец один из них внятно произнес:

— Премию вам гарантирую.

Иван Иванович подмигнул мне и ушел вместе с ними, натягивая противогаз.

Уже третий день я жду конца све...

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ

Ближе к концу второй мировой войны, когда даже тем из членов НСДАП, кто контролировал свои мысли со спокойным автоматизмом Марлен Дитрих, подправляющей макияж, когда даже тем из них, кто вообще обходился без мыслей, полностью сливая свое сознание с коллективным разумом партии,— словом, когда даже самым тупым и безмозглым партийцам стали приходить в голову неприятные догадки о перспективах дальнейшего развития событий, германская пропаганда глухо и загадочно заговорила о новом оружии, разрабатываемом и почти уже созданном инженерами Рейха.

Делалось это сперва исподволь. Например, «Фолькишер Беобахтер» печатала в рубрике «Ты и Фатерлянд» материал о каком-то ученом, потерявшем на Восточном фронте все, кроме правой руки, но вставшем на протезы и продолжающем одной рукой ковать победу «где-то у суровых балтийских волн», как поэтично зашифровывалось местоположение секретной лаборатории, о которой шла речь; статья кончалась как бы вынужденным умолчанием о том, что именно кует однорукий патриот. Или, например, киножурнал «Дойче Руденштау» показывал коптящие обломки английских бомбардировщиков, летевших, как сообщалось «к одному из расположенных на побережье научных институтов, занятых чрезвычайно важной работой»; в конце сюжета, когда уже вступала бодрая музыка, диктор скороговоркой добавлял, что немцы могут быть спокойны — научный мозг нации, занятый созиданием небывалого доселе оружия, защищен надежно.

Через некоторое время появился сам термин — «Оружие возмездия». Уже из самого факта употребления слова «возмездие» видно, что росшая в стране паника затронула и аппарат пропаганды, который начал давать сбои — ведь возмездие предполагает в качестве повода успешные военные действия, а все военные операции союзников официально объявлялись неуспешными, обеспечившими новые позиции ценой невероятных жертв. Но, может быть, это

было не сбоем, а тем кусочком эмоциональной правды, которым любой опытный пропагандист сдабривает свое вранье, создавая у слушателя чувство, что к нему обращается человек пусть и стоящий на официальных позициях, но по-своему честный и совестливый. Как бы там ни было, но слова «оружие возмездия» одинаково доходили и до сердца матери, потерявшей сыновей где-то в Северной Африке, и до работника партийного аппарата, предчувствующего скорую ликвидацию своей должности, и до паренька из «Гитлерюгенда», ничего не понимающего в развитии событий, но по-детски любящего оружие и тайны. Поэтому неудивительно, что это словосочетание стало в скором времени так же популярно в летящей навстречу гибели стране, как, скажем, слова «Новый курс» в послекризисной Америке. Без всякого преувеличения можно сказать, что мысль об этом загадочном оружии захватила умы; даже скептики, иронически переглядывавшиеся при каждой новой радиосводке с театра военных действий, даже надежно замаскированные евреи, тихо качавшие головами при очередном безумном радиопризывае Геббельса,— даже они, совершенно забыв о своем подлинном отношении к режиму, пускались в бредовые разговоры о природе оружия возмездия и предполагаемом месте и времени его применения.

Сначала прошел слух, что это какая-то особая, небывалой силы бомба. Эта мысль увлекла в основном малышню и подростков — известно много детских рисунков того времени, на которых изображен взрыв, какой обычно рисуют дети,— черно-красный куст с волнистой опушкой, только очень-очень большой, и в углу листа — маленький зеленый самолетик с крестами на фюзеляже. (Удивительная однотипность этих рисунков показывает, что делом воспитания нового поколения в Германии занимались настоящие профессионалы.) Другой распространенной версией была следующая: оружие возмездия представляет собой реактивные снаряды гигантских размеров, способные самостоятельно наводиться на выбранную цель. (Некоторые утверждали, что ими управляют пилоты, отобранные из подлежащего уничтожению человеческого материала, со вживленными в мозг специальными электродами.) Говорили, кроме этого, о лучах смерти, о газе, который поражает всех, кроме преданных партии и лично Адольфу Гитлеру (это, видимо, было чьей-то шуткой), о голубях с зажигательными бомбами, о смертельных радиоволнах и так далее.

Интерес здесь вызывает прежде всего позиция правоохранительных органов и министерства пропаганды. Гестапо, которое вполне могло стереть человека в пыль за невыход на добровольные сверхурочные работы по случаю дня рождения фюрера или его овчарки, которое вполне могло отправить в концлагерь за найденный в уборной клочок газеты с портретом Риббентропа, никак не реагировало на доносы по поводу слишком вольных рассуждений об оружии возмездия. Наоборот, после того как исчезло несколько десятков доносчиков, стало ясно, что такие разговоры негласно поощряются властями; патриоты сориентировались и стали доносить на нежелавших участвовать в обсуждении этой темы,— и оклеветанный исчезал в течение трех дней.

Что касается официальной пропаганды, то она вела себя просто непостижимо. Оружие возмездия упоминалось буквально в каждой передовой; о нем пел берлинский хор мальчиков; защищая его тайну, слагали льняные головы, подстриженные под полубоксы и польки, киногерои из фильмов, которые Лени Рифтеншталь так и не успела доснять,— но прямо никак не объяснялось, что это за оружие. Ведомство Геббельса предпочитало использовать метафоры и аллегории, что вообще-то было для него характерно всегда, но только в качестве побочного приема,— а здесь ничего, кроме поэтических сравнений, не приводилось вообще, и пережидающий очередной налет обыватель, развернув в бомбоубежище газету, узнавал, что уже недалек тот день, когда, «подобно копью Вотана, оружие возмездия поразит врага в самое сердце»; прочитав это сообщение, он, по характерной для жителей фашистской Германии привычке вычитывать самое главное между строк, решал, что, должно быть, прав был давешний кондуктор в трамвае, говоривший о снарядах невероятной мощи и дальности действия. Но когда на следующий день на совещании ячейки НСДАП зачитывалась, среди прочего, информация о том, что «меч Зигфрида уже занесен над потоками азиатских орд», он решал, что оружие возмездия, без всякого сомнения,— бомба. Когда же в вечерней радиопередаче сообщалось, что «огнеглазые Валькирии Рейха вот-вот обрушат на агрессора свое священное безумие», он начинал склоняться к мысли, что это все же лучи или психический газ.

Когда немецкие «Фау-2» стали падать на Лондон, выяснилось, что оружие возмездия — при том, что «Фау» первая буква слова «Фергельтунгсваффе», то есть «оружие

возмездия» — это все-таки вовсе не ракеты, потому что сообщения о ракетных обстрелах печатались рядом с обычным набором поэтических образов, посвященных последней надежде Германии. Когда с берлинских аэродромов взлетали в небо первые реактивные «мессершмитты», стало ясно, что оружие возмездия — не реактивная авиация, потому что в одной из радиопередач новый истребитель был уподоблен верному ворону фюрера, высматривающему хищным взглядом место для будущего пира ярости. На смену отпавшим версиям приходили новые — так, некий районный фюрер объявил построенному для напутствия батальону фаустников, что оружие возмездия — это 14,9 миллиона зараженных чумой крыс, которые в специальных контейнерах обрушатся с неба на Москву, Нью-Йорк, Лондон и Иерусалим. Учитывая, что все районные фюреры фашистской Германии были людьми удивительно тупыми, трусливыми, подлыми и неспособными даже к простейшим умственным комбинациям — все это и служило негласным условием их выдвижения на должность, — можно предположить, что слухи о характере действия оружия возмездия распространялись централизованно; придумать такое (особенно цифру 14,9) сам районный руководитель лично не смог бы ни за что, а повторять в официальном сообщении болтовню парикмахера или шофера он никогда не решился бы.

Централизованность распространения этих слухов подтверждает еще одна провокация на городском уровне: в городе Оsnабрюке лектор из Берлина объявил, что оружие возмездия — это секретный бравурный марш, существующий в англо- и русскоязычной версиях, который предполагается воспроизводить через мощную звукоусильительную машину прямо на передовой; услышав оттуда хотя бы один куплет, любой, понимающий эти языки, сойдет с ума от величия германского духа. (При этом с французами, болгарами, румынами и прочими предполагалось покончить с помощью обычных частей вермахта.)

Известно огромное число других версий.

Между тем развязка приближалась. Гибли дивизии и армии, сдавались города, и наступала обычная томительная предсмертная неразбериха. Последнее официальное упоминание об оружии возмездия относится к тому дню, когда по радио был зачитан приказ Гиммлера, в соответствии с которым любой немецкий солдат был обязан убить любого другого немецкого солдата, встретив его

вдали от шума битвы. После этого приказа в эфир пошла обычная программа «Горизонты завтрашнего дня», в которой были названы сроки применения оружия возмездия: «еще до первых знойных дней, до первых майских гроз». Было также повторено — очевидно, в связи с попытками если не заключить перемирие с англичанами и американцами, то хотя бы задобрить их,— что оружие возмездия будет применено только против «азиатских жидобольшевиков». Через пять минут после этого, после последней в истории Рейха трансляции «Лили Марлен», в здание берлинского радио попала комбинированная фугасно-агитационная бомба, содержащая три тонны тринитротолуола и пятьдесят тысяч листовок.

После капитуляции Германии разведки стран — участниц коалиции немедленно принялись за поиски секретных заводов и лабораторий — союзникам была хорошо известна вся официальная немецкая информация по поводу оружия возмездия, а также большое количество слухов, которые в последние годы тщательно собирала агентура. Балтийское побережье, где, как предполагалось, находились соответствующие исследовательские и производственные центры, было обшарено буквально метр за метром. По предварительным данным разведок особый интерес вызвали два места. В зоне американской оккупации обнаружились циклопические, площадью с большой поселок, железобетонные руины — незадолго до прихода американских войск там что-то было уничтожено таким количеством взрывчатки, что самыми ценными находками оказались немецкий военный сапог вместе с оторванной ногой (обрывок штанины был идентифицирован как форма СС) и четырехточная губная гармошка фирмы «Целлс» со следами зубов и пробоинами от осколков. Все остальное представляло собой месиво из бетонной крошки, арматуры и мелких металлических фрагментов.

Проведенные вскоре опросы местных жителей показали, что здесь проходило замороженное в 1942 году строительство самого крупного в истории зоопарка, где для разных животных воспроизвоздилась естественная среда их обитания. (Один только участок «Иудейские горы» обошелся, как выяснилось из документов, в 80 миллионов рейхсмарок.)

На побережье советской зоны были найдены неясного назначения катакомбы, куда, после оцепления местности, опустились семеро агентов СМЕРШа, переодетых, на всякий случай, тирольскими музыкантами. Ни один из них не

вернулся, после чего катакомбы были взяты штурмом армейского подразделения. В помещении недалеко от входа обнаружились все семь трупов; там же был схвачен заросший длинной бородой мужчина в лохмотьях, вооруженный пожарным багром; он назывался профессором берлинского стоматологического института Авраамом Шумахером и утверждал, что скрывается здесь с 1935 года, питаясь дарами моря. (Способность человека провести десять лет в полной изоляции вызвала естественное недоверие проводивших допрос офицеров СМЕРШа, но, возможно, Шумахер не лгал, так как впоследствии выяснилось, что он обладал необычайно высоким уровнем приспособляемости к неблагоприятным условиям; он умер в одном из дальних лагерей в 1957 году, став перед тем известным в уголовной среде лидером («паханом»); это тот самый Фикса-Живорез, о котором столько пишет в своих мемуарах народная артистка Коми АССР балерина Лубенец-Лупоянова.)

Остальная часть катакомб, расположенная ниже уровня моря, оказалась затопленной. Шумахер показал, что никаких строительных работ на его памяти здесь не велось. Однако, так как его искренность и, во всяком случае, психическое состояние не внушали доверия, было решено осмотреть затопленную часть помещений. Посланный на обследование водолаз исчез; шланг и сигнальный трос оказались оборванными или перекусенными. На вопрос, чем это могло быть вызвано, Шумахер ответил, что здесь, вероятно, набезобразничал некий Михель, которого он описал с помощью междометий и жестов, создав в итоге образ чего-то огромного и пугающего. Говорить об этом в нормальной манере и подробнее Шумахер отказался, мотивировав свою категоричность тем, что Михель наверняка услышит и придет. На сем допрос и исследование затопленных катакомб закончились.

Таким образом, ни в одной из зон Балтийского побережья Германии не было обнаружено ничего похожего на научный институт или завод по производству оружия возмездия. Не нашлось даже сколько-нибудь крупных строек: огромный котлован под Варнемюнде, как выяснилось, предназначался для гигантской скульптурной группы «Шахтеры империи». (Сами фигуры так и не были отлиты, но о предполагавшихся масштабах памятника можно судить по пяти двадцатиметровым отбойным молоткам из бронзы, обнаруженным в ангарах неподалеку от котлована.)

Подробное обсуждение вопроса об оружии возмездия произошло на Берлинской конференции. Был заслушан трехсторонний отчет о ходе поисков секретного немецкого оружия — к этому времени уже вся территория Германии была обследована, и специалисты констатировали, что никаких вещественных доказательств разработки и производства подобного оружия не имеется; не обнаружено ни одного документа, описывающего это оружие с технической стороны, как нет и бумаг, где такие документы хотя бы упоминались.

В обсуждении данного вопроса Сталин проявил характерные для него твердость и упорство. Он был уверен, что американцы уже обнаружили оружие возмездия, но держат это в тайне. Сталин, как вспоминают очевидцы, был настолько раздражен даже простой возможностью такого поворота событий, что впал в тяжелую депрессию и срывал свою злобу на всех, кто попадался ему под руку, — так, например, маршала Конюшенко, опоздавшего к началу вечернего совещания, вместо обычного в таких случаях штрафного стакана ждало следующее: его одели в рыцарские доспехи XIV века, стоявшие в одном из коридоров здания советской резиденции, и сбросили с крыши в декоративный пруд с карпами, после чего Сталин из окна произвел по нему несколько выстрелов из двустволки, а какой-то пьяный тип, державшийся со Сталиным запани-брата, плюнул в маршала стальной оперенной иглой из духовой трубки; к счастью, игла отскочила от забрала. (После госпиталя маршал был награжден орденом Александра Невского и сослан на Дальний Восток; обходя этот эпизод молчанием, маршал в своих воспоминаниях неоднократно возвращался к низким боевым качествам немецких танков, что, на его взгляд, объяснялось недостаточной толщиной брони.)

Атмосфера на конференции стала критической. Перед одним из заседаний агент американской службы безопасности обратил внимание начальника президентской охраны на торчавшую у Сталина из-за голенища наборную рукоять ножа, отчетливо выделявшуюся на фоне белой атласной штанины. После короткого совещания с английским премьером Трумэн, желая дать мыслям Сталина новое направление, сказал, что в США создана бомба огромной мощности со взрывным устройством размером всего с апельсин. По воспоминаниям секретаря американской миссии У. Хогана, Сталин спокойно заметил, что прятал бомбы в корзинах с апельсинами еще в начале века и что первый

дилижанс с гольем раздрючили с его подмастрыки еще тогда, когда Трумэн, верно, только учился торговать газетами. Вернувшись через некоторое время к этой теме, Сталин добавил, что, как считает советская сторона, если вместе прихват рисовали, то потом на вздёржку брать в натуре западло, и что когда он пыхтел на туруханской конторе, таких хавырок брали под красный галстук, и что он сам бы их чикнул, да неохога перо мокрить.

Поняв из перевода, что подписание запланированных соглашений оказалось под угрозой, Трумэн провел несколько напряженных часов со своими консультантами, в числе которых были и опытные специалисты по русской уголовной традиции. На следующее утро перед началом переговоров президент отвел Сталина в сторону и дал ему зуб, что американцы не скрывают абсолютно ничего, касающегося оружия возмездия. То же сделал и английский премьер, после чего переговоры вошли в нормальное русло.

Вскоре участникам конференции были представлены показания высших чиновников Рейха, захваченных в плен. Оказалось, что они большей частью слабо знакомы с вопросом, так как никогда не читали немецких газет, предпочитая им американскую бульварную прессу, но думают, что ведомство Геббельса называло так снаряды «Фау-2».

Тема оружия возмездия поднималась на Берлинской конференции еще раз, когда рассматривался вопрос о лаборатории реактивного оружия на Пенемюнде; был сделан предположительный вывод, что немцы называли оружием возмездия ракеты «Фау-1» и «Фау-2», возлагая на них большие надежды; когда же эти ракеты были применены, но не оказали ожидаемого воздействия на ход войны, аппарат Геббельса продолжал эксплуатировать воодушевлявшую людей идею.

Последовавшее вскоре применение атомного оружия, начавшее новую эпоху в жизни человечества, окончательно отбросило вопрос об оружии возмездия в область малопонятных исторических загадок. С тех пор в большинстве исторических пособий под оружием возмездия понимаются те несовершенные и небезопасные в обращении ракеты, которые вермахт время от времени запускал через Ла-Манш; самое удивительное, что охотнее всех такую версию приняли сами немцы. Это, возможно, объясняется ее трезвостью, простотой и, если так можно выразиться,

антимистичностью, чрезвычайно целительной для нации основательных прагматиков, потрясенной двенадцатилетним мистическим кошмаром, и вполне устраивающей социумы, так безоглядно погруженные в собственные мистические видения, что само существование мистики является в них государственной тайной и отрицается. Но отрицание пронизывающего жизнь и историю мистицизма само по себе есть очень тонкая и опасная форма мистики — тонкая потому, что становится невидимым краеугольный камень общественного устройства, отчего государственные институты и идеология приобретают космическое величие реально существующих феноменов, а опасной потому, что даже крохотная угроза, объявленная несуществующей, может оказаться роковой.

Здесь уместно будет привести цитату из малоинтересной в целом работы некоего П. Стецюка «Память огненных лет».

«...Молодой белобрысый немец с МГ-34 на плече считал себя не только культуртрегером, но и единственным защитником древней европейской цивилизации, оказавшейся на краю гибели. Ржание большевистской конницы и звон еврейского золота, сливающиеся в одну траурную мелодию, были для воспитанников Бальдура фон Шираха самыми реальными звуками на свете, хоть и раздавались только в тех местах, куда попадали уже наученные слышать их постоянно adeptы... Для обученного необходимой методологии человека ничего не стоит придать реальность как еврейскому заговору, так и, например, троцкистско-зиновьевскому блоку, и хотя эта реальность будет временной, но на период своего существования она будет непоколебимой и вечной. Ведь все наши понятия — продукт общественного соглашения, не более... Поэтому в 1937 году в СССР действительно существовал троцкистско-зиновьевский блок, чего не отрицали даже его участники; этот заговор был настолько же реален, насколько реальны были Магнитка и Соловки, и таковым его делала общая убежденность в его существовании. В конце концов кому, как не руководству мирового коммунистического движения, решать, является ли или иная группа людей троцкистско-зиновьевским блоком или нет? Большего авторитета в этой области не существует, да и сама терминология не принята в других кругах. Предположим, что изобретатель языка эсперанто ввел специальное слово для обозначения какой-то группы людей. Эсперантисты будущего могут не употреблять этого слова, но кто из них скажет, что доктор

Заменгоф лгал или ошибался?.. Реальность словам придают люди. Когда умрёт последний христианин, уйдёт из мира и Христос; когда умрет последний марксист, исчезнет вся объективная реальность, и ничто не скопируется и не сфотографируется ничьими чувствами, и ничто не дастся никому в ощущении, существуя независимо, как не происходило этого ни в Древнем Египте, ни в Византийской империи. Сколько осиротевших демонов носится уже надочной землей! Мир создает вера, а предметы создают уверенность в их существовании, и наоборот: мир создает веру в себя, а предметы убеждают в своей подлинности; без одного нет другого...»

Конечно, развязный тон и неумные обобщения П. Степанюка возмутительны, чтобы не сказать — отвратительны, но некоторые из его мыслей заслуживают внимания. В частности, он почти точно раскрыл принцип действия оружия возмездия — не этих жалких пороховых болванок, падавших время от времени на лондонские кинотеатры, а настоящего, грозного оружия, заслужившего все процитированные реминисценции из «Кольца Нibelungов».

Когда множество людей верит в реальность некоего объекта (или процесса), он начинает себя проявлять: в монастыре происходят религиозные чудеса, в обществе разгорается классовая борьба, в африканских деревнях в назначенный срок умирают проклятые колдуном бедняги и так далее — примеров бесконечно много, потому что это основной механизм жизни. Если поместить перед зеркалом свечу, то в зеркале возникнет ее отражение. Но если каким-то неизвестным способом навести в зеркале отражение свечи, — то для того, чтобы не нарушились физические законы, свеча обязана будет возникнуть перед зеркалом из пустоты. Другое дело, что нет способа создать отражение без свечи.

Принцип равновесия, верный для зеркала и свечи, так же верен для события и человеческой реакции на него, но реакцию на событие в масштабах целой страны, особенно страны, охваченной идеологической ревностью, довольно просто организовать с помощью подчиненных одной воле газет и радио, даже если самого события нет. Применительно к нашему случаю это значит, что с появлением и распространением слухов об оружии возмездия оно возникнет само — никому, даже его создателям, неизвестно, где и как; чем больше будет мнений о его природе, тем более странным и неожиданным окажется конечный ре-

зультат. И когда будет объявлено, что это оружие приводится в действие, сила ожидания миллионов людей неизбежно изменит что-то в истории.

Осталось сказать несколько слов о результатах применения оружия возмездия против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов, тем более что они горьки и не новы. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой: пусть он встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору, выглянет наружу...

ЗАТВОРНИК И ШЕСТИПАЛЫЙ

1

— Отвали.

— ?..

— Я же сказал, отвали. Не мешай смотреть.

— А на что это ты смотришь?

— Вот идиот, господи... Ну, на солнце.

Шестипалый поднял взгляд от черной поверхности почвы, усыпанной едой, опилками и измельченным торфом, и, щурясь, уставился вверх.

— Да... Живем, живем — а зачем? Тайна веков. И разве постиг кто-нибудь тонкую нитевидную сущность светил?

Незнакомец повернулся голову и посмотрел на него с презрительным любопытством.

— Шестипалый, — немедленно представился Шестипалый.

— Я Затворник, — ответил незнакомец. — Это у вас так в социуме говорят? Про тонкую нитевидную сущность?

— Уже не у нас, — ответил Шестипалый и вдруг присвистнул. — Вот это да!

— Чего? — подозрительно спросил Затворник.

— Вон, гляди! Новое появилось!

— Ну и что?

— В центре мира так никогда не бывает. Чтобы сразу три светила.

Затворник снисходительно хмыкнул.

— А я в свое время сразу одиннадцать видел. Одно в зените и по пять на каждом эпизикле. Правда, это не здесь было.

— А где? — спросил Шестипалый.

Затворник промолчал. Отвернувшись, он отошел в сторону, ногой отколупнул от земли кусок еды и стал есть. Дул слабый теплый ветер, два солнца отражались в серо-зеленых плоскостях далекого горизонта, и в этой картине было столько покоя и печали, что задумавшийся

Затворник, снова заметив перед собой Шестипалого, даже вздрогнул.

— Снова ты. Ну чего тебе надо?

— Так. Поговорить хочется.

— Да ведь ты неумен, я полагаю,— ответил Затворник.— Шел бы лучше в социум. А то вон куда забрел. Правда, ступай...

Он махнул рукой в направлении узкой грязно-желтой полоски, которая чуть извивалась и подрагивала,— даже не верилось, что так отсюда выглядит огромная галдящая толпа.

— Я бы пошел,— сказал Шестипалый,— только они меня прогнали.

— Да? Это почему? Политика?

Шестипалый кивнул и почесал одной ногой другую. Затворник взглянул на его ноги и покачал головой.

— Настоящие?

— А то какие же. Они мне так и сказали — у нас сейчас самый, можно сказать, решительный этап приближается, а у тебя на ногах по шесть пальцев... Нашел, говорят, время...

— Какой еще «решительный этап»?

— Не знаю. Лица у всех перекошенные, особенно у Двадцати Ближайших, да и у Ума с Честью, а больше ничего не поймешь. Бегают, орут.

— А,— сказал Затворник,— понятно. Он, наверно, с каждым часом все отчетливей и отчетливей? А контуры все зрямей?

— Точно,— удивился Шестипалый.— А откуда ты знаешь?

— Да я их уже штук пять видел, этих решительных этапов. Только называются по-разному.

— Да ну,— сказал Шестипалый.— Он же впервые происходит.

— Еще бы. Даже интересно было бы посмотреть, как он будет во второй раз происходить. Но мы немного о разном.

Затворник тихо засмеялся, сделал несколько шагов по направлению к далекому социуму, повернулся к нему задом и стал с силой шаркать ногами так, что за его спиной вскоре повисло целое облако, состоящее из остатков еды, опилок и пыли. При этом он оглядывался, махал руками и что-то бормотал.

— Чего это ты? — с некоторым испугом спросил Шестипалый, когда Затворник, тяжело дыша, вернулся.

— Это жест,— ответил Затворник.— Такая форма искусства. Читаешь стихотворение и производишь соответствующее ему действие.

— А какое ты сейчас прочел стихотворение?

— Такое,— сказал Затворник:

Иногда я грущу,
глядя на тех, кого я покинул.
Иногда я смеюсь,
и тогда между нами
вздымается желтый туман.

— Какое ж это стихотворение,— сказал Шестипалый.— Я, слава богу, все стихи знаю. Ну, то есть не наизусть, конечно, но все двадцать пять слышал. Такого нет, точно.

Затворник поглядел на него с недоумением, а потом, видно, понял.

— А ты хоть одно помнишь? — спросил он.— Прочти-ка.

— Сейчас. Близнецы... Близнецы... Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое, только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов, поднимаем глаза на стену, а там...

— Хватит,— сказал Затворник.

Наступило молчание.

— Слушай, а тебя тоже прогнали? — нарушил его Шестипалый.

— Нет. Это я их всех прогнал.

— Так разве бывает?

— По-всякому бывает,— сказал Затворник, поглядел на один из небесных объектов и добавил тоном перехода от болтовни к серьезному разговору: — Скоро темно станет.

— Да брось ты,— сказал Шестипалый,— никто не знает, когда темно станет.

— А я вот знаю. Хочешь спать спокойно — делай как я.— И Затворник принял сгребать кучи разного валяющегося под ногами хлама, опилок и кусков торфа. Постепенно у него получилась огораживающая небольшое пустое пространство стена, довольно высокая, примерно в его рост. Затворник отошел от законченного сооружения, с любовью поглядел на него и сказал: — Вот. Я это называю убежищем души.

— Почему? — спросил Шестипалый.

— Так. Красиво звучит. Ты себе-то будешь строить?

Шестипалый начал ковыряться. У него ничего не выходило — стена обваливалась. По правде сказать, он и не особо старался, потому что ничуть не поверил Затворнику насчет наступления тьмы, — и когда небесные огни дрогнули и стали медленно гаснуть, а со стороны социума донесся похожий на шум ветра в соломе всенародный вздох ужаса, в его сердце возникло одновременно два сильных чувства: обычный страх перед неожиданно надвинувшейся тьмой и незнакомое прежде преклонение перед кем-то, знающим о мире больше, чем он.

— Так и быть, — сказал Затворник, — прыгай внутрь. Я еще построю.

— Я не умею прыгать, — тихо ответил Шестипалый.

— Тогда привет, — сказал Затворник и вдруг, изо всех сил оттолкнувшись от земли, взмыл вверх и исчез за стеной, после чего все сооружение обрушилось на него, покрыв его равномерным слоем опилок и торфа. Образовавшийся холмик некоторое время подрагивал, потом в его стене возникло маленькое отверстие — Шестипалый еще успел увидеть в нем блестящий глаз Затворника — и наступила окончательная тьма.

Разумеется, Шестипалый, сколько себя помнил, знал все необходимое про ночь. «Это естественный процесс», — говорили одни. «Делом надо заниматься», — считали другие, и таких было большинство. Вообще, оттенков мнений было много, но происходило со всеми одно и то же: когда без всяких видимых причин свет гас, после короткой и безнадежной борьбы с судорогами страха все впадали в оцепенение, а придя в себя (когда светила опять загорались), помнили очень мало. То же самое происходило и с Шестипалым, пока он жил в социуме, а сейчас — потому, наверное, что страх перед наступившей тьмой наложился на равный ему по силе страх перед одиночеством и, следовательно, удвоился, — он не впал в обычную спасительную кому. Вот уже стих далекий народный стон, а он все сидел, съежась, возле холмика и тихо плакал. Видно вокруг ничего не было, и, когда в темноте раздался голос Затворника, Шестипалый от испуга нагадил прямо под себя.

— Слушай, кончай долбить, — сказал Затворник, — спать мешаешь.

— Я не могу, — тихо отозвался Шестипалый. — Это сердце. Ты б со мной поговорил, а?

— О чём? — спросил Затворник.
— О чём хочешь, только подольше.
— Давай о природе страха?
— Ой, не надо! — запищал Шестипалый.
— Тихо ты! — зашипел Затворник. — Сейчас сюда все крысы сбегутся.

— Какие крысы? Что это? — холodeя, спросил Шестипалый.

— Это существа ночи. Хотя на самом деле и дня тоже.

— Не повезло мне в жизни, — прошептал Шестипалый. — Было б у меня пальцев сколько положено, спал бы сейчас со всеми. Господи, страх-то какой... Крысы...

— Слушай, — заговорил Затворник, — вот ты все повторяешь — Господи, Господи... у вас там что, в Бога верят?

— Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что — никому не известно. Вот, например, почему темно становится? Хотя, конечно, можно и естественными причинами объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни и не сделаешь...

— А что, интересно, можно сделать в жизни? — спросил Затворник.

— Как что? Чего глупые вопросы задавать — будто сам не знаешь. Каждый, как может, лезет к кормушке. Закон жизни.

— Понятно. А зачем тогда все это?

— Что «это»?

— Ну, вселенная, небо, земля, светила — вообще, все.

— Как зачем? Так уж мир устроен.

— А как он устроен? — с интересом спросил Затворник.

— Так и устроен. Движемся в пространстве и во времени. Согласно законам жизни.

— А куда?

— Откуда я знаю. Тайна веков. От тебя, знаешь, свихнуться можно.

— Это от тебя свихнуться можно. О чём ни заговори, у тебя все или закон жизни, или тайна веков.

— Не нравится, так не говори, — обиженно сказал Шестипалый.

— Да я и не говорил бы. Это ж тебе в темноте молчать страшно.

Шестипалый как-то совершенно забыл об этом. Прислушавшись к своим ощущениям, он вдруг заметил, что не испытывает никакого страха. Это его до такой степени напугало, что он вскочил на ноги и кинулся куда-то

вслепую, пока со всего разгона не треснулся головой о невидимую в темноте Стену Мира.

Издалека послышался скрипучий хохот Затворника, и Шестипалый, осторожно переставляя ноги, побрел на встречу этим единственным во всеобщей тьме и безмолвии звукам. Добравшись до холмика, под которым сидел Затворник, он молча улегся рядом и, стараясь не обращать внимания на холод, попытался уснуть. Момента, когда это получилось, он даже не заметил.

2

— Сегодня мы с тобой полезем за Стену Мира, понял? — сказал Затворник.

Шестипалый как раз побегал к убежищу души. Сама постройка выходила у него уже почти так же, как у Затворника, а вот прыжок удавался только после длинного разбега, и сейчас он тренировался. Смысл сказанного дошел до него именно тогда, когда надо было прыгать, и в результате он врезался в хлипкое сооружение так, что торф и опилки, вместо того чтобы покрыть все его тело ровным мягким слоем, превратились в наваленную над головой кучу, а ноги потеряли опору и бессильно повисли в пустоте. Затворник помог ему выбраться и повторил:

— Сегодня мы отправимся за Стену Мира.

За последние дни Шестипалый наслушался от него такого, что в душе у него все время что-то поскрипывало и ухало, а былая жизнь в социуме казалась трогательной фантазией (а может, пошлым кошмаром — точно он еще не решил), но это уж было слишком.

Затворник между тем продолжал:

— Решительный этап наступает после каждого семидесяти затмений. А вчера было шестьдесят девятое. Миром правят числа.

И он указал на длинную цепь соломинок, торчащих из почвы возле самой Стены Мира.

— Да как же можно лезть за Стену Мира, если это — Стена Мира? Ведь в самом названии... За ней ведь нет ничего...

Шестипалый был до того ошарашен, что даже не обратил внимания на темные мистические объяснения Затворника, от которых у него иначе обязательно испортилось бы настроение.

— Ну и что,— ответил Затворник,— что нет ничего. Нас это должно только радовать.

— А что мы там будем делать?

— Жить.

— А чем нам тут плохо?

— А тем, дурак, что этого «тут» скоро не будет.

— А что будет?

— Вот останься, узнаешь тогда. Ничего не будет.

Шестипалый почувствовал, что полностью потерял уверенность в происходящем.

— Почему ты меня все время пугаешь?

— Да не ной ты,— пробормотал Затворник, озабоченно вглядываясь в какую-то точку на небе.— За Стеной Мира совсем неплохо. По мне, так гораздо лучше, чем здесь.

Он подошел к остаткам выстроенного Шестипалым убежища души и стал ногами раскидывать их по сторонам.

— Зачем это ты? — спросил Шестипалый.

— Перед тем как покинуть какой-либо мир, надо обобщить опыт своего пребывания в нем, а затем уничтожить все свои следы. Это традиция.

— А кто ее придумал?

— Какая разница. Ну, я. Больше тут, видишь ли, некому. Вот так...

Затворник оглядел результат своего труда — на месте развалившейся постройки теперь было идеально ровное место, ничем не отличающееся от поверхности остальной пустыни.

— Все,— сказал он,— следы я уничтожил. Теперь надо опыт обобщить. Твоя очередь. Залазь на эту кочку и рассказывай.

Шестипалый почувствовал, что его перехитрили, оставив ему самую тяжелую и, главное, непонятную часть работы. Но после случая с затмением он решил слушаться Затворника. Пожав плечами и оглядевшись — не забрел ли сюда кто из социума,— он залез на кочку.

— Что рассказывать?

— Все, что знаешь о мире.

— Долго ж мы здесь проторчим,— свистнул Шестипалый.

— Не думаю,— сухо отозвался Затворник.

— Значит, так. Наш мир... Ну и идиотский у тебя ритуал...

— Не отвлекайся.

— Наш мир представляет собой правильный восьмиугольник, равномерно и прямолинейно движущийся в пространстве. Здесь мы готовимся к решительному этапу, венцу наших счастливых жизней.

Это официальная формулировка, во всяком случае. По периметру мира проходит так называемая Стена Мира, объективно возникшая в результате действия законов жизни. В центре мира находится двухъярусная кормушка-поилка, вокруг которой издавна существует наша цивилизация. Положение члена социума относительно кормушки-поилки определяется его общественной значимостью и заслугами...

— Вот этого я раньше не слышал, — перебил Затворник. — Что это такое — заслуги? И общественная значимость?

— Ну... Как сказать... Это когда кто-то попадает к самой кормушке-поилке.

— А кто к ней попадает?

— Я же говорю, тот, у кого большие заслуги. Или общественная значимость. У меня, например, раньше были так себе заслуги, а теперь вообще никаких. Да ты что, народную модель вселенной не знаешь?

— Не знаю, — сказал Затворник.

— Да ты что?.. А как же ты к решительному этапу готовился?

— Потом расскажу. Давай дальше.

— А уже почти все. Чего там еще-то... За областью социума находится великая пустыня, а кончается всё Стеной Мира. Возле нее ютятся отщепенцы вроде нас.

— Понятно. А бревно откуда взялось? В смысле, все остальные?

— Ну ты даешь... Этого тебе даже Двадцать Ближайших не скажут. Тайна веков.

— Ну-ну, хорошо. А что такое тайна веков?

— Закон жизни, — ответил Шестипалый, стараясь говорить мягко. Ему что-то не нравились в интонациях Затворника.

— Ладно. А что такое закон жизни?

— Это тайна веков.

— Тайна веков? — переспросил Затворник странно тонким голосом и медленно стал подходить к Шестипалому по дуге.

— Ты чего? Кончай! — испугался Шестипалый. — Это же твой ритуал!

Но Затворник и сам уже взял себя в руки.

— Ладно, — сказал он, — все ясно. Слезай.

Шестипалый слез с кочки, и Затворник с сосредоточенным и серьезным видом залез на его место. Некоторое

время он молчал, словно прислушиваясь к чему-то, а потом поднял голову и заговорил.

— Я пришел сюда из другого мира,— сказал он,— в дни, когда ты был еще совсем мал. А в тот, другой мир я пришел из третьего, и так далее. Всего я был в пяти мирах. Они такие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга. А вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. На языке богов она называется «Бройлерный комбинат имени Луначарского», но что это означает, неизвестно.

— Ты знаешь язык богов? — изумленно спросил Шестипалый.

— Немного. Не перебивай. Всего во вселенной есть семьдесят миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил. Так что это не они плывут над нами, а мы проплываем под ними. Попробуй представить себе это.

Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение.

— Нет, не могу,— наконец сказал он.

— Ладно,— сказал Затворник,— слушай дальше. Все семьдесят миров, которые есть во вселенной, называются Цепью Миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется Цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап и обновленный мир выходит с другой стороны Цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, проходит свой цикл и через положенный срок опять ввергается в Цех номер один.

— Откуда ты все это знаешь? — тихим голосом спросил Шестипалый.

— Я много путешествовал,— сказал Затворник,— и по крупицам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое.

— Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся?

— Знаю. А что про это говорят в вашем мире?

— Что это объективная данность. Закон жизни такой.

— Понятно. Ты спрашиваешь про одну из глубочайших тайн мироздания, и я даже не знаю, можно ли тебе

ее доверить. Но поскольку, кроме тебя, все равно некому, я, пожалуй, скажу. Мы появляемся на свет из белых шаров. На самом деле они не совсем шары, а несколько вытянуты, и один конец у них уже другого, но сейчас это не важно.

— Шары. Белые шары, — повторил Шестипалый и, как стоял, повалился на землю. Груз узнанного навалился на него физической тяжестью, и на секунду ему показалось, что он умрет. Затворник подскочил к нему и изо всех сил начал трясти. Постепенно к Шестипалому вернулась ясность сознания.

— Что с тобой? — испуганно спросил Затворник.

— Ой, я вспомнил. Точно. Раньше мы были белыми шарами и лежали на длинных полках. В этом месте было очень тепло и влажно. А потом мы стали изнутри ломать эти шары и... Откуда-то снизу подкатил наш мир, а потом мы уже были в нем... Но почему этого никто не помнит?

— Есть миры, в которых это помнят, — сказал Затворник. — Подумаешь, пятая и шестая перинатальные матрицы. Не так уж глубоко, и к тому же только часть истины. Но все равно — тех, кто это помнит, прячут подальше, чтобы они не мешали готовиться к решительному этапу, или как он там называется. Везде по-разному. У нас, например, назывался Завершением строительства, хотя никто ничего и не строил.

Видимо, воспоминание о своем мире повергло Затворника в печаль. Он замолчал.

— Слушай, — спросил через некоторое время Шестипалый, — а откуда берутся эти белые шары?

Затворник одобрительно поглядел на него.

— Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос, — сказал он. — Но здесь все намного сложнее. В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой...

— Из нас? Непонятно. Где ты это слышал?

— Да сам сочинил. Тут разве услышишь что-нибудь, — сказал Затворник с неожиданной тоской в голосе.

— Ты же сказал, что это древняя легенда.

— Правильно. Просто я ее сочинил как древнюю легенду.

— Как это? Зачем?

— Понимаешь, один древний мудрец, можно сказать — пророк (на этот раз Шестипалый догадался, о ком идет речь) сказал, что не так важно то, что сказано, как то, кем

сказано. Часть смысла того, что я хотел выразить, заключена в том, что мои слова выступают в качестве древней легенды. Впрочем, где тебе понять...

Затворник глянул на небо и перебил сам себя:

— Все. Пора идти.

— Куда?

— В социум.

Шестипалый вытаращил глаза:

— Мы же собирались лезть через Стену Мира. Зачем нам социум?

— А ты хоть знаешь, что такое социум? — спросил Затворник. — Это и есть приспособление для перелезания через Стену Мира.

3

Шестипалый, несмотря на полное отсутствие в пустыне предметов, за которыми можно было бы спрятаться, шел почему-то крадучись, и чем ближе становился социум, тем более преступной становилась его походка. Постепенно огромная толпа, казавшаяся издали огромным шевелящимся существом, распадалась на отдельные тела, и даже можно было разглядеть удивленные гримасы тех, кто замечал приближающихся.

— Главное, — шепотом повторял Затворник последнюю инструкцию, — веди себя наглее. Но не слишком нагло. Мы непременно должны их разозлить — но не до такой степени, чтоб нас разорвали в клочья. Короче, все время смотри, что буду делать я.

— Шестипалый приперся! — весело закричал кто-то впереди. — Здорово, сволочь! Эй, Шестипалый, кто это с тобой?

Этот бестолковый выкрик неожиданно — и совершенно непонятно почему — вызвал в Шестипалом целую волну ностальгических воспоминаний о детстве. Затворник, шедший чуть сзади, словно почувствовал это и пихнул Шестипалого в спину.

У самой границы социума народ стоял редко — тут жили в основном калеки и созерцатели, не любившие тесноты, — их нетрудно было обходить. Но чем дальше, тем плотнее стояла толпа, и уже очень скоро Затворник с Шестипалым оказались в невыносимой тесноте. Двигаться вперед было еще можно, но только переругиваясь со стоящими по бокам. А когда над головами тех, кто был впереди, показалась мелко трясущаяся крыша кормушки-поилки, уже ни шага вперед сделать было нельзя.

— Всегда поражался,— тихо сказал Шестипалому Затворник,— как здесь все мудро устроено. Те, кто стоит близко к кормушке-поилке, счастливы в основном потому, что все время помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы потому, что им есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство.

— А у нас так и говорят,— сказал кто-то сбоку (видно, Затворник все же говорил недостаточно тихо),— что народ един с умом эпохи.

— При чем тут ум эпохи? — спросил Затворник, не обращая внимания на яростные гримасы Шестипалого.

— Да это просто терминология,— ответил тот же голос.— Те, кто попадает в определенный радиус близости к кормушке-поилке, называются умом эпохи. Те, кто еще ближе,— честью эпохи. А те, кто совсем близко, становятся ее совестью.

— Представляю себе эпоху,— пробормотал Затворник.

— Что ж, не нравится? — спросил голос.

— Нет, не нравится,— ответил Затворник.

— А что конкретно не нравится?

— Да все.

И Затворник широким жестом обвел толпу вокруг, величественный купол кормушки-поилки, мерцающие желтыми огнями небеса и далекую, еле видную отсюда Стену Мира.

— Понятно. И где, по-вашему, лучше?

— В том-то и трагедия, что нигде! В том-то и дело! — страдальчески выкрикнул Затворник.— Было бы где лучше, неужели я бы с вами тут о жизни беседовал?

— И товарищ ваш — таких же взглядов? — спросил голос.— Чего он в землю-то смотрит?

Шестипалый поднял глаза — до этого он глядел себе под ноги, потому что это позволяло минимально участвовать в происходящем,— и увидел обладателя голоса. У того было обрюзгшее раскормленное лицо, и, когда он говорил, становились отчетливо видны анатомические подробности его гортани. Шестипалый сразу понял, что перед ним — один из Двадцати Ближайших, самая что ни на есть совесть эпохи. Видно, перед их приходом он проводил здесь разъяснения, как это иногда практиковалось.

— Это вы оттого такие невеселые, кореша,— неожиданно дружелюбно сказал тот,— что не готовитесь вместе со всеми к Решительному Этапу. Тогда у вас на эти мысли

времени бы не было. Мне самому такое иногда в голову приходит, что... И, знаете, работа спасает.

И на той же интонации добавил:

— Взять их.

По толпе прошло движение, и Затворник с Шестипалым оказались немедленно стиснутыми со всех четырех сторон.

— Да плевали мы на вас,— так же дружелюбно сказал Затворник.— Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять. Ну, прогоните еще раз. Через Стену Мира, как говорится, не перебросишь...

Тут на лице Затворника изобразилось смятение, а толстолицый высоко поднял веки — их глаза встретились.

— А ведь интересная задумка. Такого у нас еще не было. Конечно, есть такое выражение, но ведь воля народа сильнее пословицы.

Видимо, эта мысль восхитила его. Он повернулся и скомандовал:

— Внимание! Строимся! Сейчас у нас будет незапланированное мероприятие.

Прошло не так уж много времени между моментом, когда толстолицый скомандовал построение, и моментом, когда процессия, в центре которой вели Затворника и Шестипалого, приблизилась к Стене Мира.

Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел толстолицый; за ним — двое назначенных старушками-матерями (никто, включая толстолицего, не знал, что это такое,— просто была такая традиция), которые сквозь слезы выкрикивали обидные слова Затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно, затем вели самих преступников, и замыкала шествие толпа народной массы.

— Итак,— сказал толстолицый, когда процессия остановилась,— пришел пугающий миг воздаяния. Я думаю, братки, что все мы зажмуримся, когда два этих отщепенца исчезнут в небытии, не так ли? И пусть это волнующее событие послужит красивым уроком всем нам, народу. Громче рыдайте, матери!

Старушки-матери повалились на землю и заились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать; но, извиваясь в забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали Затворнику и Шестипалому неопровергимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад.

— Итак,— сказал через некоторое время толстолицый,— раскаялись ли вы? Устыдили ли вас слезы матерей?

— Еще бы,— ответил Затворник, озабоченно наблюдавший то за церемонией, то за какими-то небесными телами,— а как вы нас перебрасывать хотите?

Толстолицый задумался. Старушки-матери тоже замолчали, потом одна из них поднялась из пыли, отряхнулась и сказала:

— Насыпь?

— Насыпь,— сказал Затворник,— это затмений пять займет. А нам уже давно не терпится спрятать наш разоблаченный позор в пустоте.

Толстолицый, лукаво прищурившись, глянул на Затворника и одобрительно кивнул.

— Понимают,— сказал он кому-то из своих,— только притворяются. Спроси, может, они сами что предложат?

Через несколько минут почти до самого края Стены Мира поднялась живая пирамида. Те, кто стоял наверху, жмурились и прятали лица, чтобы, не дай Бог, не заглянуть туда, где все кончается.

— Наверх,— скомандовал кто-то Затворнику и Шестипалому, и они, поддерживая друг друга, пошли по шаткой веренице плеч и спин к терявшемуся в высоте краю стены.

С высоты был виден весь притихший социум, внимательно следивший издали за происходящим, были видны некоторые незаметные до этого детали неба и толстый шланг, спускавшийся к кормушке-поилке из бесконечности,— отсюда он казался не таким уж и величественным, как с земли. Легко, будто на кочку, вспрыгнув на край Стены Мира, Затворник помог Шестипалому сесть рядом и закричал вниз:

— Порядок!

От его крика кто-то в живой пирамиде потерял равновесие, она несколько раз покачнулась и развалилась — все попадали вниз, под основание стены, но никто, слава Богу, не пострадал.

Вцепившись в холодную жесть борта, Шестипалый вглядывался в крохотные задранные лица, в серо-коричневые пространства своей родины; глядел на тот ее угол, где на Стене Мира было большое зеленое пятно и где прошло его детство. «Я больше никогда этого не увижу»,— думал он, и хоть особого желания увидеть все это когда-нибудь еще у него не было, горло все равно сводило. Он прижал к боку маленький кусочек земли с прилипшей

соломинкой и размышлял о том, как быстро и необратимо меняется все в его жизни.

— Прощайте, сынки родимые! — закричали снизу ста-рушки-матери, земно поклонившись, и принялись, рыдая, швырять вверх тяжелые куски торфа.

Затворник приподнялся на цыпочки и громко закричал:

Знал я всегда,
что покину
этот безжалостный мир...

Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыря руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз оглядел все оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой толпы прощально машет ему, — тогда он помахал в ответ. Потом он зажмурился и шагнул назад.

Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и открыл глаза. Он лежал на черной блестящей поверхности из незнакомого материала; вверх уходила Стена Мира — точно такая же, как если смотреть на нее с той стороны, а рядом с ним, вытянув руку к стене, стоял Затворник. Он договаривал свое стихотворение:

Но что так это будет,
не думал...

Потом он повернулся к Шестипалому и коротким жестом велел ему встать на ноги.

4

Теперь, когда они шли по гигантской черной ленте, Шестипалый видел, что Затворник сказал ему правду. Действительно, мир, который они покинули, медленно двигался вместе с этой лентой относительно других неподвижных космических объектов, природы которых Шестипалый не понимал, а светила были неподвижными — стоило сойти с черной ленты, и все стало ясно. Сейчас оставленный ими мир медленно подъезжал к зеленым стальным воротам, под которые уходила лента. Затворник сказал, что это и есть вход в Цех номер один. Странно, но Шестипалый совершенно не был поражен величием заполняющих вселенную объектов — наоборот, в нем скорее проснулось чувство легкого раздражения. «И это все?» — брезгливо думал он. Вдали были видны два мира, подобных тому, который они

оставили,— они тоже двигались вместе с черной лентой и выглядели отсюда довольно убого. Сначала Шестипалый думал, что они с Затворником направляются к другому миру, но на полпути Затворник вдруг велел ему прыгать с неподвижного бордюра вдоль ленты, по которому они шли, вниз, в темную бездонную щель.

— Там мягко,— сказал он Шестипалому, но тот шагнул назад и отрицательно покачал головой. Тогда Затворник молча прыгнул вниз, и Шестипалому ничего не оставалось, как последовать за ним.

На этот раз он чуть не расшибся о холодную каменную поверхность, выложенную большими коричневыми плитами,— они тянулись до горизонта, и выглядело все это очень красиво.

— Что это? — спросил Шестипалый.

— Кафель,— ответил Затворник непонятным словом и сменил тему.— Скоро начнется ночь,— сказал он,— а нам надо дойти вон до тех мест. Часть дороги придется пройти в темноте.

Затворник выглядел всерьез озабоченным. Шестипалый поглядел в указанном направлении и увидел далекие кубические скалы нежно-желтого цвета (Затворник сказал, что они называются «ящики») — их было очень много, и между ними виднелись пустые пространства, усыпанные горами светлой стружки,— издали все это походило на пейзаж из счастливого детского сна.

— Пошли,— сказал Затворник и быстрым шагом двинулся вперед.

— Слушай,— спросил Шестипалый, скользя по кафелю рядом,— а как ты узнаешь, когда наступит ночь?

— По часам,— ответил Затворник.— Это одно из небесных тел. Сейчас оно справа и вверху — вон тот диск с черными зигзагами.

Шестипалый посмотрел на довольно знакомую, хоть и не привлекавшую никогда его особого внимания деталь небесного свода.

— Когда часть этих черных линий приходит в особое положение, о котором я расскажу тебе как-нибудь потом, свет гаснет,— сказал Затворник.— Это случится вот-вот. Считай до десяти.

— Раз, два,— начал Шестипалый, и вдруг стало темно.

— Не отставай от меня,— сказал Затворник,— потеряешься.

Он мог бы этого не говорить — Шестипалый чуть не наступал ему на пятки. Единственным источником света во

вселенной остался косой желтый луч, падавший из-под зеленых ворот Цеха номер один. Место, куда направлялись Затворник с Шестипалым, находилось совсем недалеко от этих ворот, но, по уверениям Затворника, было самым безопасным.

Видно осталось только далекую желтую полосу под воротами да несколько плит вокруг. Шестипалый впал в странное состояние. Ему стало казаться, что темнота сжимает их с Затворником так же, как недавно сжимала толпа. Отовсюду исходила опасность, и Шестипалый ощущал ее всей своей кожей как дующий со всех сторон одновременно сквозняк. Когда становилось совсем невмоготу от страха, он поднимал взгляд с наплывающих кафельных плит на яркую тонкую полоску света впереди, и тогда вспоминался социум, который издалека выглядел почти так же. Ему представлялось, что они идут в царство каких-то огненных духов, и он уже собирался сказать об этом Затворнику, когда тот вдруг остановился и поднял руку.

— Тихо,— сказал он,— крысы. Справа от нас.

Бежать было некуда — вокруг во все стороны простипалось одинаковое кафельное пространство, а полоса впереди была еще слишком далеко. Затворник повернулся вправо и принял странную позу, велев Шестипалому спрятаться за его спиной, что тот и выполнил с удивительной скоростью и охотой.

Сначала он ничего не замечал, а потом ощутил скорее, чем увидел, движение большого быстрого тела в темноте. Оно остановилось точно на границе видимости.

— Она ждет,— тихо сказал Затворник,— как мы поступим дальше. Стоит нам сделать хоть шаг, и она кинется на нас.

— Ага, кинусь,— сказала крыса, выходя из темноты.— Как комок зла и ярости. Как истинное порождение ночи.

— Ух,— вздохнул Затворник,— Одноглазка. А я уж думал, что мы правда влипли. Знакомьтесь.

Шестипалый недоверчиво поглядел на умную коницескую морду с длинными усами и двумя черными бусинками глаз.

— Одноглазка,— сказала крыса и вильнула неприлично голым хвостом.

— Шестипалый,— представился Шестипалый и спросил: — А почему ты Одноглазка, если у тебя оба глаза в порядке?

— А у меня третий глаз раскрыт,— сказала Одноглаз-

ка,— а он один. В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые.

— А что такое...— начал Шестипалый, но Затворник не дал ему договорить.

— Не пройтись ли нам,— галантно предложил он Одноглазке,— вон до тех ящиков? Ночная дорога скучна, если рядом нет собеседника.

Шестипалый очень обиделся.

— Пойдем,— согласилась Одноглазка и, повернувшись к Шестипалому боком (только теперь он разглядел ее огромное мускулистое тело), затрусила рядом с Затворником, которому, чтобы поспеть, приходилось идти очень быстро. Шестипалый бежал сзади, поглядывая на лапы Одноглазки и перекатывающиеся под ее шкурой мышцы, думал о том, чем могла бы закончиться эта встреча, не окажись Одноглазка знакомой Затворника, и изо всех сил старался не наступить ей на хвост. Судя по тому, как быстро их беседа стала походить на продолжение какого-то давнего разговора, они были старыми приятелями.

— Свобода? Господи, да что это такое? — спрашивала Одноглазка и смеялась.— Это когда ты в смятении и одиночестве бегаешь по всему комбинату, в десятый или в какой там уже раз увернувшись от ножа? Это и есть свобода?

— Ты опять все подменяешь,— отвечал Затворник.— Это только поиски свободы. Я никогда не соглашусь с той инфернальной картиной мира, в которую ты веришь. Наверное, это у тебя оттого, что ты чувствуешь себя чужой в этой вселенной, созданной для нас.

— А крысы верят, что она создана для нас. Я это не к тому, что я согласна с ними. Прав, конечно, ты, но только не до конца и не в самом главном. Ты говоришь, что эта вселенная создана для вас? Нет, она создана из-за вас, но не для вас. Понимаешь?

Затворник опустил голову и некоторое время шел молча.

— Ладно,— сказала Одноглазка.— Я ведь попрощаться. Правда, думала, что ты появишься чуть позже — но все-таки встретились. Завтра я ухожу.

— Куда?

— За границы всего, о чем только можно говорить. Одна из старых нор вывела меня в пустую бетонную трубу, которая уходит так далеко, что об этом даже трудно подумать. Я встретила там несколько крыс — они говорят,

что эта труба уходит все глубже и глубже, и там, далеко внизу, выводит в другую вселенную, где живут только самцы богов в одинаковой зеленой одежде. Они совершают сложные манипуляции вокруг огромных идолов, стоящих в гигантских шахтах.

Одноглазка притормозила.

— Отсюда мне направо,— сказала она.— Так вот, еда там такая — не расскажешь. А вся эта вселенная могла бы поместиться в одной тамошней шахте. Слушай, а хочешь со мной?

— Нет,— ответил Затворник,— вниз — это не наш путь.

Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалом.

— Ну что ж,— сказала Одноглазка,— тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоем пути, каким бы он ни был. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю.

— Я тоже очень тебя люблю, Одноглазка,— сказал Затворник,— и надеюсь, что мысль о тебе поддержит меня. Удачи тебе.

— Прощай,— сказала Одноглазка, кивнула Шестипалому и исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появилась.

Остаток пути Затворник и Шестипалый прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и наконец достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот Цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом, у стены, возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую Затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и Шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как завернувшись в тряпки, он забылся.

Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к Затворнику.

— Что это?

— Твой мир проходит через Решительный Этап,— ответил Затворник.

— ???

— Смерть пришла,— просто сказал Затворник, отвернулся, натянул на себя тряпку и уснул.

Проснувшись, Затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалого, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук десять одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы.

— Гляди,— сказал он Шестипалому.

— Что это? — спросил тот.

— Боги называют их гайками.

Шестипалый собирался было спросить что-то еще, но вдруг махнул рукой и опять заревел.

— Да что с тобой? — спросил Затворник.

— Все умерли,— бормотал Шестипалый,— все-все...

— Ну и что,— сказал Затворник.— Ты тоже умрешь.

И уж уверяю тебя, что ты и они будете мертвыми в течение одинакового срока.

— Все равно жалко.

— Кого именно? Старушку-мать, что ли? Или этого, из Двадцати Ближайших?

— Помнишь, как нас сбрасывали со стены? — спросил Шестипалый.— Всем было велено зажмуриться. А я помахал им рукой, и тогда кто-то помахал мне в ответ. И вот когда я думаю, что он тоже умер... И что вместе с ним умерло то, что заставляло его так поступить...

— Да,— улыбаясь, сказал Затворник,— это действительно очень печально.

И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалого.

— Слушай,— спросил, наплакавшись, Шестипалый,— а что бывает после смерти?

— Трудно сказать,— ответил Затворник.— У меня было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться.

— Расскажи, а?

— После смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше пятидесяти разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородах. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар добела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастриолях. А иногда, наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного.

— А кто это делает, а?

— Как кто? Боги.

— Зачем им это?

— Видишь ли, мы являемся их пищей.

Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки.

— Больше всего они любят именно ноги,— заметил Затворник. — Ну, и руки тоже. Именно о руках я с тобой и собираюсь поговорить. Подними их.

Шестипалый вытянул перед собой руки — тонкие, бессильные, они выглядели жалко.

— Когда-то они служили нам для полета,— сказал Затворник, — но потом все изменилось.

— А что такое полет?

— Точно этого не знает никто. Единственное, что известно,— это то, что надо иметь сильные руки. Гораздо сильнее, чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки.

Шестипалый с трудом подтащил два тяжеленных предмета к ногам Затворника.

— Вот так. Теперь просунь концы рук в отверстия.

Шестипалый сделал и это.

— А теперь поднимай и опускай руки вверх-вниз... Вот так.

Через минуту Шестипалый устал до такой степени, что не мог сделать больше ни одного маха, как ни старался.

— Все,— сказал он, опустил руки, и гайки повалились на пол.

— Теперь посмотри, как делаю я,— сказал Затворник и надел на каждую руку по пять гаек. Несколько минут он продержал руки разведенными в стороны и, казалось, совершенно не устал.

— Ну как?

— Здорово,— выдохнул Шестипалый.— А почему ты держишь их неподвижно?

— С какого-то момента в этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду,— ответил Затворник.

— А ты уверен, что так можно научиться летать?

— Нет. Не уверен. Наоборот, я подозреваю, что это бесполезное занятие.

— А зачем тогда оно нужно? Если ты сам знаешь, что это бесполезно?

— Как тебе сказать. Потому что кроме этого я знаю еще много других вещей, и одна из них вот какая — если

ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему вместо того, чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Может, это действительно не имеет смысла. Но просто сидеть в темноте не имеет смысла в любом случае. Понимаешь, в чем разница?

Шестипалый промолчал.

— Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда,— сказал Затворник.— А если ты ее потерял, ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то может измениться. Но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо.

Шестипалый почувствовал некоторое раздражение.

— Все это замечательно,— сказал он,— но что это значит реально?

— Реально для тебя это значит, что ты каждый день будешь заниматься с этими гайками, пока не будешь делать так же, как я. А для меня это значит, что я буду следить за тобой так, будто для меня твои успехи и правда важны.

— Неужели нет какого-нибудь другого занятия? — спросил Шестипалый.

— Есть,— ответил Затворник.— Можно готовиться к Решительному Этапу. Но в этом случае тебе придется действовать одному.

6

— Слушай, Затворник, ты все знаешь — что такое любовь?

— Интересно, где ты услыхал это слово? — спросил Затворник.

— Да когда меня выгоняли из социума, кто-то спросил, люблю ли я что положено. Я сказал, что не знаю. И потом, Одноглазка сказала, что очень тебя любит, а ты — что любишь ее.

— Понятно. Знаешь, я тебе вряд ли объясню. Это можно только на примере. Вот представь себе, что ты упал в бочку с водой и тонешь. Представил?

— Угу.

— А теперь представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так вот, если считать, что всю жизнь тонешь — а так это и есть,— то любовь — это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.

— Это ты про любовь к тому, что положено?

— Не важно. Хотя, в общем, то, что положено, можно любить и под водой. Что угодно. Какая разница, за что хвататься,— лишь бы это выдержало. Хуже всего, если это кто-то другой,— он, видишь ли, всегда может отдернуть руку. А если сказать коротко, любовь — это то, из-за чего каждый находится там, где он находится. Исключая, пожалуй, мертвых... Хотя...

— По-моему, я никогда ничего не любил,— перебил Шестипалый.

— Нет, с тобой это тоже случалось. Помнишь, как ты проревел полдня, думая о том, кто помахал тебе в ответ, когда нас сбрасывали со стены? Вот это и была любовь. Ты ведь не знаешь, почему он это сделал. Может, он считал, что издевается над тобой куда тоньше других. Мне лично кажется, что так оно и было. Так что ты вел себя очень глупо, но совершенно правильно. Любовь придает смысл тому, что мы делаем, хотя на самом деле его нет.

— Так что, любовь нас обманывает? Это что-то вроде сна?

— Нет. Любовь — это что-то вроде любви, а сон — это сон. Все, что ты делаешь, ты делаешь только из-за любви. Иначе ты просто сидел бы на земле и выл от ужаса. Или отвращения.

— Но ведь многие делают то, что делают, совсем не из-за любви.

— Брось. Они ничего не делают.

— А ты что-нибудь любишь, Затворник?

— Люблю.

— А что?

— Не знаю. Что-то такое, что иногда приходит ко мне. Иногда это какая-нибудь мысль, иногда гайки, иногда ветер. Главное, что я всегда узнаю это, как бы оно ни наряжалось, и встречаю его тем лучшим, что во мне есть.

— Чем?

— Тем, что становлюсь спокойен.

— А все остальное время ты беспокоишься?

— Нет. Я всегда спокоен. Просто это лучшее, что во мне есть, и, когда то, что я люблю, приходит ко мне, я встречаю его своим спокойствием.

— А как ты думаешь, что лучшее во мне?

— В тебе? Пожалуй, это когда ты молчишь где-нибудь в углу и тебя не видно.

— Правда?

— Не знаю. Если серьезно, ты можешь узнать, что лучшее в тебе, по тому, чем ты встречаешь то, что

полюбил. Что ты чувствовал, думая о том, кто по-махал тебе рукой?

— Печаль.

— Ну вот, значит, лучшее в тебе — твоя печаль, и ты всегда будешь встречать ею то, что любишь.

Затворник оглянулся и к чему-то прислушался.

— Хочешь на богов поглядеть? — неожиданно спросил он.

— Только, пожалуйста, не сейчас, — испуганно ответил Шестипалый.

— Не бойся. Они тупые. Ну гляди же, вон они.

По проходу мимо конвейера быстро шли два огромных существа — они были так велики, что их головы терялись в полумраке где-то под потолком. За ними шагало еще одно похожее существо, только пониже и потолще, — оно несло в руке сосуд в виде усеченного конуса, обращенного узкой частью к земле. Двое первых остановились недалеко от того места, где сидели Затворник с Шестипалым, и стали издавать низкие рокочущие звуки («Говорят», — додумался Шестипалый), а третье существо подошло к стене, поставило сосуд на пол, обмакнуло туда шест с щетиной на конце и провело по грязно-серой стене свежую грязно-серую линию. Запахло чем-то странным.

— Слушай, — еле слышно прошептал Шестипалый, — а ты говорил, что ты знаешь их язык. Что они говорят?

— Эти двое? Сейчас. Первый говорит: «Я выжрать хочу». А второй говорит: «Ты больше к Дуньке не подходи».

— А что такое Дунька?

— Область мира такая.

— А... А что первый хочет выжрать?

— Дуньку, естественно, — подумав, ответил Затворник.

— А как он выжрет область мира?

— На то они и боги.

— А эта, толстая, что она говорит?

— Она не говорит, а поет. О том, что после смерти хочет стать ивою. Моя любимая божественная песня, кстати. Как-нибудь я тебе ее спою. Жаль только, я не знаю, что такое ива.

— А разве боги умирают?

— Еще бы. Это их основное занятие.

Двое пошли дальше. «Какое величие!» — потрясенно подумал Шестипалый. Тяжелые шаги богов и их низкие голоса стихли; наступила тишина. Сквозняк крутил пыль над кафельными плитами пола, и Шестипалому казалось,

что он смотрит с невообразимо высокой горы на раскинувшуюся внизу странную каменную пустыню, над которой миллионы лет происходит одно и то же: несется ветер, и в нем летят остатки чьих-то жизней, выглядящие издалека соломинками, бумажками, щепками или еще как-то. «Когда-нибудь,— думал Шестипалый,— кто-то другой будет смотреть отсюда вниз и подумает обо мне, не зная сам, что думает обо мне. Так же, как я сейчас думаю о ком-то, кто чувствовал то же самое, что я Бог весть когда. В каждом дне есть точка, которая скрепляет его с прошлым и будущим. До чего же печален этот мир...»

— Но в нем есть что-то такое, что оправдывает самую грустную жизнь,— сказал вдруг Затворник.

«Стать бы после сме-е-е-рти и-и-вою»,— протяжно и тихо пела толстая богиня у ведра с краской; Шестипалый, положив голову на локоть, испытывал печаль, а Затворник был совершенно спокоен и глядел в пустоту, словно поверх тысяч невидимых голов.

7

За то время, пока Шестипалый занимался с гайками, целых десять миров ушло в Цех номер один. Что-то скрипело и постукивало за зелеными воротами, что-то происходило там, и Шестипалый, только подумав об этом, покрывался холодным потом и начинал трястись,— но именно это и придавало ему силы. Его руки заметно удлинились и усилились — теперь они были такими же, как у Затворника. Но пока это ни к чему не привело. Единственное, что знал Затворник,— это то, что полет осуществляется с помощью рук, а что он собой представляет, было неясно. Затворник считал, что это особый способ мгновенного перемещения в пространстве, при котором нужно представить себе то место, куда хочешь попасть, а потом дать рукам мысленную команду перенести туда все тело. Целые дни он проводил в созерцании, пытаясь перенестись хоть на несколько шагов, но ничего не выходило.

— Наверно,— говорил он Шестипалому,— наши руки еще недостаточно сильны. Надо продолжать.

Однажды, когда Затворник и Шестипалый, сидя в куче тряпок между ящиками, вглядывались в сущность вещей, случилось крайне неприятное событие. Вокруг стало чуть темнее, и когда Шестипалый открыл глаза, перед ним маячило огромное небритое лицо какого-то бога.

— Ишь, куда забрались,— сказало оно, а затем ог-

ромные грязные руки схватили Затворника и Шестипалого, вытащили из-за ящиков, с невероятной скоростью перенесли через огромное пространство и бросили в один из миров, уже не очень далеких от Цеха номер один. Сначала Затворник и Шестипалый отнеслись к этому спокойно и даже с некоторой иронией — они устроились возле Стены Мира и принялись готовить себе убежища души, — но бог вдруг вернулся, вытащил Шестипалого, поглядел на него внимательно, удивленно чмокнул губами, а потом обмотал ему лапку куском липкой синей ленты и кинул его обратно. Через несколько минут подошло сразу несколько богов — они достали Шестипалого и принялись его рассматривать по очереди, издавая возгласы восторга.

— Не нравится мне это, — сказал Затворник, когда боги наконец вернули Шестипалого на место и ушли, — плохо дело.

— По-моему, тоже, — ответил перепуганный Шестипалый. — Может, лучше снять эту дрянь?

И он показал на синюю ленту, обмотанную вокруг его ноги.

— Лучше пока не снимай, — сказал Затворник.

Некоторое время они мрачно молчали, а потом Шестипалый сказал:

— Это все из-за шести пальцев. Ну, убежим мы отсюда — так ведь они нас теперь искать будут. Про ящики они знают. А где-нибудь еще можно спрятаться?

Затворник помрачнел еще больше, а потом вместо ответа предложил сходить в здешний социум, чтобы развеяться.

Но оказалось, что со стороны далекой кормушки-полки к ним уже движется целая депутация. Судя по тому, что, не дойдя шагов двадцать до Затворника и Шестипалого, идущие им навстречу повалились наземь и дальше стали двигаться ползком, у них были серьезные намерения. Затворник велел Шестипалому отойти назад и пошел выяснить, в чем дело. Вернувшись, он сказал:

— Такого я действительно никогда не видел. У них тут, видимо, религиозная община. Во всяком случае, они видели, как ты общашься с богами, и теперь считают тебя пророком, а меня — твоим учеником или чем-то вроде этого.

— Ну и что теперь будет? Чего они хотят?

— Зовут к себе. Говорят, какая-то стезя выпрямлена, что-то увито и так далее. Я ничего не понял, но, думаю, пойти стоит.

— Пошли, — безразлично пожал плечами Шестипалый. Его томили мрачные предчувствия.

По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести Затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел не то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты.

По прибытии Шестипалого усадили на высокую горку соломы, а Затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними первосвященниками, которых было около двадцати, — их легко было узнать по обрюзгшим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон Затворника, что, впрочем, выглядело для паства вполне естественно.

Выяснилось, что все уже давно ждали прихода мессии, потому что приближающийся Решительный Этап, называвшийся здесь Великим Судом, уже давно волновал народные умы, а первосвященники настолько разъелись и обленились, что на все обращенные к ним вопросы отвечали коротким кивком в направлении неба. Так что появление Шестипалого с учеником оказалось очень кстати.

— Ждут проповеди, — сообщил Затворник.

— Ну так наплели им что-нибудь, — буркнул Шестипалый. — Я ведь дурак дураком, сам знаешь.

На слове «дурак» голос у него задрожал, и вообще было видно, что он вот-вот заплачет.

— Они меня съедят, боги эти, — сказал он. — Я чувствую.

— Ну-ну. Успокойся, — сказал Затворник, повернулся к толпе у горки и принял молитвенную позу: задрал кверху голову и воздел руки. — Эй, вы! — закричал он. — Скоро все в ад пойдете. Вас там зажарят, а самых грешных перед этим замаринуют в уксусе.

Над социумом пронесся вздох ужаса.

— Я же, по воле богов и их посланца, моего господина, хочу научить вас, как спастись. Для этого надо победить грех. А вы хоть знаете, что такое грех?

Ответом было молчание.

— Грех — это избыточный вес. Греховна ваша плоть, ибо именно из-за нее вас поражают боги. Подумайте, что приближает Р... Великий Суд? Да именно то, что вы обрастаете жиром. Ибо худые спасутся, а толстые нет. Истинно так: ни один костлявый и синий не будет ввергнут в пламя, а толстые и розовые будут там все. Но те, кто

будет отныне и до Великого Суда поститься, обретут вторую жизнь. Ей, Господи! А теперь встаньте и больше не грешите.

Но никто не встал — все лежали на земле и молча глядели — кто на размахивающего руками Затворника, кто в пучину неба. Многие плакали. Пожалуй, речь Затворника не понравилась только первосвященникам.

— Зачем ты так, — шепнул Шестипалый, когда Затворник опустился на солому, — они же тебе верят.

— А я что, вру? — ответил Затворник. — Если они сильно похудеют, их отправят на второй цикл откорма. А потом, может, и на третий. Да Бог с ними, давай лучше думать о своих делах.

8

Затворник часто говорил с народом, обучая, как придавать себе наиболее неаппетитный вид, а Шестипалый большую часть времени сидел на своей соломенной горке и размышлял о природе полета. Он почти не участвовал в беседах с народом и только иногда рассеянно благословлял подползавших к нему мирян. Бывшие первосвященники, которые совершенно не собирались худеть, глядели на него с ненавистью, но ничего не могли поделать, потому что все новые и новые боги подходили к миру, вытаскивали Шестипалого, разглядывали его и показывали друг другу. Один раз среди них оказался даже сопровождаемый большой свитой обрюзгший седенький старичок, к которому остальные боги относились с крайним почтением. Старичок взял его на руки, и Шестипалый злобно нагадил ему прямо на холодную трясущуюся ладонь, после чего был довольно грубо водворен на место.

А по ночам, когда все засыпали, он с Затворником продолжали отчаянно тренировать свои руки — чем меньше они верили в то, что это к чему-нибудь приведет, тем яростней становились их усилия. Руки у них выросли до такой степени, что заниматься с железками, на которые Затворник разобрал кормушку-поилку (в социуме все постились и выглядели уже почти прозрачными), больше не было никакой возможности, — стоило чуть взмахнуть руками, как ноги отрывались от земли, и приходилось прекращать упражнение. Это было той самой сложностью, о которой Затворник в свое время предупреждал Шестипалого, но ее удалось обойти — Затворник знал, как укреплять мышцы статическими упражнениями, и научил

этому Шестипалого. Зеленые ворота уже виднелись за Стеной Мира, и, по подсчетам Затворника, до Великого Суда остался всего десяток затмений. Боги не особенно пугали Шестипалого — он успел привыкнуть к их постоянному вниманию и воспринимал его с брезгливой покорностью. Его душевное состояние пришло в норму, и он, чтобы хоть как-то развлечься, начал выступать с малопонятными темными проповедями, которые буквально потрясали паству. Однажды он вспомнил рассказ Одноглазки о подземной вселенной и в порыве вдохновения описал приготовление супа для ста шестидесяти демонов в зеленых одеждах в таких мельчайших подробностях, что под конец не только сам перепугался до одури, но и сильно напугал Затворника, который в начале его речи только хмыкал. Многие из паствы заучили эту проповедь наизусть, и она получила название «Откровения Синей Ленточки» — таково было сакральное имя Шестипалого. После этого даже бывшие первосвященники бросили есть и целыми часами бегали вокруг полуразобранной кормушки-поилки, стремясь избавиться от жира.

Поскольку и Затворник и Шестипалый ели каждый за двоих, Затворнику пришлось сочинить специальный догмат о непогрешимости, который быстро пресек разные разговоры шепотом.

Но если Шестипалый после пережитого потрясения быстро вошел в норму, то с Затворником начало твориться что-то неладное. Казалось, депрессия Шестипалого перешла к нему, и с каждым часом он становился все замкнутей. Однажды он сказал Шестипалому:

— Знаешь, если у нас ничего не выйдет, я поеду вместе со всеми в Цех номер один.

Шестипалый открыл было рот, но Затворник остановил его:

— А поскольку у нас наверняка ничего не выйдет, это можно считать решенным.

Шестипалый вдруг понял: то, что он только что собирался сказать, было совершенно лишним. Он не мог переменить чужого решения, а мог только выразить свою привязанность к Затворнику — что бы он ни сказал, смысл был бы именно таким. Раньше он наверняка не удержался бы от массы ненужной болтовни, но за последнее время что-то в нем изменилось. И в ответ он просто кивнул головой, отошел в сторону и погрузился в размышления. Вскоре он вернулся и сказал:

— Я тоже поеду вместе с тобой.

— Нет,— сказал Затворник,— ты ни в коем случае не должен этого делать. Ты теперь знаешь почти все, что знаю я. И ты обязательно должен осться жить и найти себе ученика. Может быть, хотя бы он приблизится к умению летать.

— Ты хочешь, чтобы я остался один? — раздраженно спросил Шестипалый.— С этим быдлом?

И он показал на простершуюся на земле при начале беседы пророков паству: одинаковые дрожащие изможденные тела закрывали собой почти все видимое пространство.

— Они не быдло,— сказал Затворник,— они больше походят на детей.

— На умственно отсталых детей,— добавил Шестипалый.— К тому же с массой врожденных пороков.

Затворник с ухмылкой поглядел на его ноги.

— Интересно, а ты помнишь, каким был ты сам до нашей встречи?

Шестипалый задумался и смущился.

— Нет,— наконец сказал он,— не помню. Честное слово, не помню.

— Ладно,— сказал Затворник,— поступай как знаешь. На этом разговор прекратился.

Дни, оставшиеся до конца, летели быстро. Однажды утром, когда паства только еще продирала глаза, Затворник и Шестипалый заметили, что зеленые ворота, еще вчера казавшиеся такими далекими, нависают над самой Стеной Мира. Они переглянулись, и Затворник сказал:

— Сегодня мы сделаем нашу последнюю попытку. Последнюю потому, что завтра ее уже некому будет делать. Наши руки так разрослись, что мы не можем даже помахать ими в воздухе — нас сбивает с ног. Поэтому сейчас мы отправимся к Стене Мира, чтобы нам не мешал этот гомон, а оттуда попробуем перенестись на купол кормушки-поилки. Если нам это не удастся, тогда попрощаемся с миром.

— Как это делается? — по привычке спросил Шестипалый.

Затворник с удивлением поглядел на него.

— Откуда я знаю, как это делается,— сказал он.

Пастве было сказано, что пророки идут общаться с богами. Скоро Затворник и Шестипалый были уже возле Стены Мира, где уселись, прислоняясь к ней спиной.

— Помни,— сказал Затворник,— надо представить себе, что ты уже там, и тогда...

Шестипалый закрыл глаза, сосредоточил все свое вни-

мание на руках и стал думать о резиновом шланге, подхodившем к крыше кормушки-поилки. Постепенно он вошел в транс, и у него появилось четкое ощущение, что этот шланг находится совсем рядом с ним — на расстоянии вытянутой руки. Раньше, представив себе, что он уже попал туда, куда хотел перелететь, Шестипалый спешил открыть глаза, и всегда оказывалось, что он сидит там же, где сидел. Но сегодня он решил попробовать нечто новое. «Если медленно сводить руки, — подумал он, — так, чтобы шланг оказался между ними, что тогда?» Осторожно, стараясь сохранить достигнутую уверенность, что шланг совсем рядом, он стал сближать руки. И когда они, сойдясь в месте, где перед этим была пустота, коснулись шланга, он не выдержал и изо всех сил завопил:

— Есть! — и открыл глаза.

— Тише, дурак, — сказал стоящий перед ним Затворник, чью ногу он сжимал. — Смотри.

Шестипалый вскочил на ноги и обернулся. Ворота Цеха номер один были раскрыты, и их створки медленно проплывали по бокам и сверху.

— Приехали, — сказал Затворник. — Пошли назад.

На обратном пути они не сказали ни слова. Лента транспортера двигалась с той же скоростью, с какой шли Затворник и Шестипалый, только в другую сторону, и поэтому всю дорогу вход в Цех номер один был там, где они находились. А когда они дошли до своих почетных мест возле кормушки-поилки, транспортер накрыл их и поплыл дальше.

Затворник подозвал к себе кого-то из паствы.

— Слушай, — сказал он. — Только спокойно! Иди и скажи остальным, что наступил Великий Суд. Видишь, как потемнело небо.

— А что теперь делать? — спросил тот с надеждой.

— Всем сесть на землю и сделать вот так, — сказал Затворник и закрыл руками глаза. — И не подглядывать, иначе мы ни за что не ручаемся. И чтоб тихо.

Сперва все-таки поднялся гомон. Но он быстро стих — все уселись на землю и сделали так, как велел Затворник.

— Ну что, — сказал Шестипалый, — давай прощаться с миром?

— Давай, — ответил Затворник, — ты первый.

Шестипалый встал, оглянулся по сторонам, вздохнул и сел на место.

— Все? — спросил Затворник.

Шестипалый кивнул.

— Теперь я,— поднимаясь, сказал Затворник, задрал голову и закричал изо всех сил: — Мир! Прощай!

9

— Ишь, раскудахтался,— сказал громовой голос.— Который? Этот, что квохчет, что ли?

— Не,— ответил другой голос.— Рядом.

Над Стеной Мира возникло два огромных лица. Это были боги.

— Ну и дрянь,— сокрущенно заметило первое лицо.— Чего с ними делать, непонятно. Они и полудохлые все.

Над миром пронеслась огромная рука в белом, заляпанном кровью и прилипшим пухом рукаве и тронула кормушку-поилку.

— Семен, мать твою, ты куда смотришь? У них же кормушка сломана!

— Цела была,— ответил бас.— Я в начале месяца все проверял. Ну что, будем забивать?

— Нет, не будем. Давай включай конвейер, подгоняй другой контейнер, а здесь — чтобы завтра кормушку починил. Как они не передохли только...

— Ладно.

— А насчет этого, у которого шесть пальцев,— тебе обе лапки рубить?

— Давай обе.

— Я одну себе хотел.

Затворник повернулся к внимательно слушающему, но почти ничего не понимающему Шестипалому.

— Слушай,— прошептал он,— кажется, они хотят...

Но в этот момент огромная белая рука снова метнулась по небу и сгребла Шестипалого.

Шестипалый не разобрал, что хотел сказать Затворник. Ладонь обхватила его, оторвала от земли, потом перед ним мелькнула огромная грудь с торчащей из кармана авторучкой, ворот рубахи и, наконец, пара большущих выпуклых глаз, которые уставились на него в упор.

— Ишь, крылья-то. Как у орла! — сказал небывалых размеров рот, за которым желтели бугристые зубы.

Шестипалый давно привык находиться в руках у богов. Но сейчас от ладоней, которые его держали, исходила какая-то странная, пугающая вибрация. Из разговора он понял только, что речь идет не то о его руках, не то о ногах, а потом откуда-то снизу долетел сумасшедший крик Затворника:

— Шестипалый! Беги! Клюй его прямо в морду!

Первый раз за все время их знакомства в голосе Затворника звучало отчаяние. И Шестипалый испугался, до такой степени испугался, что все его действия приобрели сомнамбулическую безошибочность,— он изо всех сил клюнул вылупленный на него глаз и сразу стал с невероятной скоростью бить по потной морде бога руками с обеих сторон.

Раздался рев такой силы, что Шестипалый воспринял его не как звук, а как давление на всю поверхность своего тела. Ладони бога разжались, а в следующий момент Шестипалый заметил, что находится под потолком и, ни на что не опираясь, висит в воздухе. Сначала он не понял, в чем дело, а потом увидел, что по инерции продолжает махать руками и именно они удерживают его в пустоте. Отсюда было видно, что представляет собой Цех номер один: это был огороженный с двух сторон участок конвейера, возле которого стоял длинный, в красных и коричневых пятнах деревянный стол, усыпанный пухом и перьями, и лежали стопки прозрачных пакетов. Мир, где остался Затворник, выглядел просто большим восьмиугольным контейнером, заполненным множеством неподвижных крохотных тел. Шестипалый не видел Затворника, но был уверен, что тот видит его.

— Эй,— закричал он, кругами летая под самым потолком,— Затворник! Давай сюда! Маши руками как можно быстрей!

Внизу, в контейнере, что-то замелькало и, быстро вырастая в размерах, стало приближаться — и вот Затворник оказался рядом. Он сделал несколько кругов вслед за Шестипалым, а потом закричал:

— Садимся вон туда!

Когда Шестипалый подлетел к квадратному пятну мутного белесого света, пересеченному узким крестом, Затворник уже сидел на подоконнике.

— Стена,— сказал он, когда Шестипалый приземлился рядом,— светящаяся стена.

Затворник был внешне спокоен, но Шестипалый отлично знал его и видел, что тот немного не в себе от происходящего. С Шестипалым происходило то же самое. И вдруг его осенило.

— Слушай,— закричал он,— да ведь это и есть полет! Мы летали!

Затворник некоторое время глядел на него, а потом кивнул головой.

— Пожалуй,— сказал он.— Хоть это и слишком примитивно.

Между тем беспорядочное мелькание фигур внизу несколько успокоилось, и стало видно, что двое в белых халатах удерживают третьего, зажимающего лицо рукой.

— Сука! Он мне глаз выбил! Сука! — орал этот третий.

— Что такое сука? — спросил Шестипалый.

— Это способ обращения к одной из стихий,— ответил Затворник.— Собственного смысла это слово не имеет. Но нам сейчас, похоже, будет худо.

— А к какой стихии он обращается? — спросил Шестипалый.

— Сейчас увидим,— сказал Затворник.

Пока Затворник произносил эти слова, бог вырвался из удерживающих его рук, кинулся к стене, сорвал красный баллон огнетушителя и метнул его в сидящих на подоконнике — он это сделал так быстро, что никто не сумел ему помешать, а Затворник с Шестипалым еле успели взлететь в разные стороны. Раздался звон и грохот. Огнетушитель, пробив окно, исчез, и в помещение ворвалась волна свежего воздуха — только после этого выяснилось, как там воняло. Стало неправдоподобно светло.

— Летим! — заорал Затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость.— Живо! Вперед!

И, отлетев подальше от окна, он разогнался, сложил крылья и исчез в луче желтого горячего света, бившего из дыры в крашеном стекле, откуда дул ветер и доносились новые, незнакомые звуки.

Шестипалый, разгоняясь, понесся по кругу. Последний раз внизу мелькнул восьмиугольный контейнер, залитый кровью стол и размахивающие руками боги — сложив крылья, он со свистом пронесся сквозь дыру.

Сначала он на секунду ослеп — так ярок был свет. Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди и вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка — это был Затворник. Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом.

Шестипалый оглянулся — далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько закрашенных масляной краской окон. Одно из них было таких чистых, ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх.

Лететь было удивительно легко — сил на это уходило

не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами.

Шестипалый повернул голову к Затворнику.

— Куда? — прокричал он.

— На юг,— коротко ответил Затворник.

— А что это? — спросил Шестипалый.

— Не знаю,— ответил Затворник,— но это вон там.

И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами.

Вячеслав Пьецух

НОВЫЙ ЗАВОД

Жизнь вообще хороша. В частности же она хороша потому, что нас время от времени подстерегают приятные неожиданности. Допустим, идешь по своим делам и вдруг наткнешься на кошелек или встретишься взглядом с какой-нибудь очаровательной женщиной. Кажется, как будто солнце восходит в тебе, обдавая нутро ласковыми лучами,— так вдруг сделается весело и теснительно-хорошо.

Один молодой человек по фамилии Комнатов как-то не поладил с женой. Ссора вышла из-за того, что Комнатов наотрез отказался встречать на вокзале тестя, которого он не любил такой удивительной нелюбовью, что всякий раз, когда тестя приезжал гостить, у него делалось расстройство желудка. По этому случаю жена устроила Комнатову нахлобучку. Мало того что она наговорила ему незаслуженных колкостей, среди которых попадались такие, какие слышать от жен бывает невмоготу, но после того, как Комнатов заткнул указательными пальцами уши, она еще и стукнула его два раза кулаком по спине. Это его самым серьезным образом оскорбило. Он отправился в ванную, заперся там и стал в упор разглядывать себя в зеркале. Ему было горько. Он смотрел в глаза своему отражению, и ему было так жалко своего оскорбленного отражения, что начинало щемить в носу. В эти минуты он думал о том, что можно прожить полжизни с каким-нибудь якобы родным человеком и вдруг обнаружить, что на самом деле этот человек тебе чужд, как идеалистическое мировоззрение.

В ванной он пробыл всего десять минут, но умудрился за это время до такой степени растрявить себе душу, что неожиданно надумал уехать далеко-далеко, куда-нибудь туда, где еще машут вслед птицам и поездам. Вообще, он был взбалмошный человек и на своем веку наделал немало глупостей.

Из дома Комнатов отправился на вокзал, где купил билет на одесский поезд, а потом долго томился, сидя в

купе, где пахло давнишним хлебом, пылью, углем и еще чем-то горелым.

Компания в купе подобралась неприятная. Ехала до Курска бабка с чудовищным багажом и пожилые супруги — до станции Новый Завод. Бабка сердито молчала и все время ела соленые огурцы, а супруги сразу завели нудный невразумительный разговор. Из-за этого разговора, по милости которого у Комнатова начался зуд в затылке, из-за бабки, неутомимо пожиравшей соленые огурцы, из-за того что сразу после Калуги в тамбуре подрались два матроса, Комнатову стало очень нехорошо: он расстроился и затосковал. «И куда это я еду, зачем?» — спрашивал он себя, чувствуя недобroe беспокойство. Он вспомнил свою квартиру, где так покойно, так славно пахнет родным и сквозь занавеску видно, как на балконе развеваются разноцветными вымпелами женины лифчики и прочая милая дребедень. Тут ему до першения в горле захотелось назад, домой, чтобы лежать теперь на диване с книжкой и чтобы над ухом сонно жужжали мухи. А поезд все уносил его, уносил...

Комнатов залез на верхнюю полку, поворочался и в скором времени задремал. «Дурак,— говорил он себе сквозь сон,— набитый дурак!..»

...Проснулся он ночью. За окном пробегали редкие огоньки, вагон покачивало, что-то скрипело, а на сердце была такая тяжесть, какая бывает, если кого-то убить во сне. Комнатов насили дождался станции и сошел.

Станция называлась Новый Завод. По причине раннего времени на платформе не было ни души, и неодушевленное пространство, в котором занималось холодное утро, наполнило его совсем уж непереносимым чувством одиночества и тоски. Он стоял, глядя в ту сторону, где за сизыми предрассветными тучами уже давало о себе знать тревожного цвета солнце, и даже солнце, которое было решительно ни при чем, казалось ему враждебным.

Сразу за станционным зданием ему открылась большая площадь, вымощенная булыжником, который поблескивал от росы, точно площадь подвергли влажной уборке. Вообще, чисто и как-то порядочно кругом было необыкновенно. Но самым примечательным ему показалось то, что, несмотря на ранний час, площадь уже жила: по-лошадиному цокая подковами, прохаживались туда-сюда мужики, женщины улыбались вся кому встречному-поперечному, кое-где чинно беседовали старушки, из-за окон доносился

бодрый утренний кашель. Главным образом Комнатов подивился тому, что увиденное им по эту сторону станционного здания нисколько не походило на виденное по ту, точно он нечаянно прошел в волшебную дверь и вдруг очутился в каком-то чудесном мире. Этот мир сразу привелся ему по душе, тоска улетучилась, и напало волнующее ожидание неожиданностей.

Действительно: не успел он вступить на площадь, как один мужик угостил его сигаретой, другой выпросил спичечный коробок, двое позвали попить кваску, а кто-то даже предложил ботинками поменяться.

Тут его остановили трое мальчишек. Один взял его за рукав и сказал:

— Ты, товарищ, к кому приехал?

Комнатов ответил, что он здесь случайно. Потом он ответил на вопрос другого мальчишки, конопатеньского, из какого он города, потом на вопрос, кем он работает, потом на вопрос, не знаменитость ли он, и, наконец, вынужден был дать честное партийное слово, что не имеет привычки врать. В заключение конопатый сказал:

— Ну, раз такое дело, то давай мы тебе покажем наши достопримечательности...

Комнатов пожал плечами и согласился.

Сначала мальчишки повели его на здешнее кладбище, которое они патриархально называли погостом. Там Комнатову была показана могила действительного статского советника Чехмодурова, непонятно какими судьбами попавшего в такую глушь, потом могила какой-то женщины с двойной фамилией, бросившейся под поезд из-за любви, часовня, где водятся привидения, и памятник, выкрашенный серебрянкой, который воздвигли одному матросу Каспийской флотилии. Этот матрос проводил в городке электричество и был застрелен местными кулаками.

— Ребята, а почему вы, собственно, не в школе? — вдруг спохватился Комнатов.

— А мы не учимся, — сказал первый.

— Ну, это вы заливаете, — сказал Комнатов.

— Не, мы правда не учимся, — подтвердил конопатенский. — Не хотим и не учимся, это у нас свободно. Конечно, кто хочет, тот учится, но мы — не хотим.

Комнатов, прямо сказать, опешил.

— Ну и чем же вы тогда занимаетесь? — после короткой паузы спросил он.

— А кто чем, — ответил первый мальчишка. — Я, например, книжки читаю, это прямо ужас, до чего я их

обожаю! Сейчас я заканчиваю «Введение в латинскую эпиграфику».

— А я книжки не обожаю,— сказал конопатенький.— Больно в них много врут. Я обожаю всякое мастерство. Мы с отцом знаете какие сручные?! Что хочешь построим...

— И кем твой отец работает? — перебил его Комнатов.

— Он никем не работает, он просто работает — такая, понимаете, специальность. Сейчас, например, он строит водородный реактор для нашей электростанции.

— Отец у него точно мастеровой,— подтвердил первый мальчик.— Он, почитай, за целый завод работает. Вот в прошлой пятилетке он построил водопровод — в Москве даже нет такого: водопровод, а без труб.

— Интересно! — удивился Комнатов.— А как же вода течет?

— Она не течет,— ответил конопатенький,— она конденсируется. При этом коэффициент засоленности практически нулевой.

— Но в личной жизни я твоего папашу не одобряю,— сказал первый мальчик.— Надо все-таки честь знать. Ведь седьмой раз женится, куда, к черту!

— А вот это не наше дело,— беззлобно сказал конопатенький.— Сколько ему надо, столько пускай и женится. И что у тебя за повадка такая — всех осуждать! Знаешь, как Марк Твен говорил: никто не имеет права критиковать человека на той почве, на которой он сам не стоит перпендикулярно.

— Ты это на что намекаешь?

— Я намекаю на Акимову и Преображенскую.

— Это да... Это конечно,— мирно согласился первый мальчишка.

Третий мальчишка между тем все помалкивал.

За разговором незаметно дошли до следующей достопримечательности, которой оказалась здешняя баня. На первый взгляд, достопримечательного в ней было только то, что она помещалась в старинном особняке с колоннами по фасаду.

— Вот баня,— сказал первый мальчик.— Моются в ней раздельно, а парятся вместе — такая, понимаете, у нас баня.

— И не стыдно? — опасливо спросил Комнатов.

— А чего стыдиться? — удивился конопатенький.— Тело — оно и есть тело. Зато с малолетства привыкаем

к этому... ну, понятно к чему, и потом уже нет этого ажиотажа.

Комнатов удивленно посмотрел на мальчишку, покачал головой, но промолчал, потому что против тела действительно возразить было нечего.

После бани смотрели церковь, затем домик, где бывал знаменитый боевик Савинков, и еще другой домик, занятый одним отставным министром. На вопрос Комнатова, с чего это бывший министр здесь поселился, первый мальчик сказал:

— Взял и поселился. Говорит, хочу напоследок пожить среди счастливых людей. Говорит, сроду не встречал столько счастливых людей, как в Новом Заводе.

— Только уж больно он надоел,— добавил конопатенький,— по каждому случаю выступает: «Трудиться надо, товарищи, трудиться за совесть, а не за страх!» Конечно, над ним смеются. Ну, иногда перебывают: дескать, зачем трудиться-то, товарищ бывший министр? «Как зачем,— говорит,— чтобы создавать материальные блага...» Наши опять смеются.

— Погоди,— сказал Комнатов,— но ведь и твой отец трудится, значит, и его поднимают на смех?

— Мой отец ради своего удовольствия трудится, чего тут смешного...

Комнатову стало не по себе. То есть ему и раньше было не по себе, но тут как-то уж очень стало не по себе.

— Что-то я, ребята, не пойму,— сказал он.— Если у вас почти никто не работает, то как же вы живете?

— Во как живем! — сказал первый мальчишка и показал большой палец.— Тут у нас происходит обыкновенная светлая жизнь, основанная на уважении к личности человека. Просто в других местах еще до этого не дошли, и поэтому, конечно, некоторые смотрят на нашу жизнь как баран на новые ворота.

Комнатова задели эти слова, но виду он не показал.

— Вообще я предлагаю такую формулировку,— добавил конопатенький,— советская власть плюс уважение к личности равняется обыкновенная светлая жизнь. Поэтому-то и народ у нас покладистый, добродушный и работает исключительно для души.

— Знаете что, ребята,— сказал Комнатов,— это, может быть, и хорошо, но преждевременно.

— Конечно преждевременно! — согласился с ним конопатенький.— Только уж больно пожить охота!..

На этом разговор приостановился, и Комнатов воспользовался паузой, чтобы хорошенько разобраться в том, что наговорили ему мальчишки. Было очевидно, что в Новом Заводе совершается какая-то чудная, необыкновенная жизнь, которую разделяют даже подростки, и не то что разделяют — это было бы естественно,— а всячески поддерживают, в то время как по норме подростки не поддерживают ничего и чаще всего даже не разделяют. Но поскольку толком он в этой жизни не разобрался и поскольку его очень смущило, что новозаводские жители откровенно манкируют трудом, он почувствовал к ним какое-то тяжелое нерасположение, которое обычные люди часто питают к «избранным праздникам», героям и мудрецам. И ему непереносимо, до боли под ложечкой, захотелось назад, домой. Он решил немедленно идти на вокзал покупать обратный билет и сообщил об этом мальчишкам.

Мальчишки его решению нисколько не удивились.

— Вот он тебя проводит,— сказал конопатенький, показывая пальцем на молчуна.— Мы бы вас все вместе проводили, да времени нет, спешим.

Они по-взрослому подали Комнатову руки и пошли по каким-то своим делам. Комнатов вдруг захотелось спросить, по каким именно, но он побоялся услышать что-нибудь уж совсем фантастическое и смолчал.

Придя на вокзал, Комнатов купил обратный билет, сел на скамейку, одиноко торчавшую в дальнем конце платформы, и приготовился ожидать. Молчун присел рядом.

— А у меня тетка в Москве живет...— вдруг сказал он.— То есть не в Москве, а в Монине, но ведь это то же самое, что в Москве?

И он опять замолчал, печально глядя куда-то вдаль.

Приятели его все же явились перед самым отходом поезда; подозрительно покосившись на молчуна, они вручили Комнатову букет черемухи и потом, когда поезд тронулся, долго махали вслед, пока не превратились в трогательное отточие...

«Вот ведь какая странная штука жизнь,— думал Комнатов, лежа на своей верхней полке.— Не напросись в гости тесть, не разругайся я с женой, не уди из дома, так никогда бы и не узнал, что в каких-нибудь ста пятидесяти километрах от родного училища люди живут совсем на иной манер...» И вот что интересно: чуть позже он уже думал о том, что на самом деле этот манер — в высшей

степени соблазнительный манер, что, судя по всему, в Новом Заводе точно совершается светлая жизнь, а его дом родной — это именно узилище, в котором его, между прочим, поджидают новые сцены и тесть-болван, в лучшем случае — лежание на боку. Комнатова почему-то настороживал только контррапункт подозрительного молчуна, но он так разнервничался, что ему вдруг страстно захотелось сойти и пересесть на обратный поезд. «Дурак,— говорил он себе,— набитый дурак!..»

Поезд тем временем сбавил ход и вскоре остановился. Комнатов выглянул в окошко, чтобы узнать, как называется станция; станция называлась — Новый Завод.

Содержание

«...Уже раздался смех» 5

Часть первая

ЧЕЛОВЕК С ПЛАКАТА

Виктор Шендерович. Человек с плаката 9

Виктор Шендерович. Из последней щели 24

Борис Штерн. Шестая глава Дон Кихота 47

Виталий Бабенко. Музей человека 93

Михаил Кривич, Ольгерт Ольгин. Сладкие песни сирен 111

Михаил Успенский. Как у нас в номенклатуре 191

Часть вторая

НОВЫЙ ЗАВОД

Михаил Успенский. В ночь с пятого на десятое 207

Михаил Веллер. Карьера в никуда 242

Дмитрий Биленкин. Адский модерн 284

Кир Булычев. Старенький Иванов 288

Виктор Пелевин. Оружие возмездия 297

Виктор Пелевин. Затворник и Шестипалый 308

Вячеслав Пьецух. Новый Завод 343

МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Редактор **В. Л. Гопман**

Художественный редактор **В. С. Любаров**

Технический редактор **Л. Е. Синенко**

Корректоры **О. Г. Наренкова, Н. Г. Усольцева**

ИБ № 1

Сдано в набор 05.02.90. Подписано в печать 11.06.90. А-06899.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Таймс».

Печать высокая.

Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 19,11. Уч.-изд. л. 19,31.

Тираж 100000 экз. Заказ № 0-399. Цена 4 р. 60 к. Благотворительная надбавка в фонд развития детского кино 40 к.

Всесоюзный центр кино и телевидения для детей и юношества

101000 Москва, Чистопрудный бульвар, 12-а

Издание подготовлено к печати на ЭВМ и фотонаборном оборудовании

Отдела автоматизированной обработки библиографической информации НПО «Всесоюзная книжная палата».

127018 Москва, Октябрьская, 4, кор. 2

Отпечатано с фотополимерных форм в полиграфкомбинате

ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 252119 Киев, ул. Пархоменко, 38—44.

Музей человека. Фантастические повести и рассказы.
Составители В. Т. Бабенко, В. Л. Гопман. — М.: Всесоюзный центр кино и телевидения для детей и юношества, 1990. — 350 с.

Сборник повестей и рассказов, написанных в традиции социальной фантастики. Средствами сатиры и гротеска авторы вскрывают болевые точки современной действительности. В сборник вошли произведения известных писателей и авторов, еще мало знакомых широкому читателю.

*Эта книга набрана и сверстана
в научно-производственном объединении
«ВСЕСОЮЗНАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА»*

Фотонаборный центр объединения принимает заказы на набор, верстку и изготовление фотодиапозитивов — и не только фантастической прозы, а любых книг и документов.

Заказчикам гарантируется:

кратчайшие сроки исполнения;
широкий выбор шрифтов;
качество диапозитивов, отвечающее самым
строгим требованиям
современной полиграфии.

127018, Москва, Октябрьская ул., 4, к. 2, комн. 403
Фотонаборный центр НПО «Всесоюзная книжная палата»
Тел. 288-97-02, 288-96-00



5 p.

